



**ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ**  
ВЕЛИКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОЭТ  
умер 14 апреля 1930 года



Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Ч Е Т В Е Р Т А Я

А П Р Е Л Ь

---

М О С К В А

4 . 9 . 3 . 0



# СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Деонид ЛЕОНОВ. — Соть, <i>роман</i> , продолжение . . . . .	5
2. Ник. ОДОЕВ. — Диадема, <i>рассказ</i> . . . . .	47
3. Мариэтта ШАГИНЯН. — Гидроцентраль, <i>роман</i> , продолжение .	78
4. Ал. ТОЛСТОЙ. — Петр Первый, <i>повесть</i> , продолжение . . . .	85
5. Павел НИЗОВОЙ. — Поэма о профессоре. . . . .	100
6. М. ЗЕНКЕВИЧ. — Два стихотворения. . . . .	111
7. Павел ЛУКНИЦКИЙ. — Возвращение на Челекен, <i>стихотворение</i> . . . . .	113
8. Елизавета ПОЛОНСКАЯ. — За будущее, <i>стихотворение</i> . . . .	114

## ЛЮДИ И ФАКТЫ:

9. Акад. А. САМОЙЛОВИЧ. — Советский Восток, <i>наброски про- свещенца</i> . . . . .	115
10. Ник. ШПАНОВ. — Северные очерки. II. Оленья кровь . . . .	120
11. Мих. ДОСОВ. — Как рождается колхоз . . . . .	133

## ЗА РУБЕЖОМ:

12. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету, <i>очерки международной поли- тики</i> . . . . .	145
13. И. ТАЙГИН. — Японские силуэты . . . . .	157

## ИЗ ПРОШЛОГО:

14. М. ЦЯВЛОВСКИЙ. — Забытое стихотворение Пушкина «Испов- ведь стихотворца» . . . . .	169
---	-----

## ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

15. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Проблемы марксистского литературове- дения. Статья первая . . . . .	175
16. Арк. ГЛАГОЛЕВ. — Неосуществленный замысел (о книге А. Дер- мана) . . . . .	189
17. Я. ФРИД. — Пятое сословие . . . . .	193
18. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО А. И. ЕЛИЗАРОВОЙ-УЛЬЯНОВОЙ . . . . .	198
19. ОТВЕТ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР». . . . .	199



## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

	<i>Стр.</i>
Т. НИКОЛАЕВА. — А. Перегудов «Фарфоровый город» . . .	203
Н. ЗАМОШКИН. — Конст. Василенко «Другое солнце» . . .	204
Ив. ДАНИЛОВ. — Семен Михайлов «Бригадная роща». . . .	204
Я. ФРИД. — Тристан Реми «Клиньянкурские ворота» . . .	205
С. БОРИСОВ. — «Неодоленный враг» . . . . .	206
А. СТАРЧАКОВ. — С. Канатчиков «Из истории моего бытия» .	207
К. ЛОКС. — С. Штрайх «Повесть о жизни и любви чудесного доктора» . . . . .	208

# С О Т Ъ

Роман  
ЛЕОНИД ЛЕОНОВ  
(Продолжение <sup>1</sup>)

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

Э то началось неделей позже. Надежды на своевременное прибытие лесоматериалов не оправдались. Стремясь залатать хлебную пробоину в экспорте, страна кинула огромные количества леса за границу; по вывозу леса Советский Союз стал сразу на третье место. Дорога же отказывалась грузить то количество лесоматериалов, которое удалось закупить Жеглову: везли машины, цемент, железо на крупнейшую гидростанцию, воздвигавшуюся в соседней губернии; гидростанция была важнее в государственном плане великих работ. Увадьевские телеграммы не производили никакого действия; под бронзовой девушкой на Жегловском столе их скопилось до полусотни. Весть о сокращении работ проникала в рабочую гуцу; ей не верил никто. Тем не менее, председатель рабочкома ездил секретным образом в губотдел строителей, и там ему обещали снестись с центральным комитетом союза. Дело затягивалось, рабочие волновались, управление Сотьстроля молчало. В эти дни не было ни одного прогула.

Общественное мнение искало виновников, и как раз накануне дня производственного совещания этого виновника нашли; быть им мог, разумеется, один Филипп Александрович Ренне. С самого начала работ строители чувствовали в нем чужого, который если не навредит, то не принесет и достаточной пользы; все было ненавистно в нем — от сухой, лаистой речи до старой, с острыми полями фуражки. Стенная газета все чаще помещала злые запросы по адресу администрации, продолжавшей держать этого преждевременного старика. Фаворов стал невольным свидетелем того редкостного в пореволюционное время происшествия, которым завершилась сотинская катастрофа. Большая толпа рабочих, настроенных скорее весело, подошла к конторе строительства и вызвала заведующего лесозаготовками. Фаворов, выгля-

<sup>1</sup>) См. „Новый мир“ кн. кн. 1, 2 и 3 с. г.



нув в окно, увидел в толпе какой-то прикрытый рогожкой предмет и вдруг догадался, что сейчас произойдет скандал, каких еще не бывало на строительствах.

— ...не ходите! Я найду Бураго, он поговорит с ними, и все обойдется... — Скулы его дрожали, потому что это был первый случай в его инженерской практике.

— Вы молодой человек — надо быть разумно. Прогресс — в этой стране научились линчевать — до свиданья — молодой человек! — Однако, он еще минуту барабанил пальцами в подоконник, прежде чем покинуть помещение конторы.

Его уже увидели снизу в окне и усердно манили руками вниз; страшной дубинки над головой был этот тяжеловесный юмор гнева. Фаворов схватился за трубку телефона, но Ренне не стал дожидаться. Без фуражки, как был, он стал спускаться вниз по лестнице. Из канцелярии вдогонку ему потянулись безымянные руки, как бы стремясь удержать от неминуемого, но выходная дверь раскрылась с той стороны, и руки исчезли. Ренне стоял один перед толпой, заложив руку за борт пиджака. Ближайшие смущенно задвигались, но сзади напирали, и какая-то деловитая кучка людей уже продиралась к нему сквозь людскую гущу. Он знал, в чем тут дело, и сразу поднял руку, желая говорить:

— Запань верно — я покажу расчеты — выберите комиссию — я об'ясню—завтра!

Он смолк, но впереди толпы уже выкатился предмет, потрясший Фаворова. Это была одноколесная и вдóволь послужившая тачка, в каких возят строительный мусор. Худая женщина, тетка убитой девочки, хлопотливо и нервно уминала рогожку, на которую через минуту должен был сесть Ренне. Вдруг она указала пальцем в инженера, и палец был таким длинным, что почти обжигал его сердце.

— На похороны тоже приходил...—крикнула она, и этого было достаточно, чтоб все поняли провинность Ренне.

Искусанные губы его брезгливо опустились вниз, а в уши стал вливаться насильственный румянец. Он глядел в землю, и чего-то выжидал, потому что не самому же ему было садиться в позорную тачку! Тогда небольшого размера и щетинистый человек,—Ренне узнал в нем сразу слесаря из ремонтного цеха,—решительно выдвинулся вперед.

— Придется прокатиться,—сказал он зло и просто, кивая на одноколесую.—Пожалуйста!

Из толпы понеслись крики:

— Почему на запани подстрелов не было?

— Ты сколько, злодей, денег-то брал... и каких денег!

— Катался в машине, прокатись и на одном колесике, супчик...

Кто-то запел про знаменитое яблочко, которое, раз укатившись, уже не возвращалось назад. Тот же слесарь сказал угрюмее и настойчивее:

— Садитесь, гражданин. Не силком же волочь!—и, насмешливо

вытерши руки о рубаху, сделал попытку взять Ренне за рукав, а тот смятенно догадался, что это и есть то самое, горшее смерти.

— Я и сам — сам могу — сам... — отпихнул его руку Ренне и уже озирался, собираясь как бы бежать, но кольцо плотно обжимало его от стены к стене, и нигде не было спасительной щелочки в этой хляби враждебных глаз.

Его втиснули в тачку и повезли; слесарь ожесточенно придерживал его за плечо сверху. В почти похоронной тишине равномерно поскрипывало колесо. Иногда оно наезжало на камень, и вся тачка вздрагивала.

— Везите ровней, гады... ровней,—обмякшим голосом приказывал Ренне: он еще приказывал.

Толпа увеличивалась; лица у всех были серьезные, и можно было предположить в них раскаянье, что применили именно этот бескровный и потому неутоляющий гнева способ расплаты. Откуда-то в толпу протискалась жена Ренне; ее не узнали, так как, полуслепая, она безвыходно сидела в отведенной им квартире. Спотыкаясь и наугад наклоняясь к мужу, она тормозила его ускользящее плечо:

— Филипп, скажи им... Филипп, этого же нет в твоём договоре! Филипп...

Но тот делал нетерпеливое лицо и шептал поблекшими губами:

— Не мешай, дружок... не мешай.

Тогда она хваталась за соседей или умоляюще поглаживала руки двух бетонщиков, везших тачку, но безразличные их руки, окостеневшие от сознания долга, сохраняли свою цементную холодность. К концу пути, что-то уразумев, она посмирнела и шла позади мужа с каким-то полувдовым лицом; ее не прогоняли. А впереди сотьстроевский милиционер предупредительно распахивал ворота.

... Увадьев, уезжавший в уком, вернулся только на следующий день, когда все было кончено. Ему передали историю с инженером, и оттого, что до производственного совещания оставался целый час, он решил навестить Сузанну. Она писала какое-то письмо и закрыла его листом пропускной бумаги, когда вошел Увадьев. Тот утомленно опустился на кровать, расположенную у самой двери и озабоченно пощелкивал замочком портфеля. Сузанна привстала:

— Если вам не трудно, Иван Абрамыч, пересядьте на табурет. Я не люблю, когда сидят на кровати. Вон, рядом с Фаворовым...

Он только теперь заметил Фаворова, сидевшего в протенке с опущенным на руки лицом.

— Как с'ездили?—равнодушно осведомился Фаворов.

— Губком соглашается поддержать ходатайство Сотьстроа.

— А выйдет из этого что-нибудь?—спросила Сузанна.

Увадьев, ожидавший целого потока негодующих слов, взглянул на нее почти с укором:

— Боюсь, придется ехать самому...—Замочек перестал щелкать, сломанный.—Чорт их знает, эти новые города. Приехал—поле, дере-



вья растут, дома какие-то больничного типа. И очень глупо, потому что до крайности разумно. Спрашиваю: а где тут Усть-Кажуга? А вы, отвечают, в самом центре Усть-Кажуги. Очень смешно вышло...—Он говорил совсем не то, что думал, потому что смущался спокойствия Сузанны.—Слушайте-ка, я очень сожалею об этой истории... ну, вы понимаете? Хотя вряд ли я сумел бы помочь ему. Зачем, зачем ему понадобилось тащиться на эти похороны: ведь это демонстрация!.. и говорят, еще на клиросе пел.

Она с досадой тряхнула головой:

— А, вы об этом...? Этого надо было ждать от него. Кстати, он предлагал создать комиссию и ей показать расчеты запани. Они отказались...

— ...они даже не захотели выслушать его!—резко вставил Фаворов.

— Да, он растерялся перед новым... и ему поздно было пере-страивать себя. Крушение старой техники для инженера и крушение психики... — очень спокойно сказала Сузанна, а Увадьев только плечами пожал на эту неожиданную жесткость.

— Да, он растерялся, — с облегчением согласился он. — Строительство очень дорожит вами, в особенности для будущего...

— Я не понимаю вашей дипломатии, Увадьев.

— Я хотел спросить, вы остаетесь?.. в связи со скандалом.

Она рисовала на бумаге то самое, о чем говорил Увадьев; путанные, кривые линии, сколько их ни было, сбегались в одну центральную, отсутствующую точку.

— Я ведь самостоятельно заключала договор с Сотьстром, правда?

— Он хочет сказать, что завтра они подкатят тачку и к вашим окнам! — совсем несдержанно бросил Фаворов.

Увадьев взглянул на него со строгим удивленьем; ему не понравился на этот раз Фаворов, которого впервые наблюдал таким. «Краснощекий, с конфетной коробки красавец... пасмурной погоды не любит. Он думает, что ротой солдат можно было бы охранить ее отца!» — усмехнулся он про себя, и вот уже не хотелось сдерживать неприязни к этому молодому инженеру.

— Ты любишь жить, Фаворов? — спросил он тихо, следуя извилистому течению мысли.

— ...потому что принято бояться смерти. Но к чему это?

— А ты в тюрьме сидел?

Тот удивленно подмигнул Сузанне, но та не приняла намека.

— Нет, не довелось.

— А тифом болел?

— Нет.

— А стреляли в тебя?

— Нет... Кстати, почему вы меня зовете на ты? Я, право, не заслуживаю этой чести!

«Ты прав, брюнет!» — подумал Увадьев, поднимаясь уходить, и потянулся за портфелем. Вдруг он искривил губы:

— Где он сейчас, ваш отец?

— Я позвоню матери, если хотите... — Он не возражал, и она позвонила на коммутатор. — Мама...? Что отец... он вернулся домой?.. как, совсем? Слушай... а ты не боишься? — Она еще постучала по рычагу, потом положила трубку. — Он не приходил домой.

— Что она ответила? — спросил Фаворов.

— Она сказала — глупый вопрос.

Перемолчав паузу, Увадьев сказал глухо:

— Я повторяю: строительство очень дорожит вами обоими. — И ушел не прощаясь.

Ушел он со скверным предчувствием еще больших скандалов впереди, но за самого Ренне он был более чем спокоен. «Ерунда, я видел, с каким смаком он влезал однажды в трестовский автомобиль. Не решится, не посмеет... это прежде всего больно!» Пугало его и не предстоящее совещанье, где ему предстояло доказать, что сокращение работ — вещь почти естественная в общем строительном размахе: там были только цифры, а цифрам не возражают! Тревожили те печальные возможности в будущем, когда внезапная тысяча безработных осадит биржу труда. «Надо ехать, надо добиваться увеличения сметы, надо реализовать внутренние ресурсы Сотьстроя, надо...» Но близилась осень, и рабочие штаты были везде заполнены; сокращенным посреди сезона податься становилось некуда. Выдача полуторамесячного заработка, на чем настаивал рабочком, затруднялась урезанной сметой... Оттого-то, желая смягчить напряженность положения, Увадьев в речи своей на совещании смутно намекнул, что затруднения носят временный характер и что, якобы, приняты все меры к возобновлению работ.

Аудитория грозно безмолвствовала, когда Увадьев покидал трибуну. К столу президиума, точно притягиваемые магнитом, полетели хлопья записок. Все вопросы в них — сколько получал Ренне, какова стоимость унесенного леса, много ли сэкономят на сокращении — носили намеренно ядовитый оттенок; кто-то потребовал, чтоб исчисление велось не в рублях, а в пудах хлеба: так было понятней этим вчерашним мужикам. Никто не верил в случайность сотинского прорыва, с помощью которого уж, конечно, прикрывался прорыв более существенный. Увадьев снова выходил на трибуну, когда с балкона назвали имя Потемкина; слово это и подожгло скопившееся отчаянье строителей.

— Даешь Потемкина! — орал зал, и топочущие ноги грозили искрошить полы.

— Без денег вздумал строить... оман!

— Гляди во-время, хлюст... На тачку!

— Потемкинское строительство!!

Это последнее оскорбление, брошенное в мгновение тишины, перекрыло все остальные вопли. Кто-то из ячейки прислал Увадьеву



записку с предложением закрыть прения, но это не уgomонило бы тех, кто требовал сюда на расправу главу строительства. Буря эта весьма походила на ту, которая месяц назад шумовала в макарихинском клубе, но тогда налицо было признание героя, а теперь побивали камнями виновника обманутых надежд. Сообщение об отъезде Потемкина в Москву на лечение лишь усилило грохот гнева; в зале понеслись хохот и вой беспорядочных свистков. Этим воспользовалась та часть собрания, которая рада была случаю продемонстрировать свою враждебность к администрации.

— ... двигайтесь куда-нибудь. Побеждайте или...

Двое из рабочкома мгновенно кинулись в зал, чтоб узнать имя тотчас присевшего крикуна, но передние, смущенные возгласом, задержали... и потом в проходе, работая локтями, появился макарихинский завклуб. С сердитым и взволнованным лицом он пробрался к президиуму и крепко приник к Увадьевскому уху. Собрание затихло и, поднявшись со скамей, устремило на них свой тысячеглазый взор. Тем отчетливей прозвучал в тишине возглас кучерявого комсомольца:

— Почему Ренне не арестован до сих пор?

Председатель собрания Горешин поднял руки, тщетно пытаясь остановить новый рев и топот; ему не давали говорить:

— Головоотяпы...

— Под суд его.

— Предательство!

Горешин подскочил к самому краю подмостков и взмахнул рукой так, что она лишь чудом не вырвалась из сочлененья:

— Товарищи, порядок... Эй, не курите там!

— Даешь предателя!

— Товарищи... — из последних сил хрипел Горешин. — Молчание!.. ребята нашли в лесу... ходили по грибы. Ренне... под деревом... застрелился. Вот товарищ Булавин только что...

— К прокурору... — неслось с балкона.

Шум стихал по мере того, как известие проникало во все углы зала. Догадались открыть двери, и в духоту ворвался влажный сквозняк; сразу стало еще серей и неприглядней. Уже при полном молчании бухгалтер прерывающимся голосом оглашал процентные сокращения по каждой отдельной отрасли строительства; цифрам не возражали, их встречали озлобленным безмолвием. Фамилии пока не назывались, и одна только машинистка Зоя, перестукивая на машинке роковые списки, уже знала свою печальную участь. Увадьев сосредоточенно разбирал записки, сортируя по содержанию или умыслу; ему стало не по себе: кто-то смотрел на него со стороны. Скосив глаза, он заметил Виссариона; скрытый за складками клубного занавеса, он пристально наблюдал за торопливыми Увадьевскими руками; левый, немигающий глаз его, где застыл тусклый электрический блик, неуловимо улыбался. Легко было понять, что тот злейший выкрик принадлежал именно ему. Решив не пугать его до срока, Увадьев дружелюбно подмигнул своему

питомцу. Хитрость пришлась впустую; спокойное лицо Виссариона не изменилось, и Увадьев испытал приступ бешеной тоски, словно кто-то и впрямь мог глядеть сквозь него, как сквозь временное и достаточно прозрачное стекло.

## 2

Сообщение о Ренне помогло упорядочить собрание. Шумы стихли, хотя еще сотни рабочих, не вместились в клуб, теснились у наружных дверей. При полном бесстрастии собрания Увадьев отвечал на записки; голос его звучал без прежней силы. Он призывал к выдержке, достойной строителей социализма, а в заключение предложил выбрать комиссии по цехам, которые сами наметят подлежащих сокращению. Лица оставались холодны, точно в зале сидели глухари, те самые, работа которых применяется при ручной клепке котлов. Такая же внезапная глухота пришла и на всю Соть. Он возвращался на место с чувством неисполненного долга. Собрание закрылось рано. Ночь прошла в напряжении, подобном тому, какое было в канун сотинской катастрофы.

С утра у клуба расклеили списки уволенных по сокращению; у этих длинных бумажных полос за час перебивало все рабочее население строительства. То были первые списки, куда попали лишь связанные с местными крестьянскими хозяйствами. В полуденный перерыв на стройке развесили добавочные сведения о сокращенных. У мостков на леса, вокруг которых сгрудилась основная масса строителей, какой-то добровольный грамотей вычитывал вслух фамилии увольняемых. Самого себя он не отыскал в списках и потому, выполняя свою повинность, сохранял почти начальственную невозмутимость.

— Журавлев Миколай! — вызывал он, водя пальцем по строке.

— Я... — четко откликнулись из толпы.

— Журин Лука... Лука Журин! Чего молчишь, аль вздремнул с устатку? Отдыхай теперь!

— Я!

— Баранов... — И дюжина Барановых продиралась из толпы, чтоб узнать, на кого из них упал черный жребий.

Это походило вполне на солдатскую переключку, с той единственной разницей, что отзывались выбывшие из строя.

К полудню же в конторку пришел кассир выдавать трехнедельное пособие, выхлопотанное рабочкомом; он сидел долго, выпуская наружу папиросный дымок, но у открытого окошка так и не побывал никто. Рабочие кучками ходили по строительству, ища прорабов, а те прятались от напрасных просьб и уговоров; старший производитель работ просто заперся у себя и, изнеможенно отвалиясь на спинку стула, в больших количествах поглощал воду. Люди толкались в дверь, виновато выкрикивали его имя, и он, не выдержав, открывал им вход. Они

проходили перед ним серой вереницей, дружелюбные, бородатые, старики и молодые, с которыми он успел сработаться за лето. И каждый одинаково мял шапку в руках, и у каждого в лице стоял одинаковый упрек. Очумелому вконец, ему представлялось, будто один и тот же Фадей Акишин, милейший человек, разнообразно стоит перед ним, то одеваясь охровой бородой, то чудесно молодея, то становясь на чрезмерно высокие каблуки, то шамкающий вологодским наречием, то тусклословый, то речистый по-костромскому... И вся эта пестрота лишь от деликатного опасения не надоесть однообразием своему человеку.

Инженер молчаливо качал головой, и тогда они шли к Бураго, полагая, что в его власти и милости не гнать их с Сотьстрою обратно, в исходную мужицкую ступень. Когда их набиралось много, Бураго выходил к ним в рубахе с расстегнутым воротом, с потным лбом, в котором желтовато отражалось окно. Словно выполняя обряд, он повторял все то же: об урезанных сметах, о необходимости временной задержки работ, о сокращении, коснувшемся и административной верхушки. В доказательство он приводил все того же Увадьева, совместившего целых три должности в одном своем лице. И хотя они верили этому тучному и требовательному инженеру, которого многие знали еще по предыдущим строительствам, каждое слово его прощупывалось с пристальной подозрительностью. И опять, глухие глухотой горя, безнадежно мяли картузы, кряхтя от умственного напряжения и скуки.

Всех их ждало преждевременное возвращение домой и бездельная осень. Шли дни, а они по молчаливому сговору не уезжали с Соти; теплилась смутная надежда, что поездка Увадьева, о которой уже шли толки по баракам, завершится успешным концом. Легче было сидеть на сокращенном пайке, чем тащиться с пустой котомкой в неизвестность урожая и предстоящей зимы. Они знали, что, даже отобрав у них пропуска на территорию строительства, администрация не порешится на принудительное выселение. Целыми днями они шатались мимо колочей изгороди, с завистью наблюдая оставшихся на строительстве. Работы велись в пониженном темпе: так же, прерывисто и неравномерно, дышит больной. Иногда старомодный паровозишко притаскивал длинный состав с лесом; настроение поднималось, платформы разгружались с любовным нетерпением... но паровозишко уходил, и в рельсы, если прикинуть ухом, вливалось прежнее безжизненное оцепенение. Одна только сновала челноком по пустой Сотинской ветке почтовая дрезина.

Однажды с ней приехал чрезвычайно молодой человек в квадратных и с инкрустацией очках—сотрудник губернской газеты. До того времени его, кажется, не манили размеры строительства; теперь привлекал размах бедствия. В прогулке по строительству его сопровождал сам Бураго, и молодой человек, волнуясь от неиспытанной еще почести, усматривал в этом некую административную хитрость.

— Вам, как представителю печати... — неизменно начинал тот.

— Ага, так...? Очень, очень интересно! — отстранялся неподкупный молодой человек.

Стремясь вникнуть во все подробности сотинской истории, в особенности постигнуть причины неудачной мобилизации деревень, он не преминул побывать и в Макарихе. Целые толпы ребят ходили за ним, вернее за его необыкновенными очками, и мешали ему предаться уединенным расспросам. Кроме того, по неразумию завел он беседу с остатками Васильевой банды, и уже Мокроносов вытаскивал его из мешка, в котором собирались его искупать на радостях первого знакомства. Журналист уехал несколько расстроенный приемом, а через неделю появилась первая сигнальная ракета того пресловутого похода дураков, который новой печалью опустил на Сотьстрой. Статья содержала в себе прозрачные намеки на вредоносное происхождение некоторых инженеров, при чем явно подразумевался Фаворов; Сотьстрою ставилась во грех недопустимая роскошь в виде цветочной клумбы, устроенной в середине недостроенного рабочего поселка; про Бураго было помянуто, будто он ходит на похороны всех мужиков и сам подпевает им «вечную память», и, в довершение всего, смерть Ренне раз'яснялась как результат намеренной и безрассудной травли за прямоту и честность. Лирика статейки искусно сочеталась с неумолимой иронией: журналист сразу выдвинулся. Увадьев сел, было, отвечать но 'случайно взгляд его упал на только-что полученную газету, и он справедливо решил, что письмом тут не разделаться. Там нарисован был пузан с лицом Жеглова, но с утробой, в которой помещился бы целый десяток Жегловых; на нем был цилиндр, по животу висла цепка, глаза были дурацки выкачены вверх. Пузан гладил себе утробу и, почти как Ягве после жертвы Ноевой, говорил: в к у с н о; эпитафией к поношению служила пущенная кем-то молва, будто Бумага перетратила миллион на переоборудование бумажных фабрик. Только по этой заметке, набранной к тому же непарелью, Увадьев и догадался о причинах долгого Жегловского молчания.

Опытный в делах такого рода, Бураго твердил Увадьеву о необходимости соответственного нажима сверху; сам он в тот же вечер написал пространное письмо в газету, требуя в интересах самого дела объективного подхода. «Предупреждаю, что подобное умаление авторитета администрации, случившееся на самом опасном перегоне, может иметь чрезвычайно вредные последствия...» — писал он; копия направлялась губисполкому. Увадьев качал головой, а Бураго сердился:

— Я не желаю быть в этой ежемесячной норме головотяпов, отдаваемых на с'едение...

— Дураку бегать по улице не воспретишь!

— Да ведь дурак-то с топором бегаёт, он зарубить может!

Уверенный в себе, Увадьев посмеивался:

— Езжайте, сделайте доклад, а я созвонюсь к кем надо.

Разговор происходил в среду, а в пятницу появился новый фелье-



тон о сотинских делах, достаточный, чтоб и развлечь обывателя, и послужить материалом прокурору. Говорилось об усиленной выдаче спецставок, премий, нагрузок и всяких сверхмаксимумов; подчеркивали преступное невнимание к посредбюро рабсилы; подмигивали на подозрительные отношения главы Сотьстроа с местными лесными заправилами; сообщали, что бутovýй камень десятники при сдаче подсчитывали меньше, а остатки переводили на другую артель и за нее получали; заканчивалось сообщением о роскошной жизни иностранца-инженера в квартире с ванной и фаянсовым горшком под кроватью. в то время, как рабочие ютятся в бараках полутюремного стиля. Следующая статья имела уже документальные данные об упущеньях: приводился тип арифмометров, цена трех тысяч пудов овса и количество кипяtilьных баков, которые были закуплены у частных.

Дальше начиналась неразбериха и метель сенсаций; молодые журналисты пробовали свои силы и остроту пера на Сотьстрое; тираж газеты повысился. Обыватель, перекликаясь из окошка в окошко, выработал новую форму приветствия: «А Увадьев-то что натворил!» В губернских пивных делал головокружительную карьеру какой-то чечетонный шут, выступавший с куплетами о советском строительстве; его нехватало на все пивные, появились подражатели, которые тоже неплохо кормились возле этой преувеличенной неудачи. В мещанских анекдотах неизменно действовали инженер Белого и коммунист Шоколадьев, и оба они выставлялись еще глупей самого рассказчика; Потемкину кстати припомнили ту пирушку, которую он устроил после написания Сотьстроевского проекта. Сенсации вырастали до общесоюзного размаха. В губернии сидел безработный профессор Мадридов, который выдумывал письменность несуществующему племени, якобы затерявшемуся в лесах. Негадано появилась его статья, напечатанная, правда, в дискуссионном порядке и ставшая образцом ученого слабоумия; основываясь на годовой потребности Сотинского комбината в 62.000 куб. саж. балансу плюс 47.000 кубосажень дров, он вычислял, сколько ежегодно пропадет лесов на земле, а следовательно, и кислорода. «Дышите, дышите, — иступленно заключал он, — пока не задушила вас углекислота. За каждую десятину лесов вы получите сорок три тонны целлюлозной похлебки!» Ошеломленного редактора на другой же день послали учительствовать в глухой уезд, но уже через три дня появилась новая статья. В этой осторожно высказывалось мнение, что Сотьстроем отныне портится навсегда вид этой древней, искони русской реки, поминавшейся даже где-то в былинах, как место женитьбы славного новгородского ушкуйника В. Буслаева. Судя по романтичности описаний, у самого автора статьи были связаны с Сотью какие-то семейные воспоминания... Все это чрезвычайно подымало и укрепляло дух макаринского завклуба.

Род эпидемического сумасшествия охватывал некоторые круги; оно начиналось с гражданской слепоты. Никто не замечал ни истинного значения Сотьстроа, ни его героической борьбы со стихией или

истории его возникновения. Предсказания Бурого, расцененные в свое время как угроза, сбывались: зашевелилась кулацкая Соть, а минута благоприятствовала нападенью. Увадьев еле справлялся с делами, а Потемкина уже месяц безуспешно рентгенизировали в Москве, пробуя вернуть жизнь человеку и человека жизни. По матерьялам, собранным много позднее, в августе у Алявдина состоялось негласное совещание, где главную роль играл Виссарион Буланин; 'это ему и принадлежала неясная формула «пользуйтесь случаем, в Азии живем!» Собрание, созванное по имущественному признаку, постановило ходатайствовать о переносе Сотьстроя куда-нибудь подальше, на Печору, например, учитывая вред целлюлозного производства для крестьянского здоровья; на Соти же устроить заповедник, в коем сохранить леса, людей и прежнюю дикость в неприкосновенности, что должно стать неременной приманкой для иностранных туристов. В письменном акте совещания, где плоская эта выдумка была умело задрапирована в российское простодушие, имелись еще две существенные предпосылки для такой перемены. Первым стояло заявление одного кооптрактира, где указывалось, что посетители ругаются, чай хуже стал и вкус не тот, вследствие чего население стихийно переходит на домашнюю брагу. Вслед за этим гомерическим рассуждением шло второе, заключавшееся в ученом исследовании одного начинающего биолога. Выходило, что сотинская вода все равно не годится для отбеливания целлюлозы из-за высокого процента гумминовых примесей, а придется рыть артезианские колодцы на великую глубину. Кстати, согласно ученой записки, построенная ветка могла бы пригодиться для устройства курорта, например, в этом месте, так как целительная вода Федотова ручья не только не вредит здоровью, а даже чрезвычайно помогает хотя бы при протрезвлении.

Так и было: ввалились ходоки к замнаркому в переднюю, жали картузы, не щадя жалобных слов о великой сотинской скудости. Да еще тут у старого Мокроносова, самого рваного из всех, упал сверток плакатов, как бы ненароком, и развернулся по полу, а сверху оказался портрет самого замнаркома, в толстовке и с прочими знаками официального положения. Сопя, елозил Мокроносов по полу, собирая разлетевшееся имущество, а начальник как-то сразу и строже стал и милостивей, почти как на портрете. Тут же отдано было распоряжение поддержать ходатайство, а шальная эта шкунка с новым бумажным парусом понеслась по волнам инстанций. Дело приняло необходимое для жизни вращение, а вращенье придало ему теплоту, а теплота и бюрократические дрожжи стали раздувать его до неестественных масштабов. Мокроносов, не веривший вначале в успех, теперь только диву давался, наглея сообразно удачам.

— Хибнем, хазы детям нехорошо. Чай не овцы!—привычно говорил он в высокой канцелярии, готовясь уронить на пол соответствующий портрет. — К тому же щелокà!

— Да ведь там уже уйму денег всадили,—нерешительно возразила жертва, вспоминая газетные сведения о Сотьстрое.

— Тогда мужику хроб. Тогда канализацию надоть!—Он нарочно искажал слова, отвлекая вниманье на свое ловко подделанное невежество. — От хазов инда лошади заикаются...

— Но канализация будет стоить тоже пару миллионов!

— Тогда рой нам колодцы на пятьдесят верст, взад и вперед по реке. Щелока, лошади заикаются, хибнем!—и все остальные повторяли дружным хором Мокроносовский припев.

Мокроносов веселел, и уже самого его одолевало любопытство, до какого крайнего безрассудства можно добрести по вонючим канцелярским коридорам. Никому не приходило в голову, что Сотьстрой еще далек от пуска, что о сернистых газах пока не может быть и речи, а для сточных вод строятся специальные коллектора. Первоначальная идея присоединения Соти к всепролетарскому ядру грозила окончательно затмиться. Доклад Бураго в губернском совнархозе был принят с глубоким удовлетворением, но на другой же день в отделе загадок и ребусов была помещена задача: какова общая сумма расточительства на Сотьстрое, если двугривенными его можно выложить весь путь от Москвы до Усть-Кажуги. Имя Соти приобретало нарицательное значение для всякого гиблого места; в поговорку она вошла скорее, чем в учебники экономической географии... и вот тогда-то пришло, наконец, письмо от Жеглова.

Оно начиналось раздраженным осуждением попыток Увадьева закупить лес у частных лесопромышленников, объяснением небывалых нападков на Сотьстрой и смехом над примечательной делегацией сотинского кулачества; кто-то уже турнул во-время мокроносовскую саранчу. «Пока все смутно,—писал он,—на мою записку с требованием расследования сперва ответили выговором, который почему-то вскоре отменили. Как бы то ни было, общественное мнение, с которым ты собираешься драться, во многом право; постройка завода должна иметь тот политический коэффициент, который избавил бы тебя от упрека в деячестве. И потом, раз дело начинается со смертей, значит что-то у тебя плохо организовано...» О Геласии, которого ему удалось устроить на курсы, он сообщал также в повышенном тоне досады. «Плохо не то, что тотчас по приезде, видимо, в пику господу богу, переименовался он в Роберта да еще Элеонорова; не то, что, оголодав в некоторых смыслах, крещение в новую жизнь, так сказать, начал с триппера; плохо, что ты перегибаешь потемкинскую затею о сотинском устройении, которую я не вполне разделял с самого начала. И еще раз повторю: не загружай Сотьстрой только местными задачами, не в Америку идем!» В заключение он советовал Увадьеву приехать самому, чтоб договориться по всем организационным вопросам сразу.

Увадьев уезжал на другое же утро. В ожидании дрезины он ходил вместе с Горешиним вдоль заводского пути, задевзя портфелем

за седые головки какой-то сорной травы. Зная что-то, Горешин намекал на несвоевременность отъезда, а Увадьев сердился и не понимал, потому что принимал его за паникера. И опять Горешин наводил разговор на беспокойствие окрестных деревень, на опасное безделье безработных, на десятки мелочей, грозивших разрастись в отсутствие управляющего Сотьстроем.

— Ты что-то мямлишь... Не то рвет тебя, не то от тесных сапогов страдаешь. Вот, и дрезину подают. Может, проводишь меня?

Тот уклончиво пощелкал языком и вдруг, решась, полез в боковой карман.

— Нет, мне в другое место пора... Слушай, Иван Абрамыч, я кое-какой материал из стенгазеты прихватил. Посмотришь?

— Стишки?

— На этот раз картинка.

— А ну, повесели перед отъездом!

Неумелый, но бойкий рисунок изображал место строительства; торчал под'емный кран, правдоподобная копия германского под'емника, только - что смонтированного на Соти, и очень убедительно валялась разбитая цементная бочка. За колючей проволокой, чуть не повисая на ее шипах, толпились худые, рваные люди, бесчисленное множество людей, а среди них женщины с ребятами на руках,—посреди же трудился над каким-то ящиком Увадьев, весь в поту и одиночешенек; его легко было узнать, по взбежистым бровям и по скупым, в обтяжку, сапогам. Подпись разделана была цветными карандашами: «Социализм по - Увадьеву».

— Очень неплохо намалявил! Это тот самый, чернявый такой? Как, как его фамилья? — говорил Увадьев, и в одеревяневшем лице его не прочесть было ни улыбки, ни досады.—Очень похоже. Надо его выдвинуть, непременно!

— ...за ворота, что ли?—прищурился тот.

— Зачем же, в работу, пускай его! Чего таланту на картинках пропадать. Хотя бы на твое место выдвинуть, очень недурно.— Он сложил бумажку пополам, ногтем провел по сгибу и глянул прямо в глаза Горешина.—Ты зачем мне это суешь? Стращаешь, что ли? На поводе у крикунов плетешься...

— Я, погоди, еще баб на тебя напущу... жен. Это ты, ты урезал пособие. Они тебя порастрясут!

— Кстати, парнишка этот партийный? Надо, надо выдвинуть...— задумчиво произнес Увадьев, поднимаясь в дрезину.—А за Ренне, что не досмотрел, ты мне потом крепко ответишь!

Ворчанье мотора стало злей и порывистей. Вдруг к дрезине подошла неизвестная старуха в очках об одном синем стекле; Увадьев догадался не сразу, что это вдова Ренне. Она тащила большой фибровый чемодан; соломенная шляпка сбилась от спешки набок; вся правая сторона ее пальто была в грязи.



— Товарищ Увадьев?.. Я плохо вижу,—сказала она сухо.—Вы доведете меня до станции?

— Конечно, я же обещал,—заторопился тот и, распахнув дверцу, принял чемодан, до удивления легкий.

— Я упала, боялась опоздать. Упала, и стекло вылетело.

Увадьев спросил, стараясь не глядеть в зияющий провал очков:

— А Сузанна Филипповна?

— Она работает.

Шофер задвигал пусковые рычаги, Увадьев развернул газету, ветер зашуршал в щелях брезентовой крышки. Минут через пять Увадьев выглянул поверх газеты. Старуха сидела прямая и строгая, прикрыв ладонью глаза. Ему показалось, что она плачет, и рука его с тоской погладила кожаное сиденье. Почувяв какую-то неопределенную человеческую обязанность, он зашевелился:

— Куда же вы теперь? У вас есть кто-нибудь еще... кроме дочери?

Она спокойно устремила на него единственное синее свое окно:

— Нет, но я умею делать туфли... мягкие, для ночной ходьбы.

Тогда он успокоенно занялся газетой: в мире все обстояло благополучно.

### 3

С его отъездом неизвестность усилилась. Сотьстрой стал крохотным зеркальцем, в котором с местным искажением отражалось все сложное распределение сил в стране; это было верно, поскольку во всем отражается все. Так в застойной воде заводится пухлая плесень: неделю спустя на Соти появились пьяные. Нешумная их стайка бескандално прошла по поселку и скрылась в крайнем бараке; в течение всего того влажного и затянувшегося вечера неслась из раскрытого барачного зева дрожащая гармонная печаль. Во исполнение новой потребности в деревнях оживились шинкари, и, вот, заглухшее было самогонное производство возродилось с силой, достойной особого описания. Широко был поставлен опыт; гнали не только из картошки, а даже из гриба, сенной трухи и свежих березовых опилок. Результаты этих исканий хранились в секрете, но, судя по увеличению количества больных в околотках, многие из попыток оправдали себя. Из предосторожности гнали не на задворках, а в лесу, сажая у пьяной капли старух, а сами уходили в ближние поля собирать недогнившие сокровища; так старухи и сидели в чашах, подобные ведьмам у колдовских своих очагов, хмельные от одних испарений.

— Теперча наша на нас всемирная' танцуха. Будем с сей поры, сед и млад, танцовать три года...—вещал Лука Сорокаветов, но слово его уже не имело прежней пророческой силы; деревня чуждалась старика, ступившего одной ногою под смертную сень: нехорошим холодком веяло от него в эту пору.

Управление Сотьстройа снеслось с волисполкомом о совместной борьбе против шинкарства; два дня всеуездный милиционер рыскал

с комсомольцами по чащам и набрел, наконец, на мальчишку десяти годков, который, сгибаясь под тяжестью, тащил в мир четвертную бутылку цветной отравы. Преступнику дали пяточковую конфетку и принялись допрашивать; преступник шоколадку с'ел и тотчас принялся реветь с такою силой, что у милиционера даже мелкое колотье пошло по запотевшей спине.

— Экой звук,—сказал он, наконец, суеверно и не без уваженья.

Так воевал враг Сотьстрой, прячась по ту сторону сотинской баррикады... Ежедневно члены рабочкома обходили бараки в поисках нарушителей обязательного постановления, но все оказывалось в порядке, а к ночи, едва роса, снова нетрезвая песня гнусаво неслась над поселком. Угрозы выселенья не помогали; тревога за будущее пожирала все. Опять гулял по округе Фадей Акишин, таская подмышкой пестроватенького конька, который порядком пообносился и полысел за это время. Часами он простаивал на макарихинском перевале, откуда были одинаково видны и Сотьстрой и деревня, а в лице его ночевала тоска. Иногда он заходил в казарму к землякам и долго, чужунным взором глядел на топор, валявшийся под соседней койкой. Потом он брал его и пальцем пробовал звонкое острие, на которое уже капнула ржавчина.

— Эх, никому в целом свете не нужна более эта рабочая рука,—замахиваясь, начинал Фадей.—Ступай, рука моя, в могилу! — и по всей видимости собирался рубить руку, но почему-то не рубил, а только замахивался.

Земляки стояли кругом, качая головами на Фадеево затменье:

— Чудно ты, дядя Фадей, говоришь, все не в путь,—укорял кто-нибудь из кучки.

Акишин откидывал топор и шел к выходу, а тут-то и караулил его Горешин:

— А ну, дохни в меня... всей грудью дохни!—Он принюхался и смутился.—Чего ж, раз не пьян, лошадку таскаешь в такое время, на посмешище себе!

— У него, товарищ Горешин, внучек за отца хочет итти отомщать, а коня нету. Вот картонного и купил у Фунзинова!

Горешин уходил, и ему казалось, что всему виной вредное соседство Макарихи: оттуда и пьянка, оттуда и темные всякие ветерки; частично он был прав. К этому времени воротилось мокроносовское посольство, и лишь тогда стало известно, что и Пронька с Лышевым уезжали куда-то, а вернулись в небывалом веселии и с предписанием досрочно произвести перевыборы волостного совета; председателем заглазно называла молва молодого Мокроносова. Так и произошло, и тогда подметнули письмо Егору, чтоб сидел тихо на высоком и сухом своем месте, если не хочет лежать где-нибудь в низком и сыром. Обозленный угрозой, Егор в то же утро повел людей к отцовскому дому и, оттянув одну заветную тесинку от домовной обшивки, вы-

цедил оттуда, как из бочки, изрядно зерна. Выдоив заком до конца, Мокроносов побывал и у других зажиточных сотинцев, всюду обнаруживая большое знание дела и крутой свой характер.

В тот же вечер загорелось у Егора на гумне; пожар притушили в самом начале, только подтелок малость обгорел, а утром Егор сам пошел арестовать тех, на кого указывала молва и собственная догадка. Были то все «богатеньки грибки-боровички», как сказало у Савихи; никого из них Егор не застал, не словил и вечером, не нашел и в полночь. Зато грибки рассказали, будто видели у огнища в лесу четырех дюжих детин северного роста, а в сторонке паслись стреноженные кони. Теперь следовало ждать нападений от людей, ушедших из-под закона, и Мокроносов мобилизовал три окружных ячейки на облаву. Цепь двигалась к северу, на Уртыкайские болота, а с юга принесли весть нищие—свели двух коней из Ильюшенского колхоза. Тогда совместно с тем же милиционером кинулся Егор на юг, а на востоке неизвестные люди, обвязавшись тряпицами, ограбили в то же самое время почту. Распечатанные конверты понес вместо почтальона по дорогам осенний ветер... И вдруг в памяти у мужиков встал во весь рост покойник Березятов.

Если б умели обобщить все эти разнообразные явления, стало бы ясно, что во всем, от неудачной летней мобилизации до образования банды, был один четкий план. Ясно, что к этому сроку завклуб из Макарихи окончательно овладел Лукиничем, а когда того сняли, именно им был организован кружок содействия хлебозаготовкам. По его настоянию истинные бедняки исчислялись на Соти всего лишь десятками, и оттого кружок еле справлялся со своей работой. Вдобавок, установился обычай определять доходность двора по спичке: входил в амбар милиционер, зажигал спичку, и, пока она горела, на глазок прикидывалась сумма налога на местные нужды. Этим и выражалось участие Виссариона в той игре больших козырей, которая началась на Соти; этим он приоткрывал дверь волковатому сотинскому племени на широкую бандитскую дорогу. Мокроносов же, стремясь оправдать доверие бедноты, еще более подкрутил гайки.

Пронька, сколько ни приглядывался к деятельности неукротимого Виссариона, так и не умел постигнуть его до конца. «Чудной ты, жарко говоришь, а на два смысла действуешь!» Виссарион ни в чем не признавал половинчатых мер, начиная от безбожной пропаганды до ликвидации неграмотности, и буквы циркуляра придерживался во всем. Он произносил страшные слова, которые пугали и самого Проньку, и Мокроносова, а банда росла, и черный туман двигался впереди нее на мужицкие селенья. Положение Буланина укреплялось; фотография его попала в губернскую газету,—он был изображен с откинутой головой, полным задора и крика, но никто не знал, что этот крик был: «Назад, к тезису!» Это была пора его расцвета, он уже не боялся ничего. Перед самыми воротами обетованного города, полного велико-

лепной социальной архитектуры, он затевал последний бунт. Его не огорчала незначительность его плацдарма; артиллерист, он знал законы детонации взрывчатых веществ, а честолюбивое воображение усиливало ему образ его самого—хромого предтечи Атиллы, шагающего по пустыне.

В захваченном манией его мозгу слагалась героическая феерия: цветные вихри плескались в ней, двигались полчища безыменных бродяг на материке и народы, ветхие Сивиллы раскрывали пророческие и беззубые рты, начиналась как бы флуоресценция стихий, мир раскрылся в первоначальном своем смысле, загаженном трудолюбием гениев. Он глядел и находил, потому что искал и хотел. Каждая мелочь этой временной заминки утраивала его силы, и вот наступил день, когда зашептали, наконец, домодельные макарихинские Сивиллы. Сказывали, будто Савиха, бродя за грибами, встретила дубоватого коротконового старичка в дальней заозерной стороне; и будто бы кинул старичок щепотку праха в коровьи глаза старухи, и Савиха увидела дикостные, могучие пламена, застывшие над землю и ее городами. Задрал одежды, раскидав грибы, якобы неслась старуха целой скирдою по незнакомому полю, а старичок кукарекал ей вслед. Лука, эта бородатая Сивилла мужеского пола, видел, как из трухлявой сосны выскочил заяц с красной головой, и теперь на Луку не смеялись. По уверенью некоторых, в округе стал прохаживаться незнакомый господин в волосах и с подпаленной бородой, который разыскивал покраденную у него медаль; в нем нетрудно было узнать недобитого купца Барулина. Древняя языческая космогония оживала на глазах у всех; мертвые искали себе дружбы в живых. На поселенья поползли крысы, клопы и какие-то летучие тараканы, а в довершение смехот выполз из болотной дебри необыкновенный микроб и стал есть матицы в новых избах. Зародился он, наверно, еще в пору проливней, и месячная сырость помогла ему приспособиться к сотинскому бытию. Кажется, все та же Савиха встрела его однажды, а тронуть не порешилась: черноват, усат, с востреньким хоботком, а размером в небольшую жужелицу. Мазали старухи керосином почернелые матицы, но не переставали те трухлявиться, а дранчатые крыши замшели, а в просторной макарихинской бане сруб маленько присел на уголок и стал походить на шапку, робко подвинутую набекрень... Какая-то женщина со строительства, рыжеватая чуть, наскребла в бутылочку избяной плесенцы и все искала таинственную жужелицу—не то на казнь, не то на исследование науки; бабы едва глаза ей не выцарапали за злодейство. Подразумевали, что микроб нарочно пущен Увадьевым на жилища мужицкие и сердца, чтоб источил вконец, а опустелое место застроить фабриками с новыми людьми, безотличными от православных, с той лишь разницей, что спят без храпа и без дыхания—на манер, как молотилки спят. Барулин, сказывали, пополнел и, примирясь с утратой медали, выдумывает новую штуку под советскую власть. Глупость мешалась с дикостью, мертвое с живым, нищета с неистребимой не-



чистью... гуляла человекская метель, и уже под шумок выходили на добычу воры.

А началось с того, что на свадьбе у Феди Селивакина выкрали лапшу из печи. Тут праздник случился, и Макариха полна была наезжих гостей, из которых половина прогуливала на улице свой свадебный хмель. В селивакинском доме шел своим чередом пир, и жених уже дважды выбегал на двор помочить в пожарной кади пропитую свою башку. В открытые окна летели звуковые ключья гульбы, а чаще всего повторялось:

— А ну, перед лапшой по большой!

— Ой, пирог подгорел...ой, смочить малость!

Гости томились и потели, а лапша все не шла; ядовитая сваха шутила, не примерзла ли заслонка; жених, в помраченьи от такого срама, со стоном искал сбежавшую лапшу, а веселье замирало на высокой ноте, как неоконченная песня. Пока женихова родня ловила на огороде кур на новую еду, гости высыпали на улицу поразмять затекшие животы. Тут и встретили они сотьстроевских людей, притащившихся сюда со своей горемычиной. Пришли они с собственным гармонистом, и оттого, что у каждого имелся свой грошик на угощение, показались им особенно гостеприимны макарихинские околицы. Селивакин, а с ним и гости, как только завидели их сидящими на бревнах, так сразу и решили, что котел с едовом выкрали они. Глубоко затаив обиду, они смешались с пришлецами, и сразу завелась беседа про всякие мужиковские скорби, про окаянного жука, что питается деревом, про вешие племена, про колхоз, за который с особой настойчивостью ратовал теперь Мокроносов. Между прочим укорили строителей за их сотьстроевское расточительство:

— Все строите, на последние крохи... кто жить-то в вашем доме станет!

А уж тем и отступать некуда:

— И построим. И народу найдется... плодовитый у нас народ.

— Черти вы, черти... обеднили нас до лоскута!

— Бедные, а пить имеете... Эко рыло, шире маминой задницы!

Почем за молоко-то дерете?

А гостей уж и вправду разнесло от селивакинского обеда:

— Сами мужики, а мужику на пороге ложитесь, черти неправедные!

— А вы контрики, собак вами кормить.

Тут бы и разойтись, но в соседней кучке заспорили о святых, и один, простодушный Миколаша из Акишинской артели, выразился в том смысле, что вологодскому святому супротив череповецкого не выстоять. Этого стерпеть стало уже нельзя; так Миколаша и не кончил, а стоял потерянно, облизывая внезапно осолоневшие губы. Ударил его пучеглазый мужичонко, женихов дядя; ударил не столько за сочувствие советской власти, не столько в защиту святого, сколь за покраденную лапшу. Ударив же, он и сам струсил и юркнул: было за

Лукинича, который случился возле, но тут все строители увидели расплывшиеся Миколашины губы, кровависто дрожавшие, как студень.

— Кого бьешь, дитю бьешь!—закричали земляки.—Дружок, утрись... ведь тебя обидели!—и тотчас пустились ловить увертливого обидчика.

Произошла небольшая свалка, а когда глаза привыкли к суматохе, многие увидели, как Фадей Акишин, оставив в сторону картонного конягу, прилаживал на себя старенький картузишко и готовился выступить в подмогу землякам. Несмотря на обоюдное возмущение, побоище началось по древним правилам кулачного соревнования: снимали пиджаки и тем дружественней пожимали руку врагу, чем сильнее кипело сердце. Не дорезав своих кур, высыпала откуда-то жениховская родня, и тотчас навели на них печальную красу огорченные соьстроевские ребята; пучеглазый дядька украдкой уползал по канавке домой, волоча за собой располосованный пиджак. На стороне соьстроевцев оказался и тот рослый черемисин, памятный собеседник инвалида; стремясь остудить дикарский пыл распри, он принялся разметать бойцов по сторонам... и вот долгоногая куземкинская халда понеслась по деревне, стуча в окна и трубно крича:

— Бяжите, люди, бяжите... хреновья старые, бяжите... все бяжите! Татаре наших бьют...

Количество сражающихся сразу увеличилось на треть, и ячейке ничего не оставалось, кроме как вызвать конную милицию с Соьстроая. Тут вернулось макарихинское стадо; напуганный скот шарахался в проулки от суматошного людского клубка. Тем временем конники с лихостью бури наскочили на деревню, но, не имея точных предписаний: разить ли, уговаривать ли, растерянно внимали хрипенью бойцов. Вдруг раздался странный скрип, точно на всем ходу остановилось маховое колесо; было слово, точно выстрелили в толпу толстым чугунным словом.

Был жалкий всхлип:

— Всем отвечать, всем... граждане, всем!

Толпа пятилась и расступалась от места, где должен был лежать поверженный человек, но ничего там не было: только рядом с раскрытым Фадеевым коньком чертил пыль сереньким крылом затоптанный куренок. Ужасная трусость охватила всех, и тогда-то Мокроносов, пользуясь временным замешательством, приступил совместно с милицией к арестам; предоставляя суду впоследствии разбираться в виновности каждого, он брал почти без разбору,—только вглядывался в лицо подозреваемого и по какой-то сокровенной дрожи в глазах угадывал преступника. Никто не возражал ему; временно, до расправы, их отвели в клуб, дали воды и хлеба, а пол застелили соломой, чтоб спать.

Свечерело, а на бревнах остался сидеть только один Виссарион, свидетель происшествия, так с самого начала и не замеченный никем. Должно быть, не утомясь еще зрелищем дикости и крови, он подобрал

с земли куренка, эту первую жертву своей игры, и, держа на ладони, долго глядел, как затягивали его глаза два смертных бельма. Потом, когда надоело, он поднял отяжелевшие веки и стал смотреть на остывающее небо и далекие, как бы углем начерченные на нем купы деревьев. Пустынная, незатейливая графика пейзажа напомнила ему затрепанную фразу из учебника: «Мезозойская эра изобиловала...» Он сам видел, чем изобиловала она: на его глазах длинноногие черные животные, лоснясь глянцевитой кожей, сходили с меркнувшего горизонта в сотинскую ночь. Бесплотную пятую чудовищ уже не обжигало полужатухшее уголье и жемчужная зола заката. Все было очень просто и значительно; только перила деревянной трибуны, черневшие в небе, мешали целостному восприятию мезозоя; была досада, точно богатый и нерасчетливый художник перемудрил, поставив ее именно здесь. Он поймал себя на мысли, что Атилла еще не конец, а конец там, за пределами сущего, но он не понял, что только будучи мертвым можно шагнуть туда, назад, к непостижимому началу.

Глаза его смыкались, когда он услышал шорох позади себя; он скорее удивился, чем испугался. Неслышно взобравшись босыми ногами на бревно, сзади стоял Лука; застигнутый на месте, он хмыкал, слюнился, а насекомое лицо его поминутно менялось, как тесто, которое месят:

— Куреночек-то, а?.. Куреночек-то!—шептал он и все тянулся назад, грозя рухнуть на Виссариона. Руки он прятал за спиной—сорокаветовская привычка, и стоило взглянуть на него, чтоб понять его нынешнее намеренье, но у Виссариона как бы пропало сопротивление смерти. Подобно стеариновому огарку, что-то оплывало в нем и растекалось в лужицу у собственных ног. Он смотрел на Луку до тех пор, пока старик не отступил назад, в крапиву, из которой выбрался на бревно. Никто не видел их вместе...

## 4

Длинная телеграмма Бурого о событиях на Соти пришла к Увадьеву за сутки раньше газетных сообщений. Местный корреспондент, сообщая подробности бесчинств, очень уместно приводил количество дворов в волости и выручку шонохской винной лавки за один тот праздничный день. Совмещая это с добавочными известиями, полученными в тресте, о каких-то беспорядках у биржи труда, можно было получить широкую и ложную картину волнений на Соти, хотя, в сущности, то было обычное при безделье брожение, вызванное заминками на Сотьстрое. В последующей секретной телеграмме от строительской ячейки сообщалось о непрерывных попытках рабочих освободить товарищей, которых из общего числа арестованных сорока двух человек приходилось чуть меньше половины; ячейка настаивала на освобождении и крестьян, чтобы не обострять создавшихся отношений. Той же ночью, посоветовавшись с Жегловым, Увадьев отпра-

вил в уезд телеграфное требование немедленно освободить всех, задержанных по случаю побоища. Беря все это на личную ответственность, он действовал противозаконно, но закон и не предвидел подобных заострений в действительности. В душе он готовился ко всяким переменам, вплоть до смещения своего с должности, так как почти все, с кем ему приходилось встречаться, смотрели на него, как на истинного виновника сотинской заварухи.

В эту ночь он совсем не спал, вместе с Жегловым мучаясь над докладной запиской в Бумдрев; надо было доказать, что не замедление, а лишь убыстрение темпа работ способно выправить положение на Соти. Когда машинистка поставила последнюю точку, в окнах белесо пучился рассвет. Мельком взглянув на часы—и сперва ему показалось, что на циферблате вовсе нет стрелок—он вскочил и принялся собирать бумаги.

— Куда экую рань?

— Надо на аэродром поспеть. Сегодня Потемкин летит... неудобно.

— Куда?.. Да, я забыл. Ну, что ж, кланяйся ему, Потемкину, желай!—Жеглов покрутил шнурочек пенсне.—Кстати, поедешь на Соть—забирай с собой этого, Роберта твоего... пока он вконец не разложился!

...Город, зевая и стенья, распрямлял невыспавшиеся члены; в жилах его опять заструилась дремотная кровь. Небо было пусто, точно вылизанное. Стоял ранний час; посреди крупной улицы лежала дворничья метла, и все ее торжественно об'езжали; этот час принадлежал ей. Заспанный шофер переспросил адрес, и Увадьев вторично назвал ему гостиницу, где временно проживал Потемкин. Дряхлый мотор кашлял, заставляя вздрагивать седока, и тем злее лаял на новехонькие машины, которые встречал на перекрестках. Отражаемый домами, то голубой, то розовый проползал по рукам Увадьева утренний свет. Вдруг отражения потухли; серая плоская громада надвинулась из-за последнего поворота. Увадьев побежал вверх по лестнице. Пропуска выдавала женщина в красном платке. Швейцар тащил урну для окурков. В номере плакала девочка. Потемкин сидел один, в старом, прорезиненном пальто и в кепке; он походил на просителя, ожидающегося аудиенции у высокого и грозного лица. Кресло поглощало его наполовину, а снаружи на него напирала бронза зеркал и плюш богатых гардин. Увадьев заметил, что рука Потемкина лежала на кнопке звонка.

— ...кому так названиваешь?

Потемкин иронически дернул плечом:

— Надо же снести вниз чемодан, я даже ходить разучился... минут пять звоню. Чудаки, они думают, что я уже умер...—Он говорил так, словно ему было неловко разубеждать в этом Увадьева.

В комнате пахло погребом, но на столике, в длинной вычурной вазе стояли блеклые флоксы, напоминая об осени; цветная осыпь лепестков отражалась в красном лаке стола. Пузырьков нигде не было



видно, они стали ненужны. Увадьев раскрыл окно и высунулся наружу.

— Э, воздух-то... ровно сельтерская вода, хорошо. Завидую тебе. едешь в самую кавказскую гущу, в цветы, а меня сегодня пороть будут. Кстати, кто тебе цветы-то преподнес?.. Амура завел втихомолку, а?

— Нет, это дочь у меня. Она любит.

— Она поедет с нами на аэродром?

Потемкин взглянул с удивлением:

— У ней уже кончился отпуск, она уехала третьего дня. Со мной едет Крузин, такой, он у меня в исполкоме... А с дочерью мы распрошались, да.

— Ах, вот как... очень любопытно. Ну, что ж, едем!

Держа одной рукой чемодан, другой придерживая друга, Увадьев спускался по лестнице; Потемкин виснул на руке, мешая итти, и Увадьев уловил в себе стыдное желание схватить Потемкина подмышку покрепче и нести, как вещь. Он вспотел, прежде чем добрались до выходной двери, и швейцар единственно из сочувствия Увадьеву побежал взять у него чемодан.

Снова чихал мотор автомобиля, и сточившиеся внутренности гулко сотрясались в нем; снова сдвигались, раздвигались и падали позади цветные плоскости стен; бежали под колеса знакомые улицы — Моховая, Никитская, Тверская, а Увадьев изучал приятеля украдкой и находил, что у него похудела даже голова.

— Тебя не трясет?.. Вообще, ты как чувствуешь себя?

Тот испугался вопроса:

— Нет, совсем неплохо, совсем. Мне предлагали кровь перелить... есть такие студенты, продают кровь. Не могу, стыдно...—Он взглянул на Увадьева и быстро отвел глаза.—Ведь они со мной целый месяц возились: все-таки в роде губернатора был, нельзя. Чудаки, одного электричества рублей на пятьдесят извели. А я сижу и хитрю: дело-то ведь ясное!—Он помолчал. В улицах вслед за дворниками появились газетчики; Увадьев остановил машину и купил газету, но прочесть так и не мог.—На-днях выхожу... то-есть выводят меня из лечебницы, вот где электричеством-то меня пичкали... и подкатывается нищий, в разлетайке такой... «Вы тоже резонер, коллега?» — спрашивает. — «Нет, — отвечаю, — я — комик».

— Ну, какой же ты к чорту комик! — усомнился Увадьев.

— Нет, это я пошутил ему, что комик. Ты не опоздаешь со мною, а?.. Вот уже полчаса вижу тебя, а все боюсь спросить про Соть. Боюсь, понимаешь?

— С Сотью справимся! — махнул Увадьев.

— ...справимся, а в газетах-то ругают!

— А ты что же, триумфального шествия хотел?

Больше они не говорили до самого аэродрома; да и там, подходя к самолету, они обменивались лишь самыми скудными и обычными в этих случаях словами. Крузин, спутник Потемкина, этакая белая

булка с колбасой, хохотал, с оживлением щупал себе карманы и дважды пытался рассказать анекдот про человека, который ехал без билета; кажется, только природное добродушие заставляло его делиться с друзьями всем, даже слышанной пошлостью. Увадьев строго поглядел на него, и тот, покорно отойдя в сторонку, завозился над багажом.

— А смешно наверно там, наверху: видеть землю, понимать ее и не уметь прикоснуться к ней... — не утерпел Потемкин и в это малое вложить свой особый смысл; он сидел на чемодане, пока летчик с бортмехаником пробовал мотор. — Знаешь, никогда там не бывал, на Кавказе, а всю жизнь хотелось.

— Зачем ты не поехал по железной дороге, а полетел? Тебе, может, вредно!

— Не люблю это в дороге... умирать. Хлопотливо и как-то противно. А на полет меня еще хватит. Ты не пугайся, я давно это понял... я очень много, знаешь, примечать стал: все теперь вижу. Раз там, на Соти, шел, а на дороге лежит сапог вот с таким лицом... — Он показал, с каким лицом лежал сапог, а Увадьев смущенно отвернулся. — Я тогда и понял... здоровый человек этого не видит.

Увадьев нерешительно кашлянул:

— Эх, хоть бы снять тебя на память! — вырвалось у него невольно. — Все-таки потом, когда все построится, должен твой портрет там висеть. Ты начинал...

Того как-то сконфузила неуклюжая откровенность друга:

— Да-да, надо построить. Я скажу тебе секрет: свяжи свою судьбу с удачей предприятия, и если гибель — то и тебя нет. Тогда победа. Ты еще любишь вверх глядеть... понятно? а ты вниз гляди, вниз, откуда миллионы глаз на тебя смотрят. Ты внизу справляйся, ладно ли идет. Еще несколько таких промашек, и у них поколеблется доверие! — Увадьев покорно слушал его поученье, потому что оно было последнее; вдруг, заметив гримасу Увадьева, Потемкин принялся совать ему свою холодную, сыроватую руку. — Ну, вали, действуй. Кабы люди каучуковые были, а? Сломался — моментально его в машину, и все к манометрам... и вдруг выбегает через полчаса свежий человек в трусиках, а? Ты как думаешь, будет так, а?

Мотор уже работал. Увадьев подсадил Потемкина в кабинку, а оттуда высунулись ухватистые руки Крузина, красные как клешни рака, и покровительственно обняли больного. Стартер дал знак, пыль и ветер ударили остающимся в лицо; когда Увадьев протер глаза, уже получили свое оправданье длинные и такие нелепые на земле крылья. На ходу просматривая записную книжку, Увадьев вышел на улицу; в книжке было помечено: Варвара... но ехать к матери было как-то неприятно. Ему все казалось, что вот он входит в знакомую полуподземную каморку Варвары, а на стене висят брюки отчима, а матери нет — ушла за керосином, и он должен сидеть наедине с брюками матери мужа. Он ехал в вагоне, переполненном утренним людом и уже собирался развернуть газету, но вдруг вскочил и, расталкивая публику,

метнулся к выходу: он увидел Варвару, мать. Чадили асфальтовые котлы, ползали чумазные тротуарщики, пронеслись автомобили, а она возвышалась на железном табурете посреди, почти монумент, с довольным и спокойным лицом.

Ее трудно было бы узнать со спины по одной лишь дородной фигуре, по красной косынке, по той тяжеловесной небрежности, с какой она передвигала стрелку; нужно было еще внутреннее желание и готовность самого Увадьева увидеть ее хозяйкой улицы, на прежнем месте. Выскочив на ходу, он едва не свалился к самым ногам Варвары; она посмотрела на него с неодобрением, останавливая одним взглядом, как остановила бы и автомобиль, выскочивший на нее из-за ворот.

— Вот оштрафуют тебя на рупь, станешь прыгивать на ходу! — пригрозила она, а у самой под синеньким ситцем резвились бесенятки зыбучего бабьего смеха.

— Здорово, мать! А я думал... — Он не досказал и, тиская ее жесткую, шершавую руку, пошел напрямки. — Спешу, мать, спешу... Нэпмана-то прогнала, что ль, своего?

Она снисходительно усмехнулась:

— Слава те, не паяные!.. пусти руку, выломаешь, — и ударила его по руке. — Откуда экую рань, с гульбы, что ли?

— Нет, приятеля провожал одного. Полетел умирать в цветы... Ну, рад, мать, рад за тебя! Знаешь, а я притти боялся. Ну, как, что нового? Барыня-то жива еще... вот, что с тобой жила?

— Ноне советские духи под заграничные продает... Чего ж про Наталку-то не спросишь? У, задушить стервеца!

— А что ж мне Наталья! Тоже не паяные...

— Вот скрутился с другой, вот и дела другие пошли. Скоро тебя под суд-то отдадут? Небось инженерша передачек-то не понесет. Ты чего там, на Соти твоей нашкодил?

— Во, а ты и газеты стала читать? Молодец, мать, молодец! Слушай, поедем со мной на Соть, а?.. а то живу чортом, прибраться некому. Изба у меня в роде бани, такая, в ней и живу. — Он мельком вскинулся на большие уличные часы и опять схватил ее за руку; было крепко пожатье, точно сцепились якоря. — Пора мне... время, надо домой заехать. Слушай, приезжай... станция Соть, а там спросишь! — прокричал он уже из трамвая, в который вскочил на бегу.

Она махнула ему своим совком, которым сбирала грязь с рельсового пути; потом пузатая церковь заслонила и ее красную повязку, и железный табурет. Кондуктор вторично, уже настойчивей, предложил ему взять билет; он вынул горсть медяков и отдал без счета. «Эка бабища, правительница на площади, хорошо. Тут ее когда-нибудь и удар трахнет, а хорошо!» Потом он раскрыл газету, но дочитать снова не удалось; кондуктор прокричал название какой-то совсем неподходящей площади: он сел не на тот номер. Лишь минут через двадцать он вошел в белые ворота древней московской стены и вдруг испытал вол-

нень, потому что от разговора в этом длинном без украшений доме зависела конечная судьба Сотьстроля. Сразу сказалась бессонная ночь; образ Варвары сплетался с Потемкиным; он вспомнил тот особенный взгляд, которым обнял его Потемкин на расставаньи, и почувствовал тяжесть в ногах...

— Вам каких, гражданин?

Он угрюмо глядел на тощие руки папиросницы, перебиравшие свой товар:

— Нет, не то... я не курю.

Забыв про лифт, он по лестницам втаскивал свои громоздкие тревоги и все прислушивался к шумам вокруг себя, как в молодости когда-то проверял на стук работу машины. Сюда пригнала его волна, поднявшаяся снизу, и он не умел побороть в себе опасения, что все уже напуганы этой непредвиденной бурей. Здесь, в рулевом управлении корабля, стояла благополучная тишина, разграфленная четким стуком машинок, расцвеченная гулким, разноязычным говором. Вдруг какой-то человек, лицо которого показалось Увадьеву знаменательным, панически пробежал мимо; Увадьев пристально проследил его и даже сделал за ним шага два по коридору, но человек спешил в уборную, и увадьевские скулы зарделись. Он был заранее записан на прием и оттого, едва успел развернуть газету, назвали его фамилию; тогда, сдвинув свой портфель, отяжелевший до сходства с ядром, он переступил порог кабинета.

С первых же слов стало ясно, что здесь достаточно осведомлены о положении Сотьстроля; в этой папке на подоконнике немало имелось, повидимому, сведений, о которых не имел представления и сам Увадьев. Человек, сидевший за столом, указал место сесть и вымерил посетители коротким взглядом. «Хребет прощупывает, крепок ли, выдержу ли...» — подумал Увадьев и сел так, что место хрустнуло под ним; тотчас он приподнялся и удивленно поглядел на стул, но тот стоял как ни в чем не бывало. Через несколько минут пришел Жеглов и новый, только-что назначенный заведующий Бумдревом. Все здесь было известно, от прорыва запани до самоубийства инженера, и потому разговор принял сразу узко-производственное направление:

— ...у вас там, на лесозаготовках, было закуплено тысяч до семидесяти кубосаженов пустоты. Так?

— В роде того.

— ...делянками по четверть десятины да еще километрах в со-рока друг от друга!

Увадьев покосился на Жеглова, ища поддержки:

— Мы не производственники, а строители. Мы не заготавливаем, а покупаем. И виноват был Гублесотдел, который, ставя лесосеки на торги, дал неверные цифры о них... ну, о количествах деловой и дровяной древесины, — на память прочел он из докладной записки, лежавшей пока тут же, в портфеле.

— И оттого покупали у частника?

— Овес...?

— Нет, я все о лесе.

— Куплено было некоторое количество дубовых кряжей, листовницы и бука. Мы предлагали местной кооперации, но она обещалась в восьмимесячный срок... За это время новый человек успеет родиться!

Человек за столом достал из папки какое-то письмо; лицо его стало холодно и требовательно.

— На, почитай. Верно это?

Письмо, писанное Горешиним, носило следы самой усердной конспирации, и, судя по надписям в уголке, успело побывать в губкоме. Горешин, давясь от секретности, извещал, что на строительстве беспокойно, что по баракам поговаривают об «Еремеевской ночи», если не произведут во-время значительных перемен в управлении. Увадьев читал, и пальцы его прилипали к бумаге; потом он сложил письмо и брезгливо кинул его на стол.

— Чушь, у меня все костромичи да вятичи... И слово-то такое откуда вынюхал!

— Мы запрашивали, — сказал тот, не отводя глаз от увадьевских ушей. — Слово это слышал от рабочих завклуб из соседней деревни.

— ...Виссарион? — быстро спросил Увадьев, и, вот, зашелся злым, беззвучным смехом, походившим и на конвульсию; кажется, смеялся он над собой, которого считал испытанным ловцом человек.

Он вспомнил, что при сообщении о каждой неприятности на Соти непременно упоминалось имя Буланина; ему пришел в память давнишний донос Лукинича и совсем недавний рассказ Сузанны, которому не поверил в суматохе, почитая его следствием их личных отношений, — Сузанна не была точна в передаче ночной их встречи; ему вдруг стали понятны некоторые потайные пружины, которыми изнутри распиралось сотинское дело. Неожиданно для самого себя он сжал под столом увесистый свой, с металлическим пушком кулак и погрозил, как кувалдой, воображаемому Виссариону.

О том, что он грозил уже наполовину мертвому, он узнал только к вечеру, когда удалось ему, наконец, дочитать утреннюю газету.

## 5

С этого высокого этажа, где он высидел долгий и нервный час, видней и понятней становилась сложная механика жизни. Пыльную суетню и грохот улиц значительно замедляла и глушила высота. Пять крупных уличных артерий сбегались в обширную площадь, и здесь, в раскаленном круге, велась беззатейная карусель движенья. Ладные шумливые игрушки описывали часть предназначенной дуги, и потом центробежная сила снова откидывала их в боковые ответвления. То, что с безумной скоростью несло вниз, отсюда представлялось в тугом и закономерном вращении. Полуденная дымка заволакивала

задние городские кулисы, которых еще не успели сменить для нового спектакля; в блеклое золото крестов и куполов смотрелись лиловые, студенистые облака, — к вечеру следовало ждать грозы.

Увадьев слушал, и ему мнилось незамысловатый образ корабля, который потрясает ночь и буря. Нужно было чрезвычайное умение и воля, чтобы вести его при перегруженных котлах через море, не помеченное ни на каких картах. Корабль кренился то в одну, то в другую сторону, и всякий раз волны свирепей вскидывались на покачнувшуюся вертикаль. Ломались рули, их мгновенно заменяли новыми, и было страшно небытие многих зашиканых вождей. Теперь уже от самой команды зависел успех рейса туда, куда еще не заходили корабли вчерашнего человечества. Усилия, сделанные накануне, забывались, как забывались и имена их зачинателей; некогда было повторять эти стотысячные имена. Начиналась пора великого маневрирования, и, может быть, именно в этом заключалась истинная героика революции.

Участь Сотьстрою не могла решиться за один этот час, да и о судьбе отдельных работников строительства предоставлялось думать специальной комиссии, составленной из представителей общественных и государственных организаций. В Сотьстрое сгущенно отражалась вся экономика страны; участь его определялась теперь многомиллионным народным голосованием, и подсчетом голосов ведал Наркомфин. Решение гласило: кораблю пробиваться вперед, Сотьстрою быть, комиссии выехать на Соть немедленно. Сотинские события наводили кое-кого на мысль, что всемужицкий Атилла уже выстругивает свою палицу, рождающую руины.

Комиссия, однако, выехала на Соть лишь неделей позже и сутки спустя после того, как с Геласием и Жегловым воротился Увадьев. Вечер, точно спетый вполголоса, был удивительно тих, и тем более странно было встретить троих вооруженных рабочих на дрезине, которую выслали за начальником строительства. Увадьев заинтересовался было цементом, сложенным под открытым небом, но шофер заторопил с отправкой дрезины. Ветка становилась неблагополучной; еще действовал в Виссарионовой машине старый заряд. Накануне нашли на полотне безгласного китайца Фунзинова, торговавшего по сотинским деревням всякими детскими игрушками; ходили слухи, будто копил китаец деньги, чтоб жениться на русской и сменить на оседлое свое кочевое житье; да не докопил, разграбили. В лицах охраны, когда проезжали Соленгскую пойму, средоточилась та сердитая зоркость, какой не видано было с самых гражданских боев. Смеркалось; осенний закат полнеба окропил рдяной сукровицей, и оттого уместны были мысли о незаживляемой ране, нанесенной старой Соти.

Увадьеву пришлось сидеть рядом с одним из охраны, токарем из ремонтной мастерской; косясь на его морщинистые щеки, тускло мерцавшие в потемках дрезины, на ремень с патронами, с которым еще не вполне освоился, он расспрашивал его полушопотом о сотинских новостях.

— Крутимся мало-мало, вчерашнему нонешнего все едино не догнать, — неохотно отвечал тот, не спуская глаз с пути и тревожа Увадьева туманом слов. Кивком он показал на бугорок, мимо которого мчалась дрезина. — Вот тут и лежал китаёз! В лоб ударили, а игрушечки все конями притоптали. Чего, китаёзная жисть!

— Что там с бандой-то?

Токарь, задумчиво и еле касаясь, провел пальцами по ложу винтовки:

— Да все недорезанные... рабочему делать нечего там. Монах один тож блудует. Решета рябей, а туда ж, на коня полез! В волсовете есть, ершистый такой: неча, говорит, ждать, пока к околице пойдут. Дозволили бы, говорит, мы бы их в неделю повывели.

— Нельзя, — строго сказал Увадьев.

— А чего ж!.. на Енге конокрада поймали, пятки закатали к голове да по пяткам-то, чтоб резвости убавилось. — Он с досадой подергал ремешок. — Разве можно такое во всем разбеге останавливать! — Он имел в виду Сотьстрой и случившуюся заминку. — Останови кровь, а она чернеть почнет, а там хоть и всю ногу напрочь рубай. Да еще Бураго войско хотел вызывать, тут порохом не вылечишь... И ты тоже хорош, монахом советскую власть вздумал подпирать!

Повинуясь ходу мыслей, Увадьев обернулся и в упор взглянул на Геласия. Тот сидел прямо, весь в каком-то внутреннем полете, одинаково перереженный снаружи и изнутри, но еще не приросла к нему новая его одежда. «Подслушивает... и глаза как у ночницы, сквозь волосики огонечек, — подумал Увадьев. — Ничего, вникай, парень!» Может быть, Геласий и догадался о минутном раскаянии Увадьева.

— Там человек за деревом... перебежал! — резко сказал он, и тотчас же Увадьев прикинул к прозрачному холоду стекла, плясавшему в брезентовой раме.

Он сразу различил его в синей мгле сосновья; человек стоял неподвижно, как бы висел на суку. Увадьев заискал его ног, но дрезина уже пронеслась, и в запотевшем стекле отразилось собственное его стекло, освещенное вспышкой чужой папироски. Мгновеньем позже что-то гремуче визгнуло в испуганном теле дрезины, и тотчас же железная дрожь ее перекинулась на людей; дрезина шла по шпалам. Втягивая голову в плечи, шофер тормозил машину, и еще до полной остановки ее Геласий выпрыгнул, упал и, поднявшись, побежал к лесу. Звякнули винтовки охраны, люди высыпали наружу, еще плохо соображая причины катастрофы.

— Гады, гады, гады... — бормотал шофер, поднимая из канавы толстый железный болт, второпях, повидимому, положенный на рельсы. — Машину портить, гады...

Пока кольями и случившимся на беду домкратом втаскивали на путь соскочившую дрезину, Увадьев стоял в стороне, томясь стыдом и недоуменьем за Геласия.

— Эй, Элеоноров, чорт... — закричал он со сжатыми кулаками.



Нелепое имя, еще не обтершееся в устах, прозвучало как издевательство над ним же самим, над Увадьевым. — Фу, похабство какое... — сказал он потом, стаскивая картуз.

В росной мгле из-за леса выходила недоделанная какая-то луна и один ее бок был помазан как бы маслицем. Стал виден глубокий шрам, проделанный на свежих шпалах колесом дрезины; задвигались тени. Люди ждали выстрелов или набега, но ничего не происходило, и болт в руках шофера стал принимать другое, смешное значение. Так прошло, может быть, полчаса; недоделанная поднялась на локоть выше; тени почернели, стало прохладней. Дрезина была готова к отбытию, а Увадьев, растопырив ноги, все глядел в голубые рельсы, прямолинейно убегавшие к опушке.

— Поедем, может, он тово... домой пошел? — еле слышно намекнул тот же токарь.

Багровый гнев вливался Увадьеву в скулы; токарь дружелюбно потягивал его за рукав. Вдруг Увадьев выхватил у него винтовку и, прыгая через шпалы, помчался к опушке; теперь уже и токарь различал двух, борющихся на опушке. Помощь пришла во-время; Геласий лежал на траве, а на нем, извиваясь и хрипя, возилась бесформенная человеческая глыба. Рычал Геласиев недруг:

— ... пусти, пусти!.. ага, духовника своего... кусать? — Он не умел вырваться из Геласиевых рук, державших его за бороду, и забился еще сильней, когда добежали люди из дрезины.

Охрана едва вырвала Филофея из Геласиевых рук, сомкнувшихся в мертвой хватке. Уже вязали пленника, уже уводили к дрезине, поталкивая прикладами, а Геласий все лежал, корчась и почему-то икая.

Увадьев наклонился к нему:

— Ну, вставай... руку, что ль, сломал? Ничего, починим... — «Верность, верность доказать хотел...» — топтались на уме догадки. — Вставай. Чего ж ты на медведя да безоружный полез!

— Он меня ногой... коновал. Он в срам меня... жеребеночек! — бредовым голосом шепнул Геласий, и тогда сам Увадьев, взвалив на плечи, потащил его к дрезине.

Когда от'ехали сажен сто, токарь зажег спичку и, водя ее вдоль лица пленника с риском поджечь бороду, качал головою; должно быть он дивился размерам добычи. Тот не двигался; из-под расклокоченной рубахи, вся в волосах и ссадинах, лезла на глаза грудь; взгляд его полон был звериной муки; он был подпоясан в несколько рядов веревкой. Он был громаден; у таких стыд за то, что взят живьем, всегда преодолагает любую боль. Мало в нем осталось от монаха, еще меньше от человека. Не в меру узкие порты его лопнули на коленях; он водил тяжким взором по дырам, как бы стараясь хоть этим прикрыть свою голизну.

— Ведь вот, на делах тебя изловили, а ведь сколько еще на тебя денег потратят, прежде чем р е ш и т ь! — раздумчиво сказал токарь и

прибавил, поглаживая по плечу: — Сидеть-то мягко тебе?.. не трет?

— Шуми, муха, шуми... в шуму-т не так страшно бывает! — проклокотал Филофей, и это были его единственные слова, которыми удостоил он мир.

Мотор замолк, в окнах дрезины заколебались огоньки поселка. Прибытие Увадьева всколыхнуло тишину Сотьстроя; к дрезине собирались рабочие, но Увадьев уже прошел. Носилки с Геласием вызвали меньшее недоумение, чем широкая Филофеева фигура, на голову возвышавшаяся над конвоирами. При сдержанных криках толпы, уже разведавшей обстоятельства его поимки, Филофея провели в плотничий сарайчик и ворота приперди кольями, а возле поставили милиционера в полном вооружении, чтоб охранял не столько от бегства, сколько от возможного самосуда. Озлобление рабочих против ночного вора достигло того последнего предела, за которым бессильны и власть и всякая охрана. К полночи весть о поимке злодея распространилась по всему поселку, и тогда милиционеру пришлось применить все свое крепкое красноречие, на которое, впрочем, без особого надрыва ему отвечали тем же. Отдельные подозрительные милиционеру глазки стали прогуливаться мимо сарайчика; всем хотелось видеть пленника, шупать его глазами, касаться его рукой небрежной и справедливой. Теперь все несчастья на Соти возлагались на одного человека: так было утешительней сердцу.

— ...боров, отсель не выпустим! — кричали снаружи, и брань звучней булыжника летела в квадратное оконце, прорубленное в полуторах саженях от земли.

— Пожечь его... и все место его пожечь, шершневую колоду!

— Эй, скольких людей разорил... Выглянь, мы в тебя плевать будем.

Милицейский, сам разделявший остервенение рабочих, еле успевал следить за всеми, и потому людское кольцо то суживалось, то размыкалось вновь. Так длилась эта бестолковщина до самого рассвета, когда тонкий невесомый свет зари стал бороться отускневшие звезды; по травам легла тяжкая росная испарина. Вдруг кто-то заметил белесое пятно в окошке: Филофей решил выгнаться в мир. Люди замолкли, и тотчас же один молодой парень, плотник, метнул в дыру комом ссохшейся глины. Все видели, что он попал метко, но лицо продолжало невозмутимо белеть в провале, и тогда парень, обозленный вконец, схватился за жердь, намереваясь хоть ею пропороть ненавистное спокойствие злодея.

— Товарищ, отступи... — кричал милиционер, готовый уж и кобуру расстегивать, а непримиримый все напирает, не помня себя.

Вдруг он сам выронил жердь и попятился, а милиционер так и застыл с поднятыми руками.

— Братишки... — вялыми губами сказал плотник — ... а на чем он стоит-то? Верстак-то ведь у той стены, а тута... тута нету ничего!

Они совещались о самом невозможном, а Филофей все глядел на них из оконца, уже безразличный к тому, какое солнце побежит завтра над страной. Толпа поредела, а милицейский понесся в поселок будить тех, кого в особенности могло заинтересовать новое известие. Одно бряцанье милицейского снаряжения и гулкий его топ должны были вздыбить спящее население поселка.

Увадьев проснулся получасом раньше. Падала луна на стол, где стояла пустая консервная коробка; дробный жестяной луч тянулся через комнату, в самый его зрачок. Полуголый, но в пенсне, Жеглов насыпал в бумажку какой-то порошок.

— ... ты что?

— Хина... завтра начнется, чувствую. Где у тебя вода, запить?

— Вон, в бутылке.

Жеглов выпил и, морщась, присел на лавку.

— Ты все кричал во сне... какую-то женщину поминал. Варвара, это мать твоя?

— Кто...? Варвара? — Увадьев думал о другом. — Кстати, кто вошел в комиссию от бумажников?

— Морошкин... ты его встречал у меня, рябоватый. Фу, какая все-таки горькая! — Тебе Наталья не писала?

— Нет... да и не о чем. А что?

— Я тебе сам хотел сказать, но все не удавалось. Я живу с ней.

Увадьев пристально взглянул на Жеглова; тот лежал с руками, закинутыми под затылок, и в лунном, значительно померкшем потоке четко торчал остренький его носик.

— Ничего, живи. Она, знаешь, неплохой человек... я припоминаю.

— Ты потерял хорошего человека, да. И вообще ты странный человек, Иван. Нет у тебя в жизни друга, при смерти которого ты сказал бы: и я умру.

— И не будет, — сухо вато подтвердил Увадьев и тут же покраснел, вспомнив Катю. — Давид, давай никогда больше не будем об этом!.. ты друг мне, но, может статься, никогда больше не станешь мне другом.

Он снял трубку с телефона и соединился с больницей. Заспанным голосом фельдшерица сообщила, что новый, Элеоноров, бредит, и сделать какие-нибудь предсказания на его счет нельзя; ей гораздо легче далось новое имя Геласия, потому что она не знала прежнего.

— Слушайте... — Увадьев замылся. — Там нет врача поблизости?.. Имею особый вопрос. Хорошо: как вы думаете, сможет он жениться?.. ну, через год!

В трубке слышен был подавленный зевок:

— Нет, не думаю. Ткань разможжена, сильное кровотечение... утром оперируют.

— Ага, такой оборот...? покойной ночи, товарищ. — И стал ходить по комнате.

Потом он вспомнил про порвавшиеся подтяжки и, отыскивая в стене иглу, сел зашить их; после разлуки с женой чинился он всегда сам, употребляя самую толстую суровую нитку, которую иногда густо наващивал. В воображении ему представился поверженный и искалеченный Геласий; он смотрит в Увадьева и напоминает то первое слово о земном счастье, с которого началось Геласиево преобразование: «...а ты из дырки скитской убежишь, отыщешь себе труд по рукам, зазнобину заведешь первый сорт, и станет барышня твоя целлюлозный шелк...» Таилась какая-то хрупкая неправда в его тогдашнем уверении, которое с такой легкостью разбил удар Филофеева сапога. Он шил, протаскивая иглу плоскогубцами сквозь кожу, и все отыскивал поправку к идее, которая возместила бы Геласиеву утрату.

Тут и прибежал милиционер сообщить о «самоповешении» бандита. Повествуя о том, как выпрашивал арестованный папироску сквозь воротную щель, и как он отказал, памятуя наставления Увадьева, даже в окно к начальнику полез, было, милицейский: имелись у него секретные на этот счет соображения. Но Увадьев закрыл окно перед самым его носом и, дошив, принялся одеваться.

— Давид, я все хотел тебя спросить... где она сейчас, Наталья?

Тот понял, что сообщение о их браке Увадьев принял за простую уловку.

— Работает на фабрике, а что?

— Вспоминает меня?

Жеглов пожал плечами:

— Прости, я не понимаю. Ревнуешь, что ли?

— Нет, а как бы это сказать... может, ей деньги нужны?

— Зачем же, моего заработка хватает. Да и сама зарабатывает, — холодно объяснил Жеглов.

Увадьев заглотнул воздуха столько, что чуть не отлетела какая-то пуговица с груди, и поднялся:

— Да-да, вы оба замечательные люди, — сказал он, с удовольствием потирая руки. — И вам нужно было сразу, тогда же... понимаешь? А я зря тут третьим замешался. Эка солнце-то, ровно ягода. Ну, пойду взглянуть... вали, глотай свою хину!

И он ушел, а Жеглов остался лежать. Начинаясь малярийный припадок; в непрозрачных потемках сознания наступила бестолковая беготня мыслей; собственная рука показалась ему зеленой. Подобно опечатке, еще не обнаруженной в тексте, мучило его сообщение милицейского о монахе, попросившем закурить. Филофееву потребность он пытался объяснить десятками громоздких догадок, а дело было совсем просто: следуя путем Аввакума, Филофей хотел изойти из мира через огонь. В поисках незажженной спички он излазил весь земляной пол сарайчика, прежде чем порешился на иную, подлецкую смерть... Солнце, восходившее из-за ветлы, и впрямь показалось Жеглову ягодой, но незрелой и горькой, как та хина, за которой он снова потянулся.

Пока не пришли власти открыть сарай, милицейский недвижно сидел возле, на досках, и в служебном раздумье созерцал ноги, изобилие ног, топтавших перед ним. Сперва были тут только сапоги, порыжелые и бесстрашные к засухе или слякоти, а попозже, когда весть о происшествии докатилась и до Макарихи, появились и лапти, и женские полусапожки с резинками, и даже чей-то щегольской сапожок. Все это было привычно, и только громадные валенцы, этикие войлочные стояки, на которых качаться бы великаньему тулову, чуточку развлекли милицейское оцепенение. Но валенцы переступили вдруг запретную черту, за которой любопытство становилось уже наказуемым, и ретивый страж вскинул голову на такого смельчака.

В валенцы вдет был некрупный старичонка в застиранной рубахе и, как сразу определялось по желтизне плешины, гробового возраста, Стараясь подкупить служаку последними улыбочками, остатками прежних богатств, просил старик дозволенья заглянуть во мрак окошка.

— Удостовериться желательно, правда ли... — напоззал Вассиан и весь, от плечи до валенцев, пахнул чем-то резким, кошачьим: теперь он ютился на задворках у благодетеля.

— Катись, пока я тебе колес не наточил! — загадочно пригрозил милиционер и гнал назад, точно от созерцания окна, где висел самый непримиримый, и мог произойти главный вред.

Он напрасно усердствовал; у сарайчика больше говорили о первом крупном транспорте лесоматериалов, прибывшем на Соть, чем о запоздалой гибели Филофея; к вечеру же у всех сложилось так на душе, точно после утреннего происшествия протекла целая неделя. Через два дня, одновременно с приездом комиссии, притащился второй транспорт, и тогда неуверенная надежда оживила людей, но строительство все еще стояло, как бегун на старте. Постепенно темп работ ускорялся, и почти в полном соответствии с ним тормозился ход сотинской смуты. Банда затихла, порох ее сырел, ржавела ее ярость. Мокроносову снова подметнули записку, что все воротятся на покинутые места, буде им даруется прощенье за нечаянные их шалости; Мокроносов отослал бумажку в уезд, так и заглохло. Приходил мужичок, требовал сто рублей с Увадьева за одну значительную тайну; сторговались на трешнице, но в последнюю минуту тот струсил Сорокаветова, пришедшего по какому-то делу, выкинул из кармана полученные сребренники и сбежал в молчаливую неизвестность. Был как бы туман, а в нем тени, и что тут было всерьез, что от воображения — не разобрать. Виссарион совместно с Пронькой задумывал облаву на бандитов, и Увадьев подался на просьбу Мокроносова не трогать завклуба до ближайшей улики. Он недоумевал, допуская вредительство лишь в одну сторону. Во всяком случае, когда на Соть приехал новый председатель губисполкома, дрезина выезжала ему навстречу без всякой охраны.

В продолжение трех дней комиссия не выходила из конторы, изучая цифровую действительность на текущие сутки. Как-то в конце дня туда пришел Акишин в сопровождении кучерявого комсомольца и, вызвав председателя комиссии, с делегатским достоинством вручил ему синюю тетрадку, полную ветвистых каракуль.

— От рабочих прими, — сказал Фадей, прикрывая щеку, где еще красовалась двухвершковая царапина.

— О чем...? — прищурился тот.

— Возьми, — чванно настаивал Акишин, меняясь в лице. — Не я, тыща с тобой говорит!

Тот взял, пожимая плечами, и тут же просмотрел ее. Первую страницу занимало требование рабочих продолжать строительство во что бы то ни стало; возможное подозрение, что массой строителей руководил лишь шкурный интерес, отводилось готовностью пойти на известные жертвы; остальные пятнадцать были заполнены подписями. Здесь и лежала разгадка непонятного оживленья и беготни по баракам, наблюдавшихся в последние двое суток. Полистав их, председатель обещал принять к сведению Акишинское поручение и тут не удержал улыбки.

— Где ты себе, отец, щеку-то рассадил?

— Это он в классовой борьбе... — вставил комсомолец, намекая на макарихинский скандал.

Акишин хмурился:

— ... и еще велено на словах передать... хлеба-то нету! Пильщикам паек сократили... — Он оглянулся, нет ли кого вблизи, готового осмеять Фадеевы соображенья. — А чем меньше хлеба, видите ли что, тем больше бумаги надо.

— На хлебные карточки намекаешь, язвина? — усмехнулся председатель.

— Не мудри... а народу об'яснить надо, почему хлеба меньше.

Тот, еле сдерживая смех, опустил глаза, но уже дружественней листал тетрадку.

— А ты хитрый, старик. Лиса ты, вот что...

— Тем кормимся! — даже и не мигнул Акишин.

— И в тебе есть это самое, соображение, — постучал он себя в лоб.

— Не стучи, взбултыхнешь! — И они расстались, вполне поняв друг друга.

На следующее утро комиссия открыла прием заявлений от рабочих, но за два дня поступило лишь одно — с просьбой о выдаче аванса на ремонт погорелой избы. Увадьев сам на заседания комиссии не заявлялся, да его и не беспокоили до поры; вел себя самостоятельно, был особенно нетерпим к сотрудникам по управленью, но то, что принималось за страх перед будущим приговором комиссии, было на деле лишь желанием сдать строительство будущему заместителю на полном ходу. Его вызвали в комиссию одним из последних, когда все ответы на возможные вопросы были давно готовы у Увадьева.

— У вас много фиников...? — нежданно спросил председатель.

— Да кило два еще наберется... — с удивлением ответил Увадьев.

— У нас составилось впечатление, что завоевание социализма стало для вас завоеванием женщины...

Увадьев вздрогнул и строго уставился в вислый галстучек, стягивавший ворот черной председателевой рубашки:

— Может быть, вы раз'ясните... при чем тут финики? — с кривым ртом спросил он, поглаживая себе шею; он был уверен, что речь идет о Сузанне.

Председатель протянул ему фотографический отпечаток:

— На!.. узнаешь? У своего же рабочкома невесту отбиваешь!

Секунду Увадьев не видел ничего, кроме лилового, захватанного пальцами глянца. На крыльце знакомой избы стоял он сам и с ним машинистка Зоя; особенно контрастно вышли белые бумажные чулки на коротких ногах девицы. Испуг проходил: они ничего не знали о его внутренней борьбе с Сузанной, длившейся целый год.

— Перепроявлено маленько, а ничего, смешно, — молвил он, наконец, когда улыбка на его лице совсем созрела. — Это ребята из фотокружка? А еще говорят, что клубная работа плохо поставлена. Больше вопросов нет?..

Успокоение было ненадежно; угнетала мысль, что все на Сотьстрое уже знают про обольщение финиками, а, может быть, шутники показали отпечаток и Сузанне? Последние две недели он вовсе не встречался с ней, и тем растерянной была его злость на себя, когда ему напомнили о Сузанне. Целый вечер он боролся с собой и в сумерки не устоял перед искушением услышать ее голос хотя бы по телефону. В трубке происходило невнятное клокотанье; шорох ветвей, царапавшихся как бы о стекло, мешался с плеском осеннего ливня; похоже, будто он подслушивал свою собственную осень.

— ...не разбудил вас?

— Нет, пожалуйста.

— Поздно ложитесь, это вредно.

— А, и вы в опекуны записались? Слушайте, я не из тех. Бывали случаи, в меня стреляли, и я стреляла сама. — Ему почудилось хвастовство этой неизвестной подробностью, но он не испытал раздраженья. Ему было, будто курит толстую папиросу, и приятное онемение приходит в пальцы. — Вас вызывали в комиссию?... они спрашивали об отце?

— Да, я об'яснил, что он устал. А когда устают в наши дни — умирают. — Папироса его кончалась, а ему все еще хотелось продлить ее сладостный чад.—Слушайте, я прочел вашего Печорина. Встреться он мне в девятнадцатом году, я расстрелял бы его, да. — Он помолчал. — Знаете, осень пришла!

Кто-то засмеялся, и вот кольнуло неуместное подозренье, что не одна она, а двое, трое... весь Сотьстрой слушает по ту сторону провода его неуклюжие признанья, усиленные через громкоговоритель.



— Не смешите, это Увадьев... — шопотом сказала она кому-то. — Простите, я не слышала?

— Я сказал, что осень, — вяло повторил Увадьев. — Дерево под окном, осина, все в круглых листьях, как в медалях... латунь, медь, золото.

— Иван Абрамыч, — сказала она просто, — с чего вы впадаете в такую плачѣвную лирику? Вы все сидите один, вот вам и мерещится. Какая осень, просто циклон затянулся. Вы из дому? Ну, тогда приходите сейчас... у меня люди, и мы пьем чай. Придете?

— Ладно. У меня финики есть... — грубым голосом сказал он и ждал, потому что для этого, в сущности, слова и велся весь разговор.

— Отлично, будем с финиками!

Торопливо, точно боялся опоздать, он заворачивал в газету остатки липучих ягод, но когда одна упала на пол, он поднял ее и положил в общую кучу. Спрятав ключ в условленное с Жегловым место, он вышел на улицу и быстрым шагом двинулся по проулку, который вел к больничке. Именно оттого что не было ему существенной разницы между тем, что он хотел и что уже сделано, он старался теперь помочь себе воображаемым разговором. Дело представлялось ему так: зима — бледный диск вокруг луны предвещает метель — бумажный зал возводится уже в тепляках — в такую ночь Сузанна прибегает к нему, накинув шубку прямо на рубашку и остается навсегда: так происходит соединенье двух концов вольтовой дуги. Они живут вместе, то-есть в одной комнате, и будто утром он спешит на строительство, — там одна из колонн бумажного зала дала непредвиденную и скандальную осадку; он торопится выпить кофе и проглотить неминуемую вчерашнюю котлету, волокнистую и безвкусную, как целлюлоза. «Ешь, пожалуйста, ножом и вилкой, если сумеешь!» — говорит она, и он ненавидит себя прежнего, который не остерегся решительного шага... Беседуя с фельдшерницей, он уже верил, что с самого начала собирался именно в больницу, к Геласию. Было несомненно также, что фиников нехватило бы на всю ораву техников и инженерской молодежи, которая обычно собиралась у Сузанны.

В палате было пусто; только один парень, ошпаренный накануне из паропровода, разделял с Геласием больничную ночь. С забинтованной до самого рта головой он все еще рычал, этот здоровенный малый, уже не от боли, а от животного страха перед обнявшим его мраком. Исполняя больничный распорядок, Увадьев прошел к окну, где с раскинутыми ногами лежал Геласий. Тот еще не спал; слегка сощурился на молочный фонарь, сквозь который сочилась пахучая больничная скука, он осторожно подвинулся в сторону, чтоб освободить гостю место на койке.

— Ну, брат, едва добрался до тебя! — бодро начал гость и немедленно стал выгружать на столик свои дары. — Это финики, замечательная штука... только вели, чтоб тебе их помыли. Что ж, скоро и на выписку! Ну, как, все хорошо? !

— Все хорошо, — с каким-то как бы накрахмаленным лицом сказал Геласий и кашлянул один раз.

— Я тебя кладовщиком зачислил, на склад. Должность нешумная, но ответственная, брат! Души и сердца машин у тебя будут... и замечательных машин, понимаешь?

— Я все ждал, что ты раньше придешь, — сказал Геласий. — Хотелось поговорить обо всем.

— Ну, вот, и говори!

— Теперь не хочется, зарядка прошла. Там что, Филофей повесился?

— Да, брат, вертится колесо, и кто не умеет удержаться на нем, прочь летит. Все правильно, в мире всегда все правильно, но кое-что надо еще взорвать в нем! — Украдкой он прошупал взглядом своего приемыша, отыскивая в нем явных каких-нибудь перемен, но все как будто осталось попрежнему; длинная рука — и каждый палец, согнутый коршунным клювом, еще недавно предназначался когтить сообщивших с ним, Увадьевым, врагов — раскинулась по простыне, но рыжие космы, стекавшие с подушки, уже не обжигали взгляда. — Как, не болит теперь?

— Не-ет, все прошло. Зарастает волосиками. — Он закрыл глаза, его утомлял разговор с Увадьевым.

— Вот и ладно. Выйдешь — поселишься пока у меня, и будем двое холостяков. Вот если только сместят меня да ушлют куда-нибудь на низовую работу...

— Ты не заботься обо мне, — с непостижимой одышкой перебил Геласий. — Я тебе не нужен, я и сам себе не нужен. — Лицо его сморщилось. Увадьев ждал худшего, но все обошлось благополучно. — Ступай и не ходи ко мне больше. Ступай, мне спать надо, я больной.

— Ну, как знаешь, тебе видней! — охотно согласился Увадьев. — Если деньжат понадобится, заходи без стеснения, я дам.

Ему было немножко стыдно того облегчения, с которым он покидал палату; вдобавок было такое чувство, будто где-то в укромном уголке его самого стоит Жеглов и наблюдает его жестокую, здоровую повадку. — Ну, как Геласиева пружина? — «Она умерла, — говорит Увадьев. — В каждом производстве бывает брак». — Слишком велик брак в твоём производстве, Увадьев! — «Впервые, друг, впервые. Все еще неясно на этой фабрике новых людей. Станков толком расставить не умеем, правда твоя. А парня жалко...» — Ты машина, — и голос Жеглова звенит, — машина, приспособленная к самостоятельному существованию. Ты самую природу считаешь низменной... — «Цени во мне это!» — Но ты же не живешь, а исполняешь функции. Ты любишь Сузанну, а бежишь ее, потому что признание обозначит твою сдачу! — «Я не боюсь суда тех, для кого я сделал себя таким...» — Воображаемого собеседника своего он видел как бы сквозь дым папиросы.

В доме было темно; он пошарил спичек на столе и рукой на-

ткнулся на острый край консервной банки. По липкости пальцев он догадался о порезе и мысленно улыбнулся Жеглову. «Вот-вот, и боли нет...» Через минуту он вспомнил, что липкость происходила от фиников. Не отыскав спичек, он ложился спать наощупь и вдруг опять поймал себя на сравнении — вот лежит в разобранном виде машина, делающая счастье для девочки Кати, страшное человеческое счастье. Потом стала мниться река из детства, на которой мальчишкой удил рыбу. На воде, ленисто передразнивавшей гаснущие облака, качался сумасшедше пестрый поплавок; в теле возникло напряженное ожиданье. Вдруг поплавок нырнул вглубь, и все затрепетавшее существо Увадьева с восторгом метнулось вслед, в зеленоватую тину сна.

Его разбудил грохот упавшей банки: вернувшийся с заседания Жеглов тоже искал спичек на столе.

— Спичек не ищи, нету, — приподнявшись на локте, сказал Увадьев. — Неделю, черти, обещают электричество провести...

Жеглов звучно зевнул:

— Большая драка была. Ну, ты остаешься... сам влип, сам и выпутывайся. Завтра сооруди нам дрезину, пора ехать...

В переломную эту ночь спали особенно крепко. Никто не видел снов, никто не просыпался среди ночи, хотя до самого рассвета мчались лаистые ветры над рекой. Это север облаивал осень, вступающую в обладание Сотью.

## 7

Дрезина отходила в три, а за час до полдня, в обход установившихся правил, часть комиссии во главе с Увадьевым отправилась в Макариху на летучий митинг. В частности Гуляеву, новому заместителю Потемкина по губисполкому, хотелось посмотреть соотношение сил на Соти. Надоумило его то обстоятельство, что накануне, почти одновременно с Акишинской тетрадкой, в комиссию было доставлено такое же заявление от сотинских мужиков; подписей набрали близ сотни. Незначительность советского ядра, заставлявшая предполагать равнодушие или враждебность остальной массы, не пугала Гуляева; каждый новый успех Сотьстрою должен был неминуемо вербовать ему все новых сторонников.

С утра рябились лужи, ленивые капли непогоды уже не испарялись. Митинг перенесли в клуб, и так как представлялось невыгодным сразу поднимать обсуждение спорных и насущных вопросов, Гуляев начал с обзора международного положения. Его слушали с зорким вниманием, точно все сообщаемые им на память цифры имели прямое отношение к мужицкому на Соти житию. Сидя во втором ряду с Мокроносковым, Увадьев вспоминал обстоятельства их первого знакомства и шепотком расспрашивал о всяких деревенских делах.

— ... а этот, Милованов, что с ним?.. обошлось?

— Живет. Все очень хорошо. Коня ковать поехал.

Гуляев говорил о хлебе, и беседа прервалась сама собою. Минут через десять, приметив улыбку Мокроносова на какую-то часть Гуляевской речи, Увадьев спросил:

— А завклуб как?.. Ты за ним присматривай.

— Действует. Заходил даве, больной лежит. Лютый мужик, еле сдерживам... Мы его до дел порешили не допускать. Все о войне скучает. Лучше, говорит, поры не было: ветер кругом, и сам, говорит, как ветер...

И еще протекло не меньше полчаса, прежде чем они заговорили опять:

— Женишься, сказывают?

— Пора... с Пронькой роднимся.

— Ну, а как вообще?

— Работа больно мелкостна... трудней не было.

Только и было их разговора за целых два часа доклада.

Потом пошли записки, и Гуляев торжествовал; пристальное любопытство к вещам, стоявшим вне круга мужичьих интересов, сигнализировало ему о существенном, хотя и неясном повороте в настроеньях. Сам он обладал страшным даром бесхитростной искренности и оттого его проводили дружбой; он уехал в твердом убеждении, что мирное завоевание Соти, начатое Потемкиным, завершится успешно. Пользуясь тем, что собрание не расходилось, Мокроносов сбирался лишний раз распространиться о выгодах коллективной обработки земли, и тогда-то новое событие переполошило сотинцев. Как ни докапывался впоследствии, кто принес дурную весть, так и не дознался правды Мокроносов. Лука подслушал о том от селивакинской молодки, а та яростно ссымалась на Савиху; бабища же указала на пятилетнего Гаврюшку Лышева, который, якобы, заплакал, увидев Луку, начальное звено этого неразрешимого кольца. Председатель принялся за мальчика, но дитя лишь ревели на допросе, и по голому животу его катились горчайшие слезы. Как бы то ни было, кто-то третий, придя со стороны, сильным ударом нарушал непрочное сотинское перемирие. Тут бы и изучать Гуляеву сокровенные настроения сотинцев; никто не хотел войны, — всем еще памятна была давняя ночь, когда пал на простреленное колено непобедимый Березятов.

Весть о смерти передового на Соти советского человека охолодила сердце. Собрание мгновенно обратилось в толпу, которая, ломая и опрокидывая скамьи, ринулась вслед за Мокроносовым. Надо было удостовериться, что не Пронька убит; надо было уловить злодея и тем самым доказать кому-то, что только злая единоличная воля сразила Милованова. Часть отделилась от бегущих и, своротив у околицы, побежала за Васильем: в памяти у всех возгорелась с новой силой его сдержанная угроза на лугу. Тесной кучей, слепо тыкаясь друг в друга, толпа неслась по пнистой луговине, и опять не различить было в суматохе, кто именно вел ее к месту убийства.

— Ведь он с конем поехал... — на бегу визгнул кто-то про Милованова, но не останавливался, чтобы не затоптали.

— ... значит, и коня.

— Застрелен аль так...?

— В хóлову, в хóлову!

По дороге к толпе приставала вся остальная Макариха: случись пожар — некому было б в набат ударить. Сбоку, тяжело громыхая, неслись дворовые псы. Там дощатая лава вела через ручей; мостик прогнулся и сваи стали клониться на сторону, едва взбежала на доски грузная людская многоножка. Некоторые, торопясь обогнать, пошли в брод, а бабы задирали подолаы, а мужики обжимали ладонями голенца. Ручей взмутился, красная глинистая кровь потекла в нем. Задние, ведомые собаками так же, как и чутьем, свернули в ольховник; отчаянно замахали желтые верхушки ломаемых кустов. Вдруг растерянный толчок прокатился по всему людскому потоку, и задние поняли, что впереди уже наткнулись на убитого Проньку. Тотчас над головами и зарослью взмыл скрипучий голос долгоногой Надежды Куземкиной:

— Вот он, вот он... смирененькой!

Каталептически вытянув руку, которую не сломать бы теперь и пятерым мужикам, она с каким-то застылым восторгом указывала в высокую траву, где голубела выгорелая, знакомая всей Соти Пронькина рубаха. Толпа отступала; любопытство было напоено ужасом до отказа, а сердце уже свыклось с ледяными обручами страха. Мертвое тело лежало лицом вниз, и выкинутая вперед рука как бы тянулась к ржавой метелке конского щавеля, которую так и не довелось сорвать; рубаха задралась, и вдоль пояса, влача добычу, полз некрупный, деловитый муравей. Тут же валялся и щупник, которым было совершено убийство, — железная клюшка, какими проверяют на лесозаготовках, не осталось ли дровины под снегом после свезенной поленицы. Судя по траве, никакой борьбы не было; удар метко и сильно был направлен в шею; след почернел и вздулся.

— Разойдись... а то всех привлеку! О чем хлопчете? — строго произнес председатель, не сводя глаз с поверженного друга.

С серым, как после тифа, лицом, он решительно шагнул вперед, но что-то хрустнуло под сапогом, и он, наклонясь, вырвал из травы раскрошенную спичечницу; в осколках перламутра, обвитых травинками, еще тлела памятная всем блудливая радуга. Невидящими глазами он искал в толпе.

— Побежали за ним... поди уж вяжут! — несмело вздохнул Куземкин и прибавил совсем тихо: — Экой род погибает на Соти...

Торжественно и с колен Егор приподнял за волосы голову друга и заглянул в лицо. Растерянный его взгляд обежал толпу; он разжал кулак и с невыразимой тупостью созерцал радужные осколки, сбивали его с толку противоречивые обстоятельства убийства, и сопоставить их воедино было еще трудней, чем восстановить спичечницу инвалида.

— Кто сказал, что Пронька убит...? — виновато спросил председатель, и тогда, осмелев, все стали подходить и всматриваться в мертвого.

Теперь его узнавали даже с затылка. В траве лежал макарихинский завклуб; полуоткрытый рот его, казалось, вопил безгласно, но уже никого не оглушал этот крик. Стали вспоминать, что еще месяц назад Пронька наголо выбрил голову, что уезжал он по другой дороге, что никогда не носил он городских ботинок. Не голубая рубаха ввела всех в заблуждение, а общее и неуверенное ожидание, что и Проньку когда-нибудь убьют; и прежде всех опасался этого сам Мокронос. Еще труднее было поверить, чтоб у инвалида имелись поводы умерщвлять неповинного завклуба. Но Василий самолично признался в этом на следующее утро, и не поверить ему теперь было бы преступлением по должности.

Еще толпа не воротилась в деревню, а Егоровы посланцы уже разыскали преступника на маслбойке. Спотыкаясь и чванясь от сознания исполняемого долга, они тащили Василья под руки, как ушат; сам он шел бы слишком долго, невтерпеж правосудию. Он не бился, а лишь покорно покачивался промеж рослых своих конвоиров да все косился на рыжую свою собаку, бежавшую рядком: с некоторой поры она замещала ему изменивших друзей. Вся деревня с удивлением узнавала, как он испросил у них позволения привести себя в порядок; дрожавшими от долгой пьянки руками он наколол себе на грудь все военные отличья, расчесал пробор на голове и так жирно смазал его пахучей мазью, точно надеялся закрепить свою красу на долгие века тюремного сиденья; баночку с остатками он сунул в карман. Вместе с собакой заперли его в сарайчик, ходивший под ссыпным пунктом, и повесили самый большой, какой нашелся в Макарихе, замок.

— Отдохни, Вася... — вещь сказал Мокронос, уходя.

Красильников смеялся и, пока не померкли щели в стенах, безобидно играл с собакой; позже, единственно от праздной скорби, пришло ему в голову расчесать и собаку; это повеселило немножко его участь. Но на рассвете, пугаясь нового солнца, Василий стал биться, а собака выть.

— Отдайте... отдайте мне мои ноги! — безумствовал он, но даже и часовой не слышал, потому что за сырую одну эту ночь Василий охрип окончательно.

Через час, однако, он смирился, и, когда пришел Мокронос везти его в город, перламутрово и потаенно играли Васильевы глаза: осеннее утро было розово, а зелень травы еще не потеряла своего летнего блеска. И опять не поверил Мокронос.

— Шибко плохо твое дело, Василий, — сказал он, теряясь в догадках. — Ведь не ты завклуба уложил! Как ты мог его щупником достать... не на табуретку же становился!

Тот что-то отвечал, беззвучно шевеля губами, а Мокронос, склонясь, вдыхал удушливый аромат его прически.

— Охрип он, — подсказали со стороны.

— Громче, громче кричи... себя спасаешь. В ухо мне кричи, ну!  
Лицо инвалида пробагровело от натуги:

— Становись... давай клюшку... попробуем!

Егор внимательно посмотрел на его изжеванные пальцы, на обуглившееся в одну ночь лицо и понял, что если и не убил, то непременно убьет в будущем; непостижимое томление испытал он в коленях. Он так и понял, что, жертвуя собой, калеккой, тем самым оберегал Василий своих неоткрытых, но сильных друзей.

— Не человек ты, а заусеница, Васька... — молвил напоследок председатель, гадливо покачивая головой. — Ну, разувай, парень, свой иконостас, — прикрикнул он. — Сымай свои кресты, не на маскарад едем! — и пхнул ногой расфиксатуаренную собаку, скулившую за хозяина.

Его увезли, и ни вдова, ни друг не вышли провожать в дорогу; в сущности, род погибнул гораздо раньше. Недолго помнили и об Виссарионе, помнили, пока хоронили; даже и шрама не осталось на памяти людской. Никто, к слову, не догадывался, кого хоронят. Провожатых пришло немного, но все это был сплоченный отряд, готовый к любому бою. Впереди всех, тотчас за приспущенным знаменем, шли гармонисты, трое, и не умея грустных мелодий, старательно переиначивали на скорбь всем известную лихую песню. Скрипели колодезные журавли... и потом галки, целое небо летучей черноты, бесстрастно поднимались с поля, пустого, точно вывернутого наизнанку.

Его закопали как чурку на развилине шонохской дороги, чтоб все, кто уезжал или возвращался, видел этот печальный столб с дощечкой, а на ней кратчайшая повесть о днях макаринского завклуба. Осенние дожди посмыли непрочную надпись, а подновить ее все не доставало рук. По весне, когда окончательно истерлась память об этом неудавшемся предтече Атиллы, блуждал тут хозяйственный мужичок с Нерчьмы и, чтоб не пропадать столбу задаром, начертил на дощечке черную стрелу химическим карандашом, а под ней тридцать две корявых буквенки: «отсоль до сотьстроа Километров шесть...»

*(Окончание следует)*

---



# Диадема

Рассказ

НИК. ОДОЕВ

## Пролог

**С**эр Артур Тичфильд ничего не имел против, если большевики ему заплатят две тысячи фунтов за «Диадему». Он согласился на сделку телеграммой из Лондона, играя с приятелями в покер в клубе пожилых холостяков.

— Друзья, — обратился он во время перетасовки к партнерам, — честное слово, я сегодня могу проиграть вам каждому по десять фунтов — эти деньги я получил от большевиков.

— Уж не состоите ли вы у них на службе? — иронически спросил лорд Вальтер Вуд.

— Нет, — обнажил зубы сэр Тичфильд, — на службе у них состоит с сегодняшнего дня моя Диадема. — Потом, откинувшись в кресло и сложив пальцы рук в стропилы, он задумчиво заговорил:

— Странно, в 1919 году я в качестве эмиссара нашего командования при штабе добровольческой армии прошел всю среднюю часть России. Я помню, как в знаменитом русском коннозаводстве — в Хреновом — мы взяли всех лошадей. Другими словами, мы уничтожили рассадник лучшей русской лошади — орловского рысака. Откровенно говоря, мне, как любителю, было больно видеть, как гибли в походе эти прекрасные лошади. Ими могла бы гордиться любая мировая конюшня. Я даже говорил об этом генералу Мамонтову, но он со свойственным ему юмором ответил:

— О чем вы сожалеете, сэр, ведь нельзя же оставить эту ценность большевикам. Если лошади и погибнут, то мы их возродим при вашем содействии. — Плата чистым золотом. — Увы, — сегодня мне заплатили чистым золотом большевики, а не генерал Мамонтов. Разве это не ирония капризной истории?

— Вы стареете, сэр, и становитесь сентиментальным, — заметил полковник Гекели.

— Может быть, может быть, — рассеянно проговорил сэр Тичфильд, — но я люблю хороших лошадей и сожалею, когда они гибнут, независимо от того, кто их хозяин.

Игра в покер продолжалась.

Сэр Тичфильд умолчал только об одном обстоятельстве, которое больше всего тревожило его совесть. Диадема, которую он продал большевикам на племя, подозрительно не огуливалась второй год, хотя ей уже было шесть лет. Бесспорно, что это была лучшая лошадь в его конюшне, — это был перл долгих десятилетий кропотливого труда лучших его специалистов и конюхов. Не даром представители советского министерства земледелия выбрали Диадему. Но ведь они покупали её на племя, а вдруг она на это неспособна? «Нет я не хотел бы оказаться нечестным торговцем» — подумал сэр Тичфильд, но тут же поймал себя на мысли, что ведь и продал он Диадему только потому, что потерял надежду получить от нее племя.

«Впрочем, не все ли равно, — решил он, — если даже Диадема и не стоит в таком случае двух тысяч фунтов, то пусть это будет проценты на мои уральские акции, которые я потерял по милости большевиков». — Сэр Тичфильд с удовольствием отметил, что у него добралось каре валетов, и он набавил ставку.

### I

Дядя Яшка в Леоновке считался безнадежным бедняком, от которого отказались и комитет взаимопомощи и даже отчаянный радатель бедноты тов. Сватиков — коммунист с 17-го года, но по какой-то случайности не занимавший никакой государственной и кооперативной должности.

Бедность дяди Яшки происходила главным образом от того, что он не хотел побуждать свои руки к труду; кстати в этом и не было особой необходимости. Трое сыновей у него работало в городе на хороших должностях, и три раза в год дядя Яшка навещал их, прося плюнуть ему в ручку. Сыновья подавали ему на пропитание рублей по двадцать и снабжали обносками, чтобы не тратиться зря на новую одежду. Кроме этого, дядя Яшка ездил с оказией в город Бобров и собирал там по дворам бутылки из-под наливок, которые затем продавал по пятаку деревенским самогонщикам.

Зимой же дядя Яшка никуда не выходил из хаты и, протопив слегка печь хворостом, залегал в нее спать на целые сутки. В полдень тетка Дарья приносила ему чугунок вареной картошки и выманивала его из печки. Тогда он ел, топил остывшую печь и снова залезал в нее спать. С рождества свою хату дядя Яшка сдавал ребятам на посиделки, собирая за это по копейке с каждой шапки, переступившей порог.

От галдежа, песен и пляски спать, хоть и в глухой печке, а было трудно, и дядя Яшка залезал на печку следить за порядком. Мудро полагая, что за порядком можно уследить и одним глазом, он завязывал платком другой, чтобы не утомлять его зря.

Из этого факта можно было судить, как он берег свои силы. Как-то ему сын Пашка отказал свои поношенные сапоги; дядя Яшка походил в них день, а потом взял и отрезал голенищи. Причиной этому послужило то соображение, что голенищи были узки и приходилось от лавки итти к двери стаскивать их, зажимая головки о порог.

— Это каждый день не набегаешься, — сказал он и срезал голе- нищи, устроив таким образом из сапог туфли, которые можно было снять, слегка брыкнув ногой.

Окружающие сельчане давно перестали удивляться на характер дяди Яшки, решив, что в каждой деревне положено быть чудаку или дураку. Они только допытывались иногда, о чем он думает, если ни- чего не делает. Другие чудачки и малохольные жители, если и были лентяями, то хоть как-то оправдывались в этом: например, Гриша- Слюнявый из Семеновки всю жизнь побирался потому, что обещал мужикам изобрести непромокаемые валенки. Дядя Яшка ничего не обещал и ничего не приобретал.

— Лодырь, — догадывались некоторые.

— А может, так, стесняется работать, — сомневались другие де- ревенские граждане.

А в общем было непонятно, ради какой нужды дядя Яшка остает- ся нищим и одиноким, как зазимовавший грач.

Но известно, что без мечты не живет ни один человек: даже ста- рики мечтают либо о прошлом, либо о девушках. У дяди Яшки тоже была мечта и такая же сладкая в своей безнадежности, как и мечта о девушке для столетнего старца. В жизни он любил два предмета— яблоки «апорт» и лошадей. Хоть у него и не было никогда лучше одной бедняцкой лошади, но мечтал он иметь такую лошадь, чтоб от одного взгляда на нее в груди у человека рождалась радость. В дол- гие зимы, лежа в теплой печи, он до осязательности ярко представлял свою мечту: это была легкая золотисто-рыжая красавица с живыми лиловыми глазами. Ее ноздри, похожие на тончайшие фарфоровые чашки, трепетно вздувались от бушующей в жилах крови, и горячий их ветер обжигал лицо взволнованного хозяина.

Дядя Яшка, как в бреду, протягивал руки, чтобы ласково про- вести рукой по ноздрям своей мечты, и гладил горячие печные своды. Он пытался назвать по имени свою любимую и не мог. Не было под- ходящего имени из всех ласковых кличек, которые он знал, для такой лошади. Он только знал, что имя должно быть женское, ибо предста- влял себе свою любимицу только кобылицей, и был заранее влюблен в нее, словно в женщину.

— Милка, — вот самое ласковое слово, которое он мог придумать для нее.

Но все это была только мечта. Он знал, что никогда в жизни ему не иметь такой лошади, и от этого еще больше о ней думал.

Так прожил дядя Яшка много лет и начал уже много опускаться. То, бывало, он ходил по соседям и говорил о политике, о деревенских событиях, а то уже не стал выползать из хаты по целым зимам. Он обовшивел, зарос и тихо смердил сыростью. Мыться ему было лень.

Однажды в конце весны дядя Яшка отправился в Бобров к сыну Пашке за поддержкой, так как была Пашкина очередь плюнуть роди-

телю в ручку. До Хренового он спрехвала дошел пешком, а оттуда хотел прицепиться с товарным до Боброва. Проходя мимо обширных построек конного завода, дядя Яшка встретил своего земляка, старого приятеля, конюха Ефима Мартыныча.

— Как живем? — спросил Ефим Мартыныч и подержал дядю Яшку слабо за руку.

— Живем.

— Слава богу. Хозяйством еще не обзавелся?

— Ну его в дыру, мне и так весело, — соврал дядя Яшка. — А чего у вас хорошего слышно? Кони есть?

— Нет, кум, перевелись кони к чортовой матери. Таких нет, как были. Молодняк телом хорош, а рысей не добьемся. Кровя не те: тяжелы получаютя.

— Это плохо.

— В прошлом году пригнали кобылку одну из Англии, хотели ее стариком покрыть. Знаешь, небось, старика-то?

— А как же, Курск — кличка.

— Ну да. Легкая кобылка попалась, скакун чистых кровей, думали новую породу выходить. И скажи на милость, — не дает приплода, да и на! Порченная оказалась, стерва.

— Это плохо.

— Гаже некуда, двадцать тысяч за нее отвалили, а без толку.

— Надули, стало быть, англичаны.

— Надули, гады. Ее, может, и обратно можно было вернуть, да наши сволочи-жокеи язык ей перервали нечаянно. На прогулке один сукин сын разгорячил, а потом осадить вздумал, а язык-то и попади под удила на передние зубы, — так и отхватил к едреной матери пол-языка!

— Ну, и что же ему за это?

— А ничего, разве у нас теперь хозяин есть. Тяп-ляп все пройдет. Поэтому и толку от лошадей не добьешься. Раньше было за это строго, взять хоть бы графа Орлова. Как он своего рысака вывел? Строгостно. Был такой случай: привел граф арабскую лошадь — матку. Покрыл ее своим русским жеребцом — все честь честью, приплод вышел как раз такой, какой графу был нужен. Теперь он эту молодую матку, с русскими и арабскими кровями, хочет покрыть чистым арабом, а жеребца-то еще из Арабии не доставили. Ну, стало быть, он приказывает конюхам матку до поры до времени беречь, не давать ей огуляться со своими жеребцами. И случись, брат ты мой, так, что matka вырвалась на проводке у конюха и прямо к жеребцу, — взыграли они, да и будь здоров — в поле. Ну, понятно, грех-то и случись. Так ты знаешь, что граф сделал? Взял яму вырыл и живьем того конюха закопал при всей дворне. Он, — говорит, — мне, может, всю породу испортил, все труды на-нет уничтожил. Во, брат, как орловского рысака выхаживали. А теперь что? Теперь лошадь в двадцать тысяч загуби — и ничего. Разве так породу делают. Закурим, што ль.

— Советская власть, — сказал дядя Яшка, — теперь человек дороже лошади считается.

— А толк от этого какой?

— Толку нет, — согласился дядя Яшка.

— То-то вот и оно.

— Приятели закурили и достойно помолчали из уважения к своему высокому образу мыслей. Потом Ефим Мартыныч спросил:

— В Бобров потрафляешь, к Пашке?

— Проведать надо, — сказал дядя Яшка.

— Так. Я тоже завтра в Бобров поеду, кобылу продавать... Англичанку эту самую заведующий распорядился продать с харчей долой, запаршивела вконец: не жрет...

— Может, встретимся там, чайку попьем в трактире. Тебя где искать-то, на конной?

— А то где же.

— Ну, бывай здоров, а то как бы поезд не прозевать.

Дядя Яшка слегка поднял шапку и двинулся на станцию.

На следующий день в Боброве он получил от сына двадцать рублей и старый пиджак, угостил внуков двумя кусками грязного сахара и пошел на конную искать Ефим Мартыныча, чтобы вместе выпить водки и чаю. Нашел он его скоро, потому что базар был жидкий по причине рабочей поры. Ефим Мартыныч сидел на тарантасе и размышляюще курил. Около тарантаса стояли две лошади — вороной породный рысак и щуплая золотисто-рыжая кобыла.

— Вот она, шкадра заморская, — сказал Ефим Мартыныч, не здороваясь, и кивнув головой на рыжую кобылу. — Садись иди, покурим, — сейчас старший придет, тогда чай пить пойдем.

Дядя Яшка присел на подножку тарантаса и вытащил табак.

— Пашка двадцать целковых дал, спасибо ему, — сказал он.

— Ставь угощение, раз ты теперь богатый.

— Поставлю. Нешь сходить пока в спиртоцентр?

— Понятно, ступай, а то мне скушно что-то стало. Охотников-то, видно, не будет на нашу королеву,

— А што так? — спросил дядя Яшка и посмотрел на «королеву».

— Да кому ж она нужна. Мужики в работу конь требуется, а эта ведь ни к чему, на свадьбу только ездить. Мы уж хоть на шкуру хотим продать, да прасолов не видать что-то сегодня. А кровя у стервы отменные, то-есть до того она благородна, что, может, от этого благородства и затяжелеть не может. Вот, брат, до чего можно породу довести. Кличка у ней ласковая, «Диадема» называется.

Дядя Яшка еще раз посмотрел на лошадь и равнодушно сплюнул. — Я пойду. Селедку, что ль, купить?

— Потоще которую, чайку попьем в аппетит.

Через час друзья сидели в чайной и, захмелевшие от водки, жадно хлебали чай.

— Индивид ты и вшивый бобыль, — говорил Ефим Мартыныч, — какой у тебя резон в трудовом государстве чортом жить? Ты хоть бы дудки делал или тряпье собирал, а то живешь чортъе зачем.

— А ты чем государству необходим?

— Я член союза земли и леса. Я — человек государственный, за советскими лошадьми ухаживаю. Меня Семен Михалыч Буденный за ручку приветствует. Понимаешь, кто я таков?

— Уважаю, — согласился дядя Яшка. — Я бы тоже трудился, да нет у меня дела такого душевного, что б ради него ногами двигать. Я, понимаешь, яблоки люблю разводить, а как их разводить, если в одну ночь хулиганы все начисто обнесут. Пропади они совсем.

— Вот и дурак, а ты карауль.

— А спать как же? Я ведь спать, понимаешь, люблю...

— Во-во, от этого ты и есть бесполезный член крестьянства. Ты же лодырь.

— Справедливо, — опять согласился дядя Яшка. — я лодырь, а только, к слову сказать, зачем мне добро наживать, ведь я и так жив человек. Вот, Пашка, спасибо ему, двадцать целковых дал, а там Гришка подаст, да Никитка подкинет, вот я и сыт.

— Ты эти деньги лучше пропей, я тебе помогу, а в общем круговороте участвуй самостоятельно. Я вот на своем веку постоянно сам по себе. Я царю лошадей выхаживал и Семен Михалычу выхаживаю, и я — человек. Можешь ты это в понятие взять?

— Беру. А я вот весь век дураком хожу, а почему хожу? Потому хожу, что меня дума загрызла...

— Какая?

— Да што; я, понимаешь, о лошади думаю, то-ись, как бы это выходить такую огневую кобылку, чтоб народ ужახнулся. Я ведь коня люблю во как! Да мне судьбы нет на коней...

— Ну, и дела, — закрутил головой Ефим Мартыныч, — сроду не думал, чтоб ты конем интересовался. «Мечта жизни!» — чтоб тебе искиснуть, ну потешил!

— Ты не смейся, Ефим Мартыныч, я тебе, как попу, истинный бог. Сроду никому не говорил.

— Постой. Хочешь, я тебе коня подарю?

— Где ты его возьмешь?

— Бери Диадему, двадцать тыщ лошадь стоит, а я тебе за двадцать целковых отдам. Ну?

— Ты меня, Ефим Мартыныч, не обижай, ты надо мной так не смейся.

Дядя Яшка от обиды даже встал.

— Да ты постой, голова безрогая, — я бы сам ее купил, да мне, как пролетарию земли и леса, этого сделать нельзя, а то билет отберут. Ты подумай только — лошадь тысячная, заграничная, ее, может, аглицкий король по морде гладил, она, может, завсе запросто королевских дочек нюхала, — там ведь на этот счет просто, потому что

на призовых лошадей король всегда смотреть ездит. Дерби называется по-английски. И вот ты такую лошадь на дворе у себя имеешь — разве это тебе не лестно!

— А то ее на шкуру продаешь?

— Так это действительно, она больше никуда не годится — калека и без племени. А ты возьми ее так, не ради выгоды, а ради уважения. Смотри на нее и тихо уважай. Тебе же все равно делать нечего.

Ефим Мартыныч будто смеялся, а про себя думал всерьез, что Диадему можно держать из уважения. Ему в самом деле было жалко продать ее на шкуру, потому что под той шкурой, как он знал, текла редкостная кровь.

— Возьми кобылку, ей-бо, — уговаривал он дядю Яшку, — ты только подумай, какое имя: Ди-а-де-ма.

Дядя Яшка задумался. Кличка ему понравилась больше самой лошади, — это было то имя, которое он не мог придумать для своей мечты. В нем он чувствовал и гордую красу тела, и победное торжество резвых ног, и величие будущей славы.

— Завлекательное имя, — сказал он, — а что касемо короля, то он для нас мелкий гад и уважать его нам не приходится.

— Ну, бери так.

Дядя Яшка заколебался. Было ясно, что лошадь ему не нужна ни с какой стороны, однако, почему бы и не взять ради постоянной и живой памяти о влекущей своей мечте. — «Диадема, — повторил он в уме. — Здорово придумано».

— Ну, как, берешь? — приставал Ефим Мартыныч.

— А деньги где? Неужели последние отдать, что Пашка подал?

— Давай пополам, потом отдашь. А то, ей-бо, жалко на живодерню отдавать кобылу. Лучше пушай своей смертью кончится, чем зря такую кровь на землю выпустить.

— Чем же я кормить ее буду, ведь у меня хозяйства нет и от покоса я отказался за бутылку на сходе.

— А теперь лето, пушай пасется на выгоне, ай на ней работать?

— Ну, давай. Уговорил ты меня, уж больно человек я слабый, на што хошь уговорить можно, истинный бог.

Спустя час времени дядя Яшка сел верхом на Диадему, чтобы ехать ко двору. И удивительное дело; печальная худая лошадь, безразличная ко всему на свете из-за недуга, вдруг бодро подобралась под дядей Яшкой и веселым шагом пошла по городу.

Легкость ее походки заставила напряжиться даже ленивого дядю Яшку, который уселся было вялой мужицкой посадкой, с какой обычно мужики ездят верхом. Но тут он невольно зажал шенкеля и подался корпусом вперед, как заправский наездник. За городом, выехав в степь, он натянул повод и прижал пятки к бокам лошади, желая испытать ее на рысях. Диадема сразу тронула рысью и, не колебая спины, плавно понеслась по мягкой степной дороге, слегка взвизывая за собой пыль.



— И — ты, пролик тебя расшиби, вот это да! — вслух сказал он, обращаясь к Диадеме. — Вот так англичанка, извиняюсь против вас.

Леоновские жители были очень поражены, завидя дядю Яшку конным всадником. Товарищ Сватиков, перекрашивавший железную крышу на сельсовете (не имея хозяйства и должности, он жил ремеслами, ибо был мастером на все руки), крикнул дяде Яшке:

— Эй, голова, откуда это тягло достал, нето трудиться надумал?

— Никак нет, товарищ Сватиков, скушно мне одному, вот я для компании себе и купил ее по-дешевке.

— Все чудишь, голова, ну слезай, покурим.

Товарищ Сватиков спустился с крыши, а дядя Яшка слез с Диадемы. Когда закурили, товарищ Сватиков расспросил подробно, как и почему была куплена лошадь, потом деловито обошел ее кругом, пощупал зачем-то в паху и сказал:

— Ты дурака валять брось, голова, это тебе не компания, а клад. Ты не понимаешь чего купил?

— Я так понимаю — шкуру купил, а што?

— Сам ты шкура, голова. Береги кобылку да посматривай куда надо — она еще гуляться будет. Чуешь, какое дело оборачивается?

— О! Неужели правда?

— А то разве вру, ты пощупай титьки, — нешь не видно.

— Так это действительно да, гуляться она, может, и будет, а племя не дает — неспособна. В Хреновском ее сколько разов крыли, а все без последствия:

— Попробуй еще раз, не может быть, чтобы наши пролетарские деньги даром пропали. Это позор советской власти и торжество буржуазии. Раз госзавод научно отказался, то мы должны действовать на голом энтузиазме масс. Пробуй, говорю.

Руководящий голос товарища Сватикова дядя Яшка слушал с достойным уважением, так как товарищ Сватиков всегда был прав; он даже советскую власть предсказал мужикам за два года до революции. Поэтому дядя Яшка сразу поверил тому, что было сказано, и обмяк от будущего счастья.

— Справедливые твои слова, товарищ Сватиков, — сказал он, вытирая шапкой горячий пар с лица, — нам самозабвенно приходится прекратить злорадный смех мировой буржуазии в отношении этой саботажницы. Ефим Мартыныч говорит, ее сам англичанский король по морде гладил, погладь ты ее ради бога пролетарской диктующей рукой по ноздрям, как следует, — я тебя с уважением прошу.

— Бить ее не стоит, хоть она и буржуазной выправки. Мы из нее достанем золотое яичко любя, — сказал товарищ Сватиков и хлопал Диадему по крупу. — Ну, вали.

Дядя Яшка тронул повод и потащил Диадему за собой, шаркая на ходу опорками. С этого дня соседи перестали узнавать дядю Яшку. Он днем чинил двор, водил кобылу на выгон, а ночью с ребятами ездил в ночное. Когда же пошли косить луга, то дядя Яшка появился

к председателю сельсовета и потребовал себе долю. Председатель заорал:

— Так ты же сдал свою долю обществу, ай забыл?

— Выкупаю обратно, у меня теперь скотский едок нашелся, — сказал дядя Яшка. — Сколько ставить, говори.

— Как мужики, у них надо спросить, — обошелся вдруг председатель, — я так полагаю четверть поставишь, — небось, копен десять в делянке-то будет.

Товарищ Сватиков, узнавший про Яшкину нужду, пошел к председателю и заявил партийным тоном:

— Ты покос Яшке верни без выкупа, голова, — классовую линию не искривляй.

— А то как же, ясно верну, разве ж я не понимаю.

— Ну, то-то!

И впервые за пятнадцать лет дядя Яшка пошел косить луга вместе с мужиками.

— Нето перед смертью работать вздумал, на похороны деньги готовишь? — спрашивали у него мужики. — Так это зря, мы тебя на общественный счет похороним. Отдыхай иди.

— Вот и дураки, — отвечал дядя Яшка, — я всю жизнь лениво отдыхал, теперь у меня руки чешутся от охоты трудиться.

— Это почему же?

— Не скажу. Много будете знать — вперед меня помрете.

— Ну вали, авось нам твоих рук не жалко.

Дядя Яшка усердно трудился по хозяйству и даже стал посещать сходы. К петрову дню он убрал сено и занялся заготовкой пищи себе на зиму. Каждый день он придумывал новые источники пищевой заготовки и принимался за работу. Он собирал грибы, солил их, сушил впрок яблоки и даже посеял в огороде горох-скороспелку. Однако, главной заботой оставалась Диадема. Зорко следил он ежедневно за тем, не охотится ли она к жеребцу. Эта забота усугублялась еще и тем, что товарищ Сватиков постоянно спрашивал, как дела с кобылкой, и упрекал дядю Яшку в хозяйской нерачительности:

— Ты же спишь, сукин сын, не следишь за ответственным международным моментом, — говорил он с укором в голосе.

— Никак нет, товарищ Сватиков, глаз не закрываю, слежу — не плескает еще, сволочь.

— Ну, гляди, не прозевай, а то беда.

— Будьте спокойны, товарищ Сватиков.

И вот однажды, ведя Диадему на выгон, дядя Яшка заметил, что лошадь охотится.

— Ага, вот этого мы и ждали! — со счастьем сказал дядя Яшка, и немедленно поехал верхом к товарищу Сватикову.

— Готово, товарищ Сватиков, чего дальше будем делать? — спросил он руководящего совета.

— Теперь надо ее к ветеринару в район сводить, к Василь Никитичу. Тут дело серьезное. Я так полагаю, если она не скинула жеребенка ни разу, то причины к бесплодию быть не должно. Не иначе, как задержка получается в родильном аппарате, это у баб очень просто бывает. Ну, стало быть, надо посоветоваться с Василь Никитичем, он на этом деле спец. Поезжай к нему аллюром — три креста.

Дядя Яшка перекинул полушубок на спину лошади, прыгнул на него с плетня и запыхал в район.

— Дело темное, — сказал после осмотра ветеринар Василь Никитич, — хотя должен сказать, что матка нормальная. Случи, попробуй, может, на этот раз огуляется, чем чорт не шутит.

— Мне это необходимо, — сказал дядя Яшка, — я от своей бабы первого сына так не ждал, как от этой буржуйской стервы жду со-сунка.

— Ну, крой, только с хорошим жеребцом старайся.

— У меня кум в Хреновом друг-приятель, он мне с почтением предоставит лучшего рысака.

Прямо от Василь Никитича дядя Яшка подался на Хреновое. Ночью в степи он выпас Диадему и к утру приехал к Ефим Мартынычу.

— Ты чего? — спросил Ефим Мартыныч, выходя на крыльцо и застегивая на ходу пуговицы у штанов.

— Да вот, понимаешь, к твоей милости, — слез с лошади дядя Яшка. — Гуляется твоя англичанка, хочу на счастье случить, сделай милость, покрой ее хорошим рысаком.

— Вот так дела! — удивился Ефим Мартыныч. — Неужели счастья захотел?

— А то!

— Так ведь она неспособна.

— А я хочу попробовать, может, на мое счастье бог оглянется, она и зачнет.

— Гиблое дело, мы с ней чортъе чего не делали, — все без толку. Блажь это у тебя, даже не стоит жеребца тревожить.

— Да постой, кум, я ведь не просто так, чтоб из самолюбия. Меня товарищ Сватиков — коммунист наш деревенский — настрочил. Правильный, скажу, коммунист, зря не звонит. Говорит — попробуй, не может быть, чтоб она ялова всю жизнь ходила. Ну, вот и надо напоследок еще попытать. А ежели возьмет, стало быть, могоарыч с меня полагается сам знаешь какой.

— В долю примешь на приплод.

— Ну, боже ж мой, хоть сейчас. О чем толк. Мне ведь не прибыль дорога, а охота.

— Ну, ладно, веди ее на поляну в бор, я сейчас выведу на прогулку старика, там и покроем втихомолку.

II

Дальнейшие события развернулись таким образом.

Ожеребила Диадема сосунка-матку, а сама тут же издохла, не выдержав по своей слабости родильной муки. Дядя Яшка обругал ее матерным словом и забрал жеребенка в избу для дальнейшего воспитания. Он купил соску и питал жеребенка коровьим молоком, подсахаривая его под вкус кобыльего молока. Жеребенок, не зная настоящего вкуса, сосал его, как родное, и вскоре окреп ногами и телом. Это был дородный сосунок, очень похожий на мать, но еще более на знаменитого отца, чье имя было известно в государстве всякому серьезному любителю лошадей. Это был старик «Курск», последний из чистокровных производителей-рысаков, уцелевший от гражданской войны.

Дядя Яшка окрестил новорожденного сосунка Диадемой, в честь звучного и влекущего имени его матери, с которым у него содалось пышное представление о своей мечте. Теперь ему хотелось видеть свою маленькую Диадему еще более роскошной, чем она рисовалась ему в думах, и ради этого он ухаживал за ней так, как ни одна мать не ухаживала за своим ребенком.

Товарищ Сватиков, принимавший горячее участие в Яшкиных делах и заботах, часто посещал его двор и говорил сердито:

— Смотреть противно, как ты ей надоедаешь своей лаской, — словно баба.

— А как же мне быть, раз у меня в груди постоянно сердце дрожит от радости. Может, я ее всю жизнь со счастьем ждал.

— Прячь индивидуальное ликованье в темные недра туловища, — это счастье мелкого собственника. Ты ликуй, когда всем радостно, тогда будешь сознательным мужиком.

— А как же мне такой час улучшить, ведь постоянно кто-нибудь от горя сокрушается.

— К тому и социализм строим, чтоб мелкого горя не существовало, а была бы общая радость.

— Мне же ведь этого не дожидаться, товарищ Сватиков, дай я хоть про себя порадуясь, благо есть чему. Я ведь всю жизнь без счастья прожил.

— Ну, ладно, радуйся пока один, со временем я тебе организую коллективную радость, — соглашался товарищ Сватиков. Потом он осматривал жеребенка и делал наставления. — В избе не кури, голова, можно меха ей испортить.

И дядя Яшка бегал курить в сенцы, несмотря на боязнь зимней стужи.

Так прошло два года. Диадема к этому времени развернулась в рослую, горячую лошадь. Это была рыже-золотистая красавица с буйными лиловыми глазами. Ее широкие бархатные ноздри походили на темные фарфоровые чашки, на дне которых, как две пунцовые розы, горели кровавые изнанки. Дядя Яшка по несколько раз в день под-

ставлял свою кудлатую рожу под эти ноздри и блаженно щурился под горячим ее дыханием.

— Огонь, сукина дочь, — думал он счастливо про себя и готов был целовать ее от ноздрей до крутых, как стакан, копыт.

Он уже собирался в скором будущем обучать Диадему ходить в упряжке с тем, чтобы в одно счастливое время выехать на крестьянские бега, которые ежегодно устраивались в Хреновском заводе. Однако, случилось так, что дядя Яшка переменял свой план. Однажды его вызвали на общее собрание граждан и объявили, что в селе организуется колхоз. Причины организации колхоза были так ясно доказаны приезжим из района руководителем и товарищем Сватиковым, что ни у кого не хватило духа отказаться от приглашения немедленно записаться в коллективную жизнь.

— Все одно, — сказал мудрейший из сельчан дед Евстафий, — в одиночку трудились, на кусок слезою капали, теперь давайте попробуем трудиться скопом, авось хуже не будет.

Упорствовали сначала только некоторые женщины, но их вскоре уговорил товарищ Сватиков.

— Вашим языком распоряжается классовый враг, — сказал он, — но мы этому врагу скоро отрубим злостную голову и пусть он лучше за вас не цепляется перед неизбежной смертью. Я знаю, кто эксплуатирует вашу несознательность! — И товарищ Сватиков погрозил пальцем на поповский дом, стоявший на площади перед сельсоветом.

— А как же я? — подал голос из гущи собравшихся дядя Яшка.

— Это кто такой? — спросил товарищ Сватиков.

— Бобыль, — ответил кто-то за дядю Яшку.

— Ты, Яков Иванович, как маломощный бедняк, первый стоишь в колхозном списке. Даже удивительно — к чему такой вопрос из твоей глотки вырвался...

— Ну, то-то ж, и я говорю... Стало быть, тово... мы согласны.

— Еще бы тебе не согласиться, — загалдели мужики, — будешь щи хлебать из общего котла да на пупке вертеться, — вот оно и лафа.

— Все будут трудиться по силе возможности, — перебил их товарищ Сватиков, — а у Яков Иваныча, кроме рук, еще инвентарь имеется.

— Это жеребенок-то! — удивился в насмешку голос.

— Ну да.

— А чего на нем делать, на свадьбу ездить, так все равно весь колхоз не усядется.

— Это к повестке дня не касается, — навел порядок товарищ Сватиков. — Подымайте руки за колхоз и становитесь в затылок расписываться на уставе.

Когда все формальности были выполнены и колхоз стал существовать, дядя Яшка позвал к себе товарища Сватикова, который был теперь председателем колхоза, и спросил:

— Кто ж теперь хозяин моей кобылки?

— Пока ты хозяин, а вот на-днях скот обобществим, тогда хозяин ей будет колхоз. А тебе какая печаль?

— Ды-к, как же так. Я ее кормил, поил, выхаживал, а теперь за так у меня ее возьмут. Это что-то мне не по душе, товарищ Сватиков, ей-бо, не по душе. Я плакать буду.

— Ты мелкий псих, сукин сын, а еще бедняк считаешься. Ты што, жениться думаешь на ней или мы ее резать хотим, говори?

— Мне ее жалко, как дите. Ей же цены нет, товарищ Сватиков.

— Про то и речь, что ей надо цену сложить, голова. Думаешь, ты это сделаешь, голова. Нет. Ты ее люби, выхаживай и радуйся, этого мы от тебя не отнимаем, а насчет цены забудь думать, это дело государственное. Ты забыл, откуда к тебе матка попала? Ты думаешь, если она тебе дуриком досталась, так и ладно. А двадцать тысяч государство должно обратно выручить или нет?

— То деньги пропащие, товарищ Сватиков, и я тут не при чем.

— Почему пропащие, раз приплод остался. Вот мы его государству и вернем от колхоза, пусть знает заграничная буржуазия, что нас порочным конем не об'едешь. Понятно теперь тебе, в чем дело?

— Понимаю,—сказал дядя Яшка и засопел.—Только мне обидно чего-то, опутал ты меня; я было человеком стал, а теперь опять без радости у меня голова засохнет.

— Это ты не горюй. Я тебе голову размочу другой радостью, мы тебя героем труда сделаем, а для пролетария-бедняка это все одно, что раньше генеральским чином пожаловать. Разве это тебе не радость?

— А жить чем?

— Пенсию положим от колхоза и харчи даром до самой смерти. Ежели твоя кобылка экзамен выдержит, то мы тобой хвастаться будем, потому что ты будешь в роде как наш героический бедняк.

— Валяй как знаешь, все равно мне некуда податься, я же один и законов не знаю.

— Вот таких инвалидов мы и организовываем на полный ход к социализму и даем им один закон: откинуть с презрением вековой груз собственности и жить со счастьем.

— У меня же было счастье, а ты его отнимаешь,—сказал дядя Яшка.

— Это мелкое счастье, который раз говорю тебе; пролетарии должны радоваться коллективно. А если ты коней любишь, то мы тебя сделаем начальником тяги в колхозе, нам любители своего дела нужны. Понятно теперь?

— Вот это дело,—обрадовался дядя Яшка,—а то чортъе чем улещал. «Герой труда, почет», а чего я в этом понимаю.

— Ну, и ладно, значит ты вполне сознательный бедняк. Я-то, дурак, тебя целый час уговаривал.

Через неделю товарищ Сватиков провел обобществление лошадей в колхозе, и Диадема была оценена в триста рублей, которые и были зачислены дяде Яшке в паевое накопление.

Так как в колхозе еще не было общих помещений, то Диадема попрежнему оставалась у дяди Яшки под его заботливым наблюдением. Товарищ Сватиков распорядился обучать ее ходить в упряжке и самолично первый раз гонял ее на корде. Потом по самому первобытному Диадему запрягли в легкие плетенки и попробовали ее на рысях. Это был не бег, а летящий ветер, и красивая плавность ее выходки привела в восторг всю деревню. Товарищ Сватиков в этот же день вечером поставил на собрании вопрос об участии колхоза в Хреновских бегах, выставив туда Диадему. Члены единогласно одобрили это предложение и почувствовали себя хозяевами лошади. Наездником был назначен дядя Яшка, которому и поручили тренировку Диадемы.

### III

Ипподром черным кольцом обернули приехавшие со всего района крестьяне. Пар от коллективного дыхания подымался над ипподромом, как дым большого пожара. Возмужалое население Леоновского колхоза прибыло на бега в полном составе, чтобы наблюдать торжество Диадемы, ставшей теперь для них дорожке, чем когда-то собственные лошади. Ведь они твердо были уверены, что она займет первое место в состязаниях, и с нетерпением ждали пятого заезда на 1.800 метров, в котором участвовали трехлетки. Дядя Яшка с товарищем Сватиковым хлопотали вокруг Диадемы, в десятый раз проверяя оснастку.

— Гляди, голова, со старта надерживай, — учил товарищ Сватиков, — только с полкруга начинай помаленьку отдавать вожжи, а перед финишем сразу отдай концы и выбрасывай ее к чортовой матери пулей.

— Будь покоен, знаю.

Присутствовавший тут же Ефим Мартыныч держался другой тактики.

— В том нет нужды, — знающим голосом сказал он товарищу Сватикову, — ты гляди на ноздри, туда хоть шапку суй — не заткнешь. С такой ноздрей ее на пять кругов свободно хватит, а не то что на тысячу восемьсот метров. Мой совет: выкидывай прямо со старта на корпус вперед, и сиди смирно до самого финиша, она сама дойдет.

Ефим Мартыныч считал себя совладельцем Диадемы и был очень зол на дядю Яшку за то, что тот отдал Диадему в колхоз. Однако, из любительства он принимал горячее участие в первом ее дебюте и теперь хлопотал вокруг лошади наравне с дядей Яшкой и товарищем Сватиковым.

— Ты дурак, хотя и конюх — ответил ему товарищ Сватиков. — какой радости нам ее всю показывать, сама она очень просто в половину нагрузки первое место возьмет.

— Гляди, у николевских мужиков тоже рысачок от нашего старика, как бы не промахнуть.

— Быть этого не может. То горячий конь, но без ума, а наша, как мотор охлаждается разумной головой. Техники не знаешь.

То техника, а то кровь — тут, понимаешь, надо... — не сдавался Ефим Мартыныч.

— Ну, вот поглядим.

На трибуне, что помещалась посредине ипподрома, человек через трубу объявил о пятом заезде для трехлеток на дистанцию 1.800 метров. Четверо лошадей подравнялись к старту в ожидании сигнала. Дядя Яшка в расстегнутом полушубке и в лопухой шапке важно подлетел на легких плетенках к старту последним и остепенил Диадему рядом с рослым серым рысаком.

— Дядя Яков, гляди, не подгадь, — кричали ему из толпы одноколхозники.

Но дядя Яков будто не слышал этих дурацких выкриков. Он глядел на сигнальщика и чувствовал, как сердце с легкой жутью томится в предчувствии близкого торжества.

Вдруг сигнальщик сделал знак подтягиваться к старту, все пять лошадей повернули обратно, потом сразу обернулись снова и легкой рысью начали подходить к старту. Сигнальщик махнул флажком.

— Пошли, — грохнули врители.

Серый жеребец сразу выскочил на два корпуса вперед и пошел часто рубить передними ногами, словно на пути у него было не пространство, а упругая масса, которую надо преодолевать силой. За ним пошла Диадема легкой стремительной выходкой. Казалось, что она всасывается в пространство, как игла, которую тянет к себе далекий магнит. Однако, серый жеребец заметно уходил вперед, все более усиливая широкий мах своих длинных и крепких ног.

— Эх, уходит! — заскучали леоновские колхозники и затоптались на месте от теснившего грудь бессилия помочь своей лошади.

Бегущие лошади тем временем дошли до поворота и стремительно стали огигать круг. Серый все еще шел первым, но Диадема уже не отставала, она ровным размеренным бегом тянула под себя дорожку, вытянув голову ровень со спиной.

Вдруг серый жеребец, вероятно, передернутый вожжами, прыгнул и завертел головой, сбиваясь с размеренной рыси.

— Ага! — торжествующе крикнули леоновские. — Запрыгал!

Шум, крики и свист взорвали тихий воздух.

— Шабаш, сорвался, — наложил кто-то резолюцию в толпе.

В это время лошади дошли до половины круга, тут Диадема сразу подалась вперед и быстро пошла настигать серого, который уже успел выправиться и бежал прежней размашистой рысью.



— Давай, давай. Намыливай, рыжая! — понеслись из толпы ободряющие голоса.

Но Диадема уже без этого поравнялась с серым жеребцом, потом вышла вперед на голову, затем на целый корпус и бросила соперника, как стоячего.

— Ушла, — сказал товарищ Сватиков, — теперь можно закурить.

На втором повороте Диадема шла уже далеко впереди серого, а когда вывернулась на прямую дорогу, то еще более вытянулась и устремилась к финишу, как птица. Она подается к столбу первая, обогнав серого почти на четверть круга. Музыка на трибуне грянула туш и потонула в торжествующем рокоте толпы.

Дядя Яшка вылез из плетенок, снял треух и поклонился народу в пояс. Это был самый радостный час в его жизни.

Тем временем товарищ Сватиков пробрался на трибуну, где находилась беговая комиссия, и спросил:

— Кто тут главный?

— Я председатель, — сказал пожилой мужчина в черном полушубке.

— Я тоже председатель, — ответил товарищ Сватиков, — давай поканаемся — кто умней.

— А в чем дело?

— Рыжую кобылу видал?

— Хороша кобылка, а ты разве хозяин?

— Колхоз хозяин, но я за него могу соответствовать как председатель. Ну, что скажете насчет лошади?

— Поразительно, рекордное время!

— А знаете, какого она роду-племени?

— Нет, а что такое?

— А вот глядите, — и товарищ Сватиков предъявил старый паспорт Диадемы, который дядя Яшка получил при покупке лошади в Боброве. — Это ее мать, а отец «Курск», тоже ваш.

— Что? Диадема? Не может быть.

— У нас не может не быть, а что есть, то наше, — сказал товарищ Сватиков и положил паспорт за пазуху.

— То-то я слышу имя знакомое, — удивился председатель комиссии, он же заведующий конным заводом.

— Промазал ты, друг, — укорил его товарищ Сватиков, — продал на слом кобылу, а мы из нее, гляди, какое добро выкроили. Ну, да это дело поправимое, мы продать матку можем.

— Да это хоть и не хотели бы — все равно отберем, — сказал начальственным голосом председатель.

— Про то мы знаем, поэтому продаем заранее.

— Сколько же хотите взять?

— Полцены, — сказал товарищ Сватиков, — десять тысяч — только всего.

— Проси двадцать, чего ж ты стесняешься, — довольно нагло сказал заведующий. — «Десять тысяч». Как язык поворачивается.

— Понятно, она и двадцать стоит, да уж так и бить пополам цену разделим, жеребец-то ведь ваш был, — спокойно торговался товарищ Сватиков.

— Тысячу получиай и баста.

— Себе дороже стоит, товарищ заведующий, прощайте. Мы в Москве за нее все сорок очень легко подучим. Там в лошадях толк знают.

И товарищ Сватиков полез с трибуны.

— Постой, куда же ты? — забеспокоилась комиссия.

— Я ведь тоже мужичок не дурачок, знаю, где раки зимуют. Ты, голова, думай скорей, а то мне ехать пора, меня народ ждет, — сказал товарищ Сватиков, остановившись на лестнице.

— Пойдем толковать в контору, — пригласил заведующий и спустился вместе с товарищем Сватиковым с трибуны.

На пути к ним пристали дядя Яшка и Ефим Мартыныч.

— Продаем твою залетную, — сказал дяде Яшке товарищ Сватиков.

— Это к чему же? — испугался тот. — Я не согласен, ей-бо, не согласен.

— Опять ты свою мелкую идеологию вывернул наружу, и когда я тебя, чорта, обломаю на коллективное сознание. Ну, зачем она тебе?

— Молчу, молчу. Ладно уж... Гляди только не продешеви, меньше чем за пятьсот не отдавай, — посоветовал смирившийся дядя Яшка.

— Ты дурак, — презрительно сплюнул Ефим Мартыныч.

— Ты што лаешься, думаешь, я ей цены не знаю, поди-ка, пощи дешевле такую, — обиделся дядя Яшка.

— Еще раз дурак, — сказал Ефим Мартыныч.

— Заткнись, конюх, — окоротил его товарищ Сватиков.

В конторе скоро все договорились. Заведующий понял, что с товарищем Сватиковым разговор короткий, а лошадь упустить нельзя, ибо она может уйти выше, то и согласился уплатить десять тысяч колхозу.

— Ты их на первом выезде с лихвой вернешь, — утешил его товарищ Сватиков, — а нам срочно тракторы нужны и прочий механический инвентарь.

Дядя Яшка сидел как очумелый. Такой цены он не мог себе представить.

— Я бы таких денег не сосчитал, — признался он в конце.

— Про это я тебе давно говорил, — напомнил ему товарищ Сватиков прошлый разговор.

— Верно, товарищ Сватиков, очень правильное твое руководство, а нас, дураков, учить до крайности необходимо, — это я вижу теперь вполне сознательно.

— А где ж моя доля, кум? — спросил немного погодя Ефим Мартыныч у дяди Яшки. — Я ведь тебе и кобылу всучил и покрыл ее даром, — это ведь понимать надо.

— Ты получай премию с завода, авось, теперь лошадь в твоих руках будет находиться, — ответил за дядю Яшку товарищ Сватиков. — А на чай тебе просить совестно, как пролетарию.

— Отдай хоть червонец, который я на себя взял, когда кобылу ему продал.

— Это верно, получи.

— Пропью его сейчас с горя, — сказал Ефим Мартыныч и ушел.

— Обидели мужика, — посочувствовал дядя Яшка.

— Ничего, он в убытке не останется. Наездники и конюха от призовой лошади никогда в убытке не бывают.

— Ну, ладно, дело общее, — согласился дядя Яшка.

С этой поры дядя Яшка в колхозе стал считаться, не сказать, чтобы первым человеком, но уважаемым весьма. Первым все-таки остался товарищ Сватиков, как руководитель колхозных масс.

В знак особого уважения к заслугам дяди Яшки колхозники постановили не обязывать его участием в трудовых процессах и выдавали ему отвесное питание даром, как престарелому члену. Начальником тяги его не сделали, потому что в этом не стало нужды: лошади остались только для выездов, а всю работу в поле делали тракторы, которые были приобретены на средства от продажи Диადемы.

Дядя Яшка вернулся к прежнему образу жизни и лежал по целым дням на теплой печке, слушая радио в наушники. Радиоприемник молодые колхозники поставили у него в избе, так как теперь она была превращена в культурный клуб. Для того, чтобы ни одно сообщение из центра не прошло мимо сознания колхозников, комсомольцы обязали дядю Яшку слушать радио, а потом сообщать всем желающим. Эту нагрузку дядя Яшка выполнял честно и с удовольствием, тем более, что новости из центра не давали ему скучать и делали его образованнее с каждым днем. Даже товарищ Сватиков спрашивал у него, какие партийные директивы дает центр на ближайшее время.

Только однажды дядя Яшка обратился к Мишке-комсомольцу с просьбой.

— Миша, напиши, пожалуйста, в Москву от меня письмо товарищам радиоговорителям.

— Это по какому случаю?

— Они, понимаешь, спрашивают у меня, чего я хочу слушать и что мне больше всего нравится.

— Ну, так чего же написать?

— Пиши, что, мол, прошу передавать деревенскую улицу, брех собак, кваканье лягушек и других гадов. Люблю, когда зимой лягушки квакают, от этого весну чуешь в короткий срок.

— Это верно, я тоже так думаю, — сказал Мишка и сел писать в Москву пожелания дяди Яшки.

В общем жизнь в колхозе потекла в плановом порядке.

### Э п и л о г

— Скажите, Чарльз, какова родословная этой лошади? — спросил сэр Тичфильд у своего друга, мистера Бидлайка.

Бидлайк был всезнающим корреспондентом «Таймса», об'ездившим весь мир. Разговор происходил на больших международных бегах в ложе Гамбургского ипподрома.

— Откровенно говоря, не знаю, но это легко выяснить. Прошу извинения.

Через несколько минут мистер Бидлайк вернулся и доложил:

— Большие новости, Артур, вы знаете, что это за лошадь? Это дочь вашей Диадемы.

— Той Диадемы, которую я продал шесть лет тому назад в Россию? — удивился сэр Тичфильд.

— Да.

— Поразительно. Ведь я имел сведения, что она была испорчена и не могла дать племя, она как-будто даже издохла.

— Но это факт, — развел руками мистер Бидлайк.

— Поистине этим большевикам везет. Ведь она вышла первой победительницей на сегодняшних бегах. Мои лошади на втором месте. Вы только подумайте.

— Очень печально, но факты упрямая вещь, — еще раз посочувствовав мистер Бидлайк.

— Да... Бесспорно им везет... Везет вопреки здравому смыслу.

— И даже, может быть, исключительно потому, — сказал мистер Бидлайк.

Он бывал в России и, как ему казалось, знал эту страну.



# Гидроцентрль

Роман

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

(Продолжение <sup>1</sup>)

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Суд над рабочим

1

**М**ежду деревянными табуретками, полом, стенами, полками желтого и еще не загрязнившегося дерева было тесно и прохладно, было похоже на лес. В этом лесу из желтого дерева — маленькой каморке для актеров — возле клубной эстрады сидел сейчас рыжий, уткнув подбородок в руки, а локти в колени, — классическая поза мыслителя. Он думал о том, что такое конференсье. Уж так воспитали его немцы: определить путь прежде, чем вступить на него. Полчаса, оставшиеся до общего собрания, он провел, как курильщик, наслаждаясь тихими колечками дыма, но только дым и колечки шли от курившегося фосфора мысли, а не от папиросы.

Он думал о подаче зрелища, о сервировке, о том, где, откуда, в какой среде, в каком классе зародился этот особенный тип подтрунивающего человека, именуемого конференсье, и нужен ли он сейчас и как, с какой стороны годится конференсье для советской эстрады. Сперва, зажегши фосфор, он затянулся первым, причудливым дымком берлинских воспоминаний. Маленькие пивные, блестящая дрожь тротуаров под зеркальными окнами, фрак с потертыми фалдами, непрменная замша ботинок, — человек, вогнанный клином между икотой зрителей и потным запахом эстрадного номера, помесь шута с официантом — неудачник, несомненный неудачник. Чему служат они? Арэвьян взвешивал в памяти зрелище, — это был момент отстраненья. Серьезное стало стыдно, вот для чего нужен конференсье. Брать всерьез зрелище, быть заинтересованным Запад стыдится, стесняется, не имеет наивности. Для юмора над самим собой, снимая ответствен-

---

<sup>1</sup>) См. „Новый Мир“, кн. кн. 1, 2 и 3 с. г.

ность за удовольствие, превращая чувство в позу и бытие в условность, дергается на эстраде промежуточный человек, зарабатывая деньги печальным ремеслом снижения «качества человеческих эмоций»...

— Конферансье у нас, в сущности, реакционное явление, — резюмировал рыжий, затягиваясь мыслями, — никто не подумал об этом. Точка. К чорту конферансье. Но что именно и как нужно? Лектор?

Нестерпимый дидактизм нашего времени вызвал у него гримасу. Слишком много надписей. Противоположность Западу, мы хотим быть серьезными во что бы то ни стало, каждый рефлекс организуется у нас плакатом. Он вспомнил десятки, сотни виденных им плакатов. На станционном складе — плакаты, как возить тару, чтоб не рассыпать поклажи, как штукатурить, поднимать кладь. В столовой — «мой руки», «насекомое передает заразу», «муха — сообщник смерти», сотни сентенций для клубов, библиотек, больниц. Не слишком ли много заботы о разжевывании пищи?

— К чорту плакат, человечество вырастает беззубым. Не лектор и не конферансье, — как же быть? К примеру, как заменить Володю-контрощика?

Он возвращался к вопросу, с которого начал. Между тем дверные петли скрипом возвещали о посетителях клуба. Струйки человеческого дыхания врывались вместе с топотом, — густо шла публика, привлекаемая треском дров в железной печи, ярким светом двенадцати окон и, главное, приятным голосом Степаноса, стоявшего на пороге. Степанос любил свой клуб наполненным, — приблизительно так, как любит мельник течение воды под мельницей. Без этой живой силы, втекавшей сюда громкой неразберихой говора, смехом и топотом, замертво стояли бы несложные механизмы, над которыми Степанос трудился. Сотни три тощих брошюрок, занумерованных под стеклом полупустого шкафа; вычищенный красный коленкор стола, где разбросаны журналы русские, армянские, грузинские, тюркские; полотнища стенгазеты «Луйс», от названья которой веет чем-то дьячковским; крупные красивые лозунги на стенах, гордость Степаноса, и простоватое армянское лицо в рамке из прошлогодних бессмертников с надписью по-армянски «Ленин»... Скамьи стояли вычищенные, пол здесь аккуратно подметался, занавеса еще не было, — денег нехватало, и раскрытая коробка эстрады позволяла видеть тонконогий столик со звонком, знамена в углу и единственные голубовато-серые декорации, изображавшие стену жилья с намалеванным черной тушью окном. И все же убогая бутафория клуба жила лихорадкой праздничного под'ема. Толпа магнетизировала ее. Она рассаживалась стихийно, но в этой стихийности намечалась логика.

Первые ряды выбрасывались к эстраде, как пена к берегу. Твердо простучали каблуки секретаря ячейки. Он проследовал чинно и деревянно к углу, повидимому, постоянно им занимаемому, и сел, тотчас вынув папиросу и не закурив ее, потому что курить здесь было запре-

щено. Возле него постепенно скоплялась партийная «интеллигенция», — заведующий кооперативом, начмилиции, пожарник. В противоположном углу собралась контора. Захара Петровича не было (он работал), но волнистый чуб Володи-конторщика уже закручивался, и маленький кассир подшепывал чубу, сидя рядком, ехидные новости. Налитые тяжелой обидой глаза конторщика скользили по эстраде, выискивая рыжего. Дамы входили с детьми, щеки их густо натерты краской и также густо обведены губы. «Составная часть туалета», — сомнительная мазня смесью кирпича с ланолином, — петушиный гребень стриженного затылка, очень короткая юбочка отмечали здесь не только конторских жен, но и жен чернорабочих. Уборщицы полировали ногти. В этом пункте ни одна не хотела уступить.

Глубину залы забило густое море голов. Внимательней приглядевшись, вы и тут замечали некоторый подбор: с одной стороны подкатились друг к дружке головы русые, белобрысые, без шапок; широкие лица выдавали славян, — мягкие тамбовские улыбки, приятнейшие рядом с казачьей хитринкой донбассовца; обкусанные усы шахтера-тоннельщика, бледность полумертвой кожи. А дальше — прилив бараньих шапок с пятерней под ними, висящие носы из-под пыльного руна, запах кожи и пота — армяне-сезонники. Вся эта гора человеческих голов, накатанная, подобно куче арбузов, шевелилась слабо и выжидательно, ничем еще не обнаруживая своих особенностей. И, расталкивая ее локтями, большою рыбой проплыл от дверей к первым рядам мосье Влипьян, ведя об руку с такою же широкою тщательностью, с какой подают именитому гостю распахнутую шубу, обмякшего и сейчас распахнутого навстречу впечатленьям старого, усталого, потрепанного немецкого гостя.

Предупрежденные кем-то комсомольцы встретили их аплодисментами. Холерические мешочки писателя дрогнули под опухшими веками. Уже он забыл унижение и опять, преувеличенно чувствуя, всплывал понемногу в собственном представлении на первое место. Наконец, он уселся, закинув голову немного набок, на освобожденный в первом ряду стул, между скамьями. Вытаращив глазенки, глядели на него дети, маленькие, черноглазые, с невысыхающей зеленью под носами. Таково было соотношение рядов до начала действия. Взглянув через неплотную щель в залу, рыжий ощутил его явственно: хозяином были первые ряды, хозяин диктовал зрелищу, море голов сзади молчало, море голов сзади ровно ни на что не претендовало. Это было вредное и неправильное соотношение.

— Конферансье у нас, — пробормотал рыжий, додумывая проблему, — должен социально делить и социально заряжать: взболтать тех, что сзади, поднять глубину. Потом зажечь себя тем, что выдвинет глубину. И потом... потом... это еще пока неясно. Одно справедливо: если ты дирижер, заставь вести мелодию не этих вот, что сидят спереди поодиночке, а тех, что слились сзади в сплошную гущу. Хозяин мелодии — класс.

Агабек стоял за его плечом. Он прислушивался к бормотанью. Когда местком Агабек не сидел, а стоял, в кривизне его очень маленькой и коротконогой фигурки, в горбу за плечами было неприятное одиночество уродства. Он знал это и потому торопился присесть.

— Володька бил на бараний хохот, — сказал Агабек, — Володьку дамы наши любили. Вреда тут, может, и нет, да и пользы не было. Не скажу чего, но определенно нехватает нашему клубу...

Он задумался, как определить икс. Недостающего икса они не успели назвать, потому что повеяло нежным ароматом духов, — это судья Арусак шла на эстраду широкобедрой походкой, непринужденно ставя ноги и неся кончиком пальцев, как носят сумочку, свой ветхий клеенчатый портфельчик. За нею незаметно прошла Марджана. Время было начать общее собрание: стулья задвигались вокруг тонкого столика, и председатель собрания Степанос потянул к звонку свою сероватую, плоскую, малокровную руку.

## 2

Когда коротенькая вступительная речь Степаноса кончилась, она никого не удовлетворила. Формально речь была построена именно так, как предложил рыжий, и почти словами рыжего, но, сидя за эстрадой на крохотной табуретке, инициатор ее вдруг почувствовал, что медленно краснеет. И покуда кровь поднималась и заливала его щеки, в этом невольном конфузе автора, слушающего свое произведение со сцены, — отметил рыжий первый сигнал об ошибке. В чем заключалась ошибка?

Пролог к суду развернулся по-порядку. Из залы на эстраду поднялся заведующий кооперативом — защитник. Одобрительно встретили прокурора — смеющегося комсомольца. Выбрали двух присяжных — рабочего и возчика с базы. Когда суд вышел и снова вошел и все встали, в зале создалось как-будто подходящее «настроенье», стало очень серьезно в первых рядах, но последние ряды попрежнему помалкивали отчужденно. Тогда показалось рыжему, что последние ряды пришли на суд с неудовольствием, что вор для них сейчас «свой брат» и что в этом зрелище суда они на стороне вора, может быть, и не потому, что он — свой, а потому, что раздражает стрельба по пустяку, громоздкий аппарат судилища. Впечатленье это определилось у рыжего, впрочем, не сразу, а когда определилось, он подумал об ошибке вступительной речи. Не так надо было браться.

Вора привели и посадили на скамейке рядом с милиционером, лицом в публику. Кое-кто привстал, чтоб лучше разглядеть его. Дети мгновенно отлипли от кресла писателя и стали тихонько набираться вокруг скамейки. Вор нетерпеливо отогнал их, — в жесте было задетое самолюбие. Он положительно не хотел, чтоб его заслоняли. Вор был крестьянин лорийской деревушки, одетый в отчаянное тряпье. Рвань вывешивалась из бесчисленных дыр на его зипуне, сшитом из



мешка, подобно тому, как из многоэтажного дома с бесчисленными раскрытыми окнами по пояс вывешиваются жители. Ветер, пущенный в зал из дверей, чтоб прочистить немного дымный и душный воздух, шевелил тряпочками на его зипунишке. Ноги крестьянина по лорийской моде в грязных до колена обмотках, подвязанных веревочками, пахли буйволиной кожей сандалий и потом. Лицо вора... но лицо мог отличить от сотни крестьянских лиц только очень опытный глаз. Со стороны можно было сказать одно, — лицо это совершенно невозмутимо.

Двое свидетелей, крестьянин и милиционер, подходят к столу. Суд берет с них слово, что они будут говорить только правду. Начинается чтение обвинительного акта.

«Вор Григор Сукиянц, крестьянин деревни Агдах, безлошадный, шесть месяцев чернорабочий строительства, систематически крал и уносил к себе в деревню доски, каковых скопилось у него двадцать восемь штук. На одной из краж, когда он нес к себе в деревню доску, вор был замечен заведующим железнодорожной базой, проезжавшим по шоссе. На вопрос, что такое он тащит, Григор Сукиянц ответа не дал и ускорил шаги. За чернорабочим Сукиянцем было организовано наблюденье, которое и раскрыло картину систематического хищенья. Обвиняемый, будучи пойман с поличным, признал себя виновным в краже досок и объяснил, что брал их для табуреток».

В продолжение чтения Арусяк лениво чертит что-то у себя в блокнотике. Нежные духи Арусяк не вяжутся с острым запахом толпы. Она пренебрегает этим, ее ноздри арабской лошадки впитывают, поднося к носу белый платочек, аромат левкой, словно противогаз. Но если б кому-нибудь пришлось в голову считать Арусяк чужой в этой зале и даже неуместной, достаточно было бы ему взглянуть налево, где вдоль стены столпился рабочий молодняк. Из-под очень длинных ресниц косые глаза Арусяк скользят туда, как случайная молния прожектора. Круглые черные, бархатистые зрачки ловят этот косой взгляд Арусяк, — и между десятком пар очень молодых и восторженных глаз и этой парой лукавых и полуприкрытых — игра в любопытство; несомненно, кокетничает чигдымский судья, сидя за судейским столиком. Аншлаг между нею и толпой поднят, проезд открыт, — «своя» говорят взгляды из залы, и «своею» чувствует себя надушенная девушка, избалованное дитя своего класса. Внезапно игра кончается, ресницы взлетают вверх, слегка приподнявшись, она задает вопрос:

— Ты какие доски крал, длинные? Сколько метров длины? Приблизительно покажи (меряет по воздуху), такие? Или такие? Или такие? Запишите в протокол.

Вопрос кажется в первую минуту бессмысленным. Уголок канцелярии, дамы с детьми, даже президиум сконфуженно улыбаются. Но Марджана взглянула на подругу с нескрываемым любопытством. Она никогда раньше не видела ее «в работе». Что-то в вопросе судьи говорит ей сейчас, что эта работа высоко квалифицирована, недаром у

легкомысленной Арусь блестящая репутация судьи, большой авторитет и слава всезнайки. С тихим интересом, улыбаясь внутренне на знакомые ей привычные слабости подруги, обвела и Марджана глазами всех участников драмы. Ей стало тотчас ясно, что вопрос попал куда-то в сокровенное и острое место. Резко зашевелились рабочие-сезонники, сидевшие на последних скамьях. Встрепенулся подсудимый. Он казался до этой минуты дурачком. Защитный цвет глупости слегка даже переборщил подсудимый: раза два втягивал в себя носом несуществующую влагу и вытирался ладонью без особенной надобности, хотя пота не было и во рту пересохло; руки выворачивал так, чтоб рвань свисала кнаружи, и приbedнялся, даже как-то присутуливался под преклонный возраст, хотя Грикору Сукаянцу было едва за тридцать. Но странный вопрос судьи сбил его с намеченной линии. Лицо вора осветилось напряженнейшим лукавством, хитрые глаза метнулись было, как мыши, в глубину залы, ища там помощи, потом с настоящей обидой обратились на судью.

— Какие такие? Аршина не имеем, не портняжили. Подбирал как попадетса... (он внезапно спохватился и сам остановил секретаря, потевшего над протоколом). Ты чего пишешь? Пиши: подбирал, какие меньше.

Тут начался перекрестный огонь, — стороны стали чинить допрос. Стороны имели, повидимому, какие-то между собой сложнейшие взаимоотношения. В зале у каждой из них были свои приверженцы, подобно тому, как есть они у боксеров в цирке. Защитник, заведующий кооперативом, был по внешнему облику «доброе сердце». Овальная, как яйцо, совершенно лысая, блестящая голова с прорезью для тусклых зеленоватых глаз сдабривалась внизу чувственным и тонким хоботком гурмана, сластолюбивой слабостью бритого подбородка, темная актерская синь которого еще бесстыднее обнажала выразительную красноту рта. Он говорил тонким бабьим голосом:

— А позволь тебя спросить, ты, когда крал, сколько у нас зарабатывал? Рубль двадцать? Запишите, — подсудимый получал ниже нормы.

— На экономику бьет, сукина дочь, — явственно отозвался Косаренко из залы, обращаясь к соседям. Рубаха нараспашку, полуспящий Ванятка на коленях, белый, веснучатый, сухо-блестящая кожа на скулах, — матросом архангельским сидел среди восточных соседей Косаренко.

— Был ли подсудимый под судом до настоящего дела? — осведомился прокурор. Этот тоже имел в зале свою партию, и, повидимому, многочисленную. Как бы для пущего контраста с защитником, он оброс не по возрасту бордой, к самому носу начесывал кудри, смеялся негромко, глуша смех в густейших усах и бороде, никак не похож был на двадцатидвухлетнего. Работал «прокурор» на дизеле и состоял секретарем комсомола.

— Отлично, девять месяцев сидел в тюрьме...

— При дашнаках! — тонко воскликнул защитник.

— Девять месяцев при дашнаках за воровство пшеницы...

Стороны не хотели успокоиться и продолжали сражаться. Ища сочувствия в зале, с улыбочкой устанавливал защитник, что Григор Сукиянц «дома у себя ничего не имеет», «хозяйство никакое», «детей мал-мала меньше». Он неожиданно вставил каверзный вопрос: а видел ли кто, как подсудимый крал доски?

Григор Сукиянц сидел в тревоге и оглядывался то направо, то налево. Вернее сказать не оглядывался, а дергался всем телом, напряженно всматриваясь в вопрошающего и в движущиеся губы его. Казалось, он ищет указания или подсказа в губах.

— Видел ли кто, я тебя спрашиваю, когда ты брал доски? — выразительно повторил защитник.

— Видел, — заторопился вдруг подсудимый и замигал часто. — Многие видели. Брал, не скрывал.

— Откуда брал? — опять вскользь вставила судья. Подсудимый и на этот раз огрызнулся. Станные вопросы женщины волновали его.

— Откуда... Где валялись, оттуда и подбирал!

— На табуретки тебе небольшие доски нужны были, — словно нехотя говорила судья, пристально разглядывая собственные ногти. — Свидетель, подойдите сюда. Расскажите, где вы поймали подсудимого с поличным.

К столу приближается первый свидетель, милиционер. Тощий в своем мундирчике, простоватое мужицкое лицо, подкрученные кверху усики, — единственный налет городской культуры. Бойко рапортует, не дожидаясь вопросов, имя, фамилию, возраст.

Он производил обыск в зимовнике. Десять штук досок нашел в одном месте, одиннадцать в другом и семь досок в третьем. Все доски оказались порезаны. Что? Может ли свидетель установить, где подсудимый резал доски?

Опять возвращается Арусяк с настойчивостью часового маятника все к тому же непонятному вопросу о размере досок. Да не все ли равно, где резал и резал ли? Из залы несутся возмущенные голоса: «зубами грыз». Свидетель, помявшись, отвечает:

— Не знаю.

Между тем подсудимый переговаривается глазами с последними скамьями. Кто-то в бараньей шапке привстал. Кто-то поднимает птерню, загибая сперва один палец, потом другой. Еще кто-то складывает ладони рупором и явственно адресует подсудимому единственное словечко, сильное словечко со вложением в него под семью печатями смысла, особой какой-то инструкции:

— Химар! (дурень).

Внезапно подсудимый вскакивает, роняя шапку на пол. Лицо его озаряется вызовом. Глядя не на судью, а мимо нее, в угол, где качается элегантная тень судьи, то удлиняя нос и капая носом в бумагу, то

быстро втягивая его обратно, говорит Сукиясянц быстро, быстро, убеждающим голосом:

— Э, зачем мне резать, ну, скажи, милая, зачем мне возиться доски резать, — пойди посмотри, какие доски лежат! Сколько хочешь кусков, тут у нас и маленькие лежат и большие лежат. Зачем, скажи, буду брать, что не нужно? Брал, что мне нужно, маленькие доски брал, на табуретку.

Но тень судьи слушает эту быструю речь, нимало не убеждаясь. В зловещем ее качании на стене подсудимому чудится «собственное мнение», и, вытерев ладонью пот со лба, на этот раз настоящий, а не выдуманный, Грикор Сукиясянц тяжело садится на скамью. Никто не слышит тихого нежного свиста из первого ряда. Прикрыв рукой брови и налегая плечом на услужливое плечо Влипяна, немецкий писатель внезапно заснул нервным сном человека, которому нехватает в толпе кислорода. Зная эту особенность за своим великим протезе, мосье Влипян деликатно держит плечо и храбро переживает ситуацию, как человек, вышедший прогуляться под очень маленьким дождем. Он знает, что дождик скоро пройдет, — и писатель вдруг на самом деле пробуждается столь же неожиданно, как заснул. Уютно распахивая веки, он невидящими глазами смотрит на эстраду и улыбается умиленно, — все очень хорошо, очень хорошо. *Merkwürdig*, мосье Влипян, удивительно, Herr Влипян, — это высокое милосердие советского суда... У нас на родине в аналогичных случаях — дерзкие окрики, зуботычина, формальная точка зрения. Неправда ли, вор этот «бедняк» (*bednjack*) или, может быть, «средняк»? Конечно, *er schämmt sich*, он устыжается и его отпустят... О, хорошо, хорошо, *menschlich abgemacht!*

Разумеется, эту маленькую речь лучше было бы произнести вслух, а не шопотом, и не сейчас, а как заключительный аккорд, обратясь лицом к славному русскому пролетариату. Вздохнув, писатель чувствует нетерпеливую жажду конца, и ему кажется, что все вместе с ним ждут конца и этой маленькой трогательной речи.

Второй свидетель между тем давно дал показанье, и не близость конца, а самый настоящий интерес к началу пробежал по последним рядам. Второй свидетель под перекрестным огнем сторон долго силился разобраться, свежие ли порезы были на досках или старые, при дашнаках судился подсудимый или не при дашнаках. На вопрос, что он может сказать в свою защиту, Грикор Сукиясянц угрюмо ответил:

— Ничего.

### 3

После некоторого затишья обвинитель поднимается с места. Он, посмеиваясь, переглядывается со своей аудиторией. Сыпь, не жалея, — поощряют румяные комсомольские улыбки. Обвинитель речи своей не готовил, на бумажку для памяти ничего не заносил, красноречие — национальный талант армян — вывезет его, он это знает; но тихий и

слегка недоумевающий взгляд Марджаны странным укором вдруг оборвал его смешливость. Он заметил Марджану только сейчас, как и вообще никто не замечал ее до этой минуты. Сидя профилем к президиуму и лицом к зале, Марджик, постарев и осунувшись, страдала от течения суда. Несколько раз, повернувши голову, она шептала что-то Агабеку, примостившемуся за ее спиной. Участие ее в происходящем было пассивно. Только взгляд, брошенный на обвинителя, выдал вдруг, что Марджик сопротивляется внутренне, не сочувствует внутренне, не одобряет внутренне, и когда комсомолец, споткнувшись в самом начале своей обвинительной речи, сделал явным это пассивное неодобрение, оно передалось и другим на эстраде, и прибавило ко всему происходящему элемент какой-то неловкости.

— Я задаю вопрос, — начал обвинитель голосом гораздо менее уверенным, нежели хотел, — я, товарищи, задаю вопрос, можно ли назвать Григора Сукьянца рабочим? И отвечаю: нет, это не рабочий, таких рабочих нам не требуется, от такого рабочего избавьте, пожалуйста. У кого он крадет? У себя, у своего класса, у нашего, товарищи, будущего строя он крадет. Вы представляете себе? Вы, я, вон те товарищи и эти товарищи и миллионы восставшего пролетариата, мы строим будущий строй по кирпичику, по дощечке, по гвоздику, тяжело нам, ох, как тяжело, таскаем, пыхтим от тяжести, надрываемся, зато, думаем, с каждым гвоздиком приближается царство социализма. И вдруг появляются среди нас ему подобные Григоры Сукьянцы, они, товарищи, тоже называют себя рабочими. Но в то время, как мы таскаем по дощечке, чтоб построить социализм, они потихоньку, товарищи, у нас из-под носа эти самые дощечки раскрадывают и растаскивают, они их ташут с позволения сказать на гроб социализму! Да, на гроб социализму! Ничем иным нельзя назвать семейные табуретки, какими эти паразиты нашего строительства соблазняются, чтоб уворовывать необходимые нам для целей строительства материалы. О чем это говорит? О вредительстве самого наихудшего вида. С этим, товарищи, надо у нас покончить. Если так будет продолжаться, у нас ничего не останется. Один вор уйдет безнаказанным, десятки других об'явятся на участке, сотни об'явятся, а посчитайте, если каждый соблазнится доской, сколько этих досок будет у нас пропадать со складов? Так, товарищи, нельзя, невысказано это допустить. Он сегодня взял доску, завтра он возьмет что-нибудь более ценное. — машинную часть, алмазный бур. Я требую, товарищи, чтоб вы подошли к вопросу со всей серьезностью и осудили Григора Сукьянца по 180 статье, имея в виду повторение таких недопустимых явлений на нашем участке в будущем.

Он разгорячился и кончил уже с полной уверенностью. Правда, больше половины мотивов, хороших сравнений и словечек, того обычного зубоскальства, каким полны были его выступления и каким он нравился толпе, сегодня в речи его не было, хотя все эти словечки обвинитель готовил и перебирал заранее, прежде чем встать. Но взгляд

Марджаны, как ситечко, процедил их, оставя на поверхности сказанного только то, что надо было сказать.

Подсудимый с любопытством глядел на говорящего в продолжение всей речи. Когда обвинитель сел, он даже вздохнул слегка, — от неожиданности. Видно было, что самого главного, того, что его лично, подсудимого, интересовало или пугало, — он не дождался.

Теперь наступила очередь защитника. Этот взволнованно положил перед собой кучку мелкоисписанных листиков из блокнота. Пристав, он сперва потянулся к далекому графину с водой, налил, жадно осушил стакан и начал говорить патетическим, влажным голосом, смачивая время от времени языком губы:

— Если б совершивший данное воровство Григор Сукиянец был настоящим кадровым рабочим, тогда, товарищи, все стрелы нашего обвинителя, пущенные так сказать с принципиальной высоты, были бы справедливы, и я первый вынужден был бы в своей защите ограничиться только немногими указаниями на смягчающие обстоятельства. Но посмотрите, дорогие товарищи, на кого, в каком направлении посыпались стрелы обвинителя? Вот он сидит перед вами, Григор Сукиянец, лорийский крестьянин. Перед вами простой сезонник, первый год работающий на строительстве. Хозяйство у него — да разве можно серьезно говорить о хозяйстве таких, как Сукиянец? Лошади нет, инвентаря нет, ячменя нет, запасов нет; как вам известно, этот крестьянин имеет землю на половинных началах, то-есть считается в наших условиях самым последним бедняком. С другой стороны, посмотрите, что он имеет от работы на строительстве? Во время свершения покражи Сукиянец получал рубль двадцать в день, иначе говоря не имел даже нормы. Вы знаете, как тяжела черная работа зимой в наших условиях, когда земля мерзлая, лопата ее не берет, — бьешься-бьешься, не можешь довыработать норму. Он, как вы сами видите, геркулесовой силой не отличается. Я слышу в зале смех, и мне стыдно за этот смех. Ничего тут смешного нет, товарищи, если человек от недоедания и цынги стал слабее женщины, истощен малярией и не может хорошо работать. Вон там кто-то кричит, что у нас не богадельня. Совершенно верно, у нас не богадельня, — у нас своего рода школа, школа перевоспитанья вот таких, как Григор Сукиянец, в настоящих, сознательных рабочих. Наша страна земледельческая, прошу этого не забывать, у нас девяносто процентов рабочих таких, как он. Итак, я продолжаю. Крестьянин попадает на строительство, он еще не знает, что можно и чего нельзя и почему именно нельзя. Это важно сейчас отметить. Что? Раньше крал? Извините, прежняя судимость Сукиянца здесь не была доказана, а говорить о вещах недоказанных — значит клеветать. Если в быту Сукиянца появилась потребность в табуретке, это на мой взгляд положительный симптом. Обычно у нас в отсталых крестьянских домах сидят на паласах, специальных сидений не употребляется. Я считаю, что необходимость табуретки появилась у подсудимого под влиянием более культурных навыков, приобретенных им на строительстве.

Здесь кто-то сердито притопнул каблуком об пол, как-будто хотел прервать оратора. Председатель взялся за звонок, а потом оглянулся через плечо: топнул местком Агабек. Защитник продолжал:

— Большого греха в том, чтобы взять доску для понадобившейся табуретки, отнюдь нет, и не только я не вижу в этом греха, но и на строительстве, повидимому, не называли это грехом, так как Сукьясянц брал доски на глазах у всех, брал среди бела дня, это установлено судом, и никому в голову не пришло остановить его, даже и сам Сукьясянц, по всей вероятности, был убежден в том, что ничего дурного не делает. Итак, я резюмирую: за недоказанностью первой судимости и за невозможностью считать соби́рание досок воровством, а также принимая во внимание нищету и несознательность подсудимого, прошу вас о полном его оправдании и думаю, что в дальнейшем он красть не будет!

Защитник сел, довольный собой. Сукьясянц, сильно усталый, зевал, не закрывая рта. Дамы из первого ряда улыбались заведующему кооперативом, — он несомненно победил обвинителя. «Хорошо ли?» — спрашивал взгляд защитника, хотя спрашивать было излишне, внутренний голос твердил ему: «Молодец, очень хорошо!»

Но когда встала Арусяк, хрустнув предварительно застежкой своего клеенчатого портфельчика, куда она за минуту перед тем вложила бумаги, защитник встрепенулся.

— Обращаю внимание суда, — сказала Арусяк, блеснув в сторону подсудимого косым взглядом, — что обвинителем и защитником было упущено очень важное обстоятельство. Не безразлично ни для потерпевшего, ни для подсудимого, как и е он доски крал. Если б он взял небольшие доски потребного для него размера, то в виду нахождения и возвращения этих досок строительство не могло бы считать себя пострадавшей стороной. Суд выяснил, однако, что такого размера свеженарезанных досок на складе не было, подсудимый брал, следовательно, большой размер и распиливал доски у себя в зимовнике, где найдена и пила. Таким образом, строительство терпит убыток, получая обратно испорченный материал, и в праве учинить подсудимому иск в размере своего убытка.

— Не пилил я! — отчаянно крикнул подсудимый и зевота сразу соскочила с него.

— Химар! — опять крикнул в зале неизвестный доброжелатель.

Суд вышел, соблюдая традицию. Минуты через две он вернулся, все встали, и приговор был торжественно прочтен. Грикор Сукьясянц получил шесть месяцев тюрьмы и присуждается к уплате строительству двадцати восьми рублей сорока копеек за причиненный убыток.

Тотчас же, как был оглашен приговор, из толпы вышли двое рабочих и, поднявшись на эстраду, сказали что-то судье. Это были поручители. Их деловитое появленье открывало кусочек закулисной стороны суда. Было ясно, что подсудимый давно уговорился с ними и они ждали своего часу, сидя в зале. Ясно было и по раздосадованному лицу

Сукьясянца, сразу потерявшему придурковатость и глядевшему сейчас просто, умно и зло, что параграфы знает он сам не хуже судьи, что болтовня обвинителя и защитника его утомила, что наказание было ему известно лучше, чем всем, кто сидел в зале, и что вся острота положения заключалась для него только в одном: вчинят ли гражданский иск или не догадаются. Иск был для Сукьясянца самым чувствительным местом.

В перерыве, когда суд окончился и все вышли покурить в маленькую и душную актерскую, где все еще сидел рыжий, Марджана заговорила, обращаясь к местному:

— Вы всегда так организуете суды или это в первый раз?

За месткома ответила Арусяк:

— Чего ты нервничаешь? Что тебе не нравится? Знаю, джан, — перебила она, когда та собралась сказать что-то, — знаю, молчи. Не делай, пожалуйста, выводов. Нам важно практически решить вопрос, чтоб неповадно было в будущем. Мораль тут не при чем. Если ты запоешь ему о высоких материях, он завтра украдет опять. А вот когда приходится раскошелиться...

Но Марджана поморщилась. Не то, не то! Арусяк во всей силе ее юридических талантов отталкивала сейчас Марджану своим непониманием.

— Форма суда, в сущности, устарела. Буржуазная форма, — тихо отозвался рыжий, вставая перед Марджаной. — Преступление проваливается, человек проваливается, идет состязание на формальную ловкость. Не конкретно, не вяжется с целым, — вот главное. Но я думаю, — добавил он, потому что все молчали и Агабек сердито вышел из актерской, — я думаю, не суд тут только виноват, а и вся наша система эстрады, приподнятость, фальшь...

— Ерунда, — прервала Арусяк, — диалектика! Мы делаем свое, масса делает свое, а результат получится положительный. Вот увидите!

## 4

Изумленно и почти шокированно немецкий писатель смотрит на соседа справа. Мосье Влипян не может дать объяснений, — он удрал покурить. Объяснение, однако же, необходимо: рядом с немецким писателем уселся сейчас, нахально напялив шапку по самые брови, сердитый, но чрезвычайно разговорчивый, лопочущий на своем гортанном языке что-то быстро-быстро отвратительной скороговоркой, сам вор, Григор Сукьясянц. Оба его поручителя, тесно сближая головы, втроем с Сукьясянцем на двух стульях слушают и отругиваются или, может быть, поощряют. Ни один из них не дарит вниманием немецкого писателя, величаво выпятившего грудь. Маленькая и трогательная речь душит иностранного гостя, как опухоль в зубу, — на этот раз он ничего не понимает, ничего не понимает. Не приходит ему в голову только одна самая простая мысль: что все это делается вовсе не на



зло ему и не для него, но что в течение событий попросту и публика, и руководители, и администрация забыли о нем.

Мастер-латыш, предупрежденный насчет приветственного слова, тоже забыл о нем. Он что-то заносит большим синим карандашом себе в книжку, низко спустив круглые очки на бородавчатый нос. Внезапно очень звонкий, чеканный голос возносится над залой почти одновременно с деликатным звонком Степаноса. Степанос — мягкотелый председатель, события всегда опережают его. Слово принадлежит местному Агабеку.

Когда горбун заговорил, из двух раскрытых в мартовскую ночь дверей густо хлынула назад в залу толпа. Усаживаясь кой-как и впере­мешку, она разрушила прежние загородочки, и сейчас все слилось: белые головы русских с бараньей шапкой армян, фуражка техника со стриженной по моде прической Маруси-уборщицы, контора очутилась в гуще партийной интеллигенции, — словом уже нельзя стало, вода с эстрады глазами, упираться в отдельные характерные группы людей, облюбовавших себе каждая свое местечко. И горбун Агабек, сердито выбрасывая слова, глядел прямо в гущу на какой-то мысленно им во­ображенный фокус, принимавший последовательно все нужные формы слушателя, то ругаемого, то сочувствующего, то норовящего сделать вылазку. Горбун Агабек вдруг всей тяжестью выступленья своего на­помнил, что в зале идет общее собрание и что оно не только не кон­чено, а и не начато.

— Тут один товарищ выразился, что у нас не богадельня...

— Шш! — мягко остановил залу Степанос и, не дождавшись ти­шины, зазвонил во всю мочь. — Товарищи, прошу не безобразить! Слово принадлежит предместкома!

— Кому интересно шуметь, тот пусть уходит вон! — звонко про­должал Агабек. — Повторяю, один здесь выразился, и правильно вы­разился, насчет богадельни. Товарищ защитник ответил ему, что-де у нас не богадельня, а школа, и для тому подобных Сукияянцу несо­знательных рабочих будет у нас пролетарская выучка. Однако, спраши­ваю вас, товарищи, хорошая, нечего сказать, пролетарская школа на участке. Где это видано, чтоб бревна и доски, поделочный материал дорогой цены, доставляемый сюда за пятьсот и даже более километ­ров, валялись без охраны по всей территории участка и заведующий складом птиц в небе считал? Где это видано, чтоб Сукияянец мог уво­рывать без помехи двадцать семь досок и на двадцать восьмой про­считался? Унести с участка в деревню за несколько километров на своих плечах двадцать семь досок — это не булавку спереть. Одна до­ска, товарищи, четыре метра длины, пятьдесят сантиметров с лишним ширины, в ней порядочно весу, ее тащить незаметно никак нельзя, многие следовательно видели, как Сукияянец таскал доски, и преспо­койно на это смотрели. Вот где, я считаю, больной вопрос для участка. Школа, товарищи, это сказать не так просто. С неба на вас хорошие качества не валятся, их в лавке готовыми не покупают. Хочешь дисци-

плину знать, хочешь честность воспитать, хочешь из темного человека сознательным пролетарием стать, так ты этого всего по книжке не выудишь, нет, извините, товарищи, не выудишь по книжке. Такого экзаменту по учебникам не сдают. Дело должно дисциплину дать, должно счет вещам вести, должно быть поставлено и организовано, — потому честность есть в результате общего порядка. Коли у нас государственное добро без счета под дождем гниет, это значит мы Сукиянцев на воровство воспитываем. Предлагаю, товарищи, в ударном порядке обнаружить дефекты и неорганизованность в целях скорейшего изжития. Высказывайтесь, товарищи, кто что может по этому вопросу. Товарищ председатель, открой прения без предварительной записи.

К этому, повидимому, никто не готовился заранее, но тотчас же несколько голов шарами подпрыгнуло над общей массой. Не торопясь, вышел к эстраде мастер-латыш. Он спрятал книжку и большой синий карандаш в широкий карман синего френча, руки заложил за спину, а говоря, поворачивал нос, как острие корабля, то направо, то налево, вплывая басистой речью в гуцу слушателей:

— У нас имеется на участке лишнее количество материала, часть его не учтена. С базы получаем без документов, принимаем неисправно. Так, на втором складе приняли арматуру несведущие люди, навалили сперва в самый низ ящики, потребные в первую очередь, поверх их менее нужные, а наверх пошло добро, которому черед никак не раньше будущего квартала. Это есть непорядок. Грузчики смеются над заведующим складом. Рабочим лишняя нагрузка. Теперь, пока до нижних ящиков докопаются...

— Руку об них обломал!

— С места не говори, выдь к эстраде!

— Рабочие обижаются, факт!

— Начальник участка в складе с позапрошлого месяца не был...

— А лампочки получили поколоченные, сделали акт, что упаковка виновата, врут, не упаковка виновата!

— Аветис, не говори с места!

— Что ж, я и не с места скажу. — Черноглазый парень в кожанке выходит к эстраде. — Упаковка тут не при чем. Младший наш инженер-электрик, ему бы еще поучиться, прежде чем жалованье получать. Он по командировкам за материалами ездит, а привозит не того, что требуется. Лампочки при нем упаковывали. Он их неправильно в багаж сдал. Фирма лучше б него прислала и не побились, а через него убыток строительству свыше трехсот рублей. Ему говоришь, а он нос воротит: не твое дело. Как это так не твое дело? Врешь, наше дело, — рабочий — хозяин, народные денежки, не твои, плачут. Если рабочему не твое дело говорят, это что, школа по-вашему?

— Опять личности! — вздохнула в первых рядах счетоводова жена. И ей и соседке ее было скучнехонько до зевоты. Кавалер их, Володя-конторщик, сидел мрачно и не острил. И все складывалось сегодня

в клубе не по-хорошему: привычные их места, молчаливо за ними оставляемые, заняты, соседи перемешались, они растеряли в толпе своих. Поистине спасеньем было хоть и позднее, но такое необходимое появление начканца, Захара Петровича, чья кудреватая с проседью голова вдруг появилась над толпой. Захар Петрович уверенно шел к первым рядам, он насвистывал веселый мотивчик.

— Ну, как?

— А вот так. Агента вашего ищите на эстраде.

Захар Петрович на странный ответ Володи не обратил никакого внимания. Добродушным движеньем руки он убрал со стула двух малышей, вытер стул носовым платком, сел, платок спрятал в брючный карман и опять рассеянно спросил Володю-конторщика:

— Ну, как?

— Я же вам сказал, Захар Петрович, — ваш новый служащий в фаворе. Его вместо меня в конференсье пригласили. Он с Агабеком на эстраде околачивается. Откуда вы его, между прочим, знаете?

Но Захар Петрович был недопустимо рассеян. Он снова пропустил все сказанное мимо ушей. Круглые и веселые глаза его высматривали там и сям в толпе говорящих, потом он со смаком отхаркнулся, плюнул на пол, раздвинув колени, и тотчас же наступил на плевок, усы разгладил, и в горле у него приятно забулькало после прочистки.

— Ну, и ну, шпарят по всем линиям. А я, признаться, на концерт шел. Это что ж, это кого они?

Маленький худой рабочий с красными пятнами на скулах орал:

— ...Там, говорю, нельзя линию прокладывать, — вода в реке подымается, через два часа разбирать придется. А начальник участка: делай, что приказано. Сорок человек шпалы с насыпи вниз таскали, вода поднялась, если назад не перетасили, понесло бы наши шпалы аж на станцию. Это, я спрашиваю, приказ? Должен рабочий али нет правильность руководства иметь? Это на чей же счет разбазариваться? Считайте суточный труд сорока человек да часть шпал подмочило, да день потеряли, да работа на мосту стоит, дамбу крепить нечем. Это я называю, никакое руководство, — с толку сбивают. После этого веры в работу не будет...

— Кто говорит? — прищурился начканц. — Самсонов Михаил говорит?

Больше он ничего не сказал. Но Володя-конторщик почувствовал себя несколько лучше. Наклонив шевелюру, он зашептал в ухо начканцу:

— «Вредный» опять бузотеров выпустил. Ни с того, ни с сего, — после суда, — да еще в присутствии немца. Многие тут говорили: бурильщик Заргарян, Аветис со склада, мастер Лайтис говорил...

— И Лайтис говорил?

— Первый застрельщик!

Но тут оба заметили взгляд сидевшего по соседству рабочего и замолчали.

Захар Петрович по-своему понимал дисциплину и по-своему понимал службу. У него была законченная идеология и непогрешимая практика. Первая заповедь Захара Петровича гласила: чтоб все шло гладко, и вторая заповедь добавляла: делать дело без шума. Когда начальник участка Левон Давыдович, нервничая, хрустел пальцами и панически повторял, что нет, нельзя работать, сегодня же подает заявление об уходе, Захар Петрович успокаивал его немногими словами: — Выше головы не перескочут.

Он твердо верил в среднюю линию миропорядка. Средняя линия миропорядка исключала долгое беспокойство: передерживать человека на беспокойстве никак нельзя, — побеспокоится и войдет в норму. Есть-пить каждому надо, сон в свое время любого самокритика свалит, без бабы тоже не обойтись. Выждать время — вот тактика, потому что время работает на того, кто спокоен, кто не расходует нервов и не выбрасывает слова. Поменьше слов, — каждое вырастает за спиной в дерево. Скажешь «здравствуйте», через год откликнется: «давал взятку». Вот как философствовал Захар Петрович наедине с близкими. Впрочем, он любил дело и дело любило его, — сложное дело черной лестницы, двойной бухгалтерии, параллельных отчетностей, будки администратора, своевременных умолчаний. И основой для тактики Захара Петровича было правило:

— Каждый начальник хорош.

— Мы с ими тем отличаемся, — говаривал он, вульгаризируя язык и кивая в сторону «бузотеров», — тем и отличаемся, что для нашего брата плохого начальства нет, а для ихнего брата хорошего начальства нет.

Когда Самсонов кончил, Захар Петрович впервые внимательно уставился на эстраду. Здесь он, к великому своему изумлению (значит, Володька не врет!) увидел рыжего, точнее не рыжего, а узкий спортивный носок его американских ботинок, выдававший присутствие рыжего за ближайшей к столу кулисой.

— Ну-ка, садись-ка, — коротко сказал начканц, безо всякого стеснения толкая соседа на свое место, а сам пересаживаясь на чужое, — ну-те-ка, послушаем.

Но «слушать» он и не собирался. Делая гримасу глуховатого и как бы нацеливаясь ушами на громкий голос очередного «бузотера», Захар Петрович на самом деле во все глаза глядел на своего «архивариуса». Рыжий отсюда был виден. Он сидел в обычной для него позе, вскинув ногу на ногу, прижав локти к бокам, обе руки в карманах, тихое мерцанье стекол на лице, где только плотно сжатые губы говорили о характере, все остальное замкнуто и молчит. Чорт его знает, откуда сей человек! Часу не прошло — примазался. Ой-ой, Захар Петрович, дурака сваял!

Так приблизительно расшифровывались в словах неясные чувства, возбужденные в начканце уютной позой рыжего на эстраде. Было странно и неприятно видеть своего служащего вполне независимым. Он, впрочем, может быть, и зависел, только не от начканца, Захара Петровича. Носок его острого ботинка был в фамильярной близости с пыльным сапожком чужой девушки, уронившей голову в ладошку, — партияка, должно быть; и местком Агабек был недалеко от рыжего, — девушка, рыжий, Агабек, — каждый по-своему слушали: первая в совершенной задумчивости, сдвинув брови, второй большим барином, третий ехидно с карандашиком над примятой бумагой; даже и Степанос не следит за временем и слушает, а того не замечает, что время за́полночь и актеры, пришедшие на концерт, давно уехали обратно на станцию. Вот тебе и концерт! Чорт его знает, что за нахальство. Нашел время для общего собрания!

Рабочие в зале провалили все: чествование немца, доклад Марджаны, дивертисмент и, если сказать точно, даже Григора Сукьянца с его досками провалили рабочие, потому что вот он сидит, Сукьянец, все еще рядом с писателем и совершенно неприлично участвует в прениях. Комочки бумажек одна за другой летят на эстраду. Степанос подбирает их плоскою, сероватой рукой улитки, он разворачивает их, словно вареную картошку чистит, и близоруко подносит к сощуренным глазам, — кучка записок растет возле него и растет. С места делаются заявленья. Каждому оратору время сокращено до трех минут, а кажется — им конца нет.

— Вот что значит полгода не было производственных совещаний! — говорит Косаренко соседу. — Начальнику бы участка послушать сегодня. Куда он смылся?

Тихо и словно просыпаясь, поднимается, наконец, рыжий с теплевшей под ним табуретки. Засиделась нога, — падает, как деревянная. Сухо во рту, кончики пальцев отекли от тесноты карманов. Глаза его ищут взгляд Марджаны и встречаются с ним. Тесной кучей, разгоряченные, подавленные ворохом впечатлений, симфонией из сотни партитур, идут они все вместе с эстрады вниз, и рыжему нестерпимо хочется взять сейчас под руку Марджану, как тогда, на темном шоссе, и говорить с ней, услышать ее негромкий, нежный голос.

Но последнее слово принадлежит злой фее из сказки. Незванная и негаданая, она появляется вдруг, будто занесенная сюда капризом толпы, за тесною кучкой президиума, тоненько побрякивая наконецниками кавказского пояса, добродушно прищуривая узковатые глаза, плотно и твердо наступая на рыжего и отгораживая его, отклоняя его, отвлекая его, загоняя его большою пойманною рыбою в иную социальную плоскость, в мир иных отношений, иных понятий, иного смысла:

— Здравствуйте, Арно Александрович, наше вам!

Рыжий проснулся, — вокруг него шумят последние выходящие из клуба рабочие. Звезды бледно блещут в небе, — нет Агабека, нет девушки с красивыми бровями, нет арабского профиля Арусаяк и духов

ее, нет бледных ушных раковин Степаноса, нет зеленых насторожившихся глаз горбуна, вот кого больше всех недостает сейчас рыжему!

— Здравствуйте, Захар Петрович!

Начканц взял рыжего под руку и придержал немного, покуда толпа вовсе схлынула.

— Да-с, не дождались мы с вами концерта. Между прочим, вы есть не хотите ли? Уж, конечно, хотите, — в столовке дадут, идемте. Что? На ночь не кушаете? Так я вас прямехонько на гуте-нахт доставлю, аккуратный вы человек, — в комнату для приезжих. Завтра мы вырешим, где вам жить. Ну, какое у вас впечатление?

— Плохо организована работа на строительстве, — нерешительно ответил рыжий. — Вы слышали, ведь это поток какой-то, — все жалуются и обоснованно жалуются.

Захар Петрович добренько засмеялся:

— Ми-и-лай, — простонароднейше воскликнул он, даже остановившись от удивленья, — да вы прежде-то когда-нибудь на больших стройках живали? Нет? Ну, поживете и попривыкнете. Строительный рабочий, он, знаете, всегда жалуется, без этого, друже, нельзя. И скажу по секрету, — правильно жалуется, но... но...

Он торжественно упер в «но». Поднял в темноте указательный палец. Поиграл им у самого носа рыжего.

— Но в том и заключается весь ход работы нашего персонала, чтоб уметь не смущаться, понимаете? Потому что вы эти неправильности бессильны тронуть, они, как врачи говорят, «органический порок».

— Вряд ли, — спокойно, хотя и смиренно ответил рыжий.

Начканц опять засмеялся. Смех его был добрый. Смех говорил: напичкали человека, ох, какая возня с ним.

— Дайте-ка присядем сюда на бревнышко. В бараке жарко, надышитесь перед сном чистого воздуху. Да, так вот что я вам скажу. Впечатлительны вы очень, Арно Александрович. Я в молодости «Вырождение» Макса Нордау прочел и уверовал, что мир вырождается. А мой дядя, умный человек, говорит мне: дураки печатному слову верят. Ты возьми официальные документы, где какой прирост населения. Что они тебе говорят? Скоро деваться от людей некуда будет, а твой Макс Нордау панихиду поет. Так и я вам скажу: первому впечатленью не верьте. Нужно обстановку учесть, вот в чем дело.

И внезапно перестав балагурить, заговорив настоящим и простым, своим языком, начканц. Захар Петрович, даже сам этого заранее не собираясь, будто себе самому, сообщил рыжему очень секретные и ничуть не лукавые соображенья:

— Никто на участке не знает, что смета еще не утверждена. Больше скажу, — проект в центре не утвержден. Каждую секунду вот эта вся стройка (он руками обвел полукруг) может лопнуть. Так что же может сделать начальник участка? На месте рабочие его тянут, пар-

тийные организации тянут, профсоюз тянет, а из правления директива: придержите работы до выяснения положения, ни одного лишнего гроша не тратьте, но чтоб не было паники. Вот вам и изворачивайся! Эти кричат: бараки текут. Эх вы, милые люди, а еще вопрос, имеем ли мы право эти самые бараки строить? Там люди из кожи лезут, надрываются, проект протаскивают, все дело под угрозой, а здесь демагоги науськивают на нас из каждого пустяка рабочих. Зло берет, если понять положение. Начальника участка пожалеть надо, а не травить.

Рыжий ничего не ответил, и Захар Петрович закончил:

— Органический порок, я не зря сказал. Вся система фальшива. Ихние общие собрания смеху подобны, если знать всю закулисную сторону. Как это можно протаскивать каждую смету в центре к определенному сроку, не имея полного проекта? Как это можно строить бюджет целой страны на подачках? Почему нет местного фонда? Большие стройки не могут денег ждать, не могут укладываться в произвольные сроки, с видимости начинаться, а у нас с видимости начинают, чтоб заставить центр раскошелиться. Поживете — увидите. Ни черта еще нет, — проекта нет, представленья нет, а кипим-бурлим, фотографии преодолевают, корреспонденты преодолевают... Нет, вы еще мало знаете. Вы повыше, повыше критику наведите. А то накося, нашли мишень! Да не только Левон Давыдович, в нашем положении сам Наполеон лучше бы не организовал работу, а не то что Левон Давыдович...

Со вкусом повторив это, начканц нашел, что пора поставить точку и утрамбовать под заброшенным в рыжего зернышком землю. Сон, великий чемпион покоя, покоритель критиков, сон должен стать этим мирным трамбовщиком. И Захар Петрович повлек рыжего в барак для приезжих.

*(Продолжение следует)*

---

# Петр Первый

Повесть

АЛ. ТОЛСТОЙ

(Продолжение <sup>1)</sup>)

16

**Г**остям и гостиння сотни, и всем посадским, и купецким, и промышленным людям во многих их приказных волокитах от воевод, от приказных и разных чинов людей в торгах их и во всяких промыслах чинятся убытки и раззорение. Яко львы челюстями своими пожирают нас, яко волци. Смилуйся, великий государь...»

— Опять жалоба на воевод?—спросил Петр.

Он ел на краю стола. Только что вернулся с верфи, не спустил даже по локоть закатанных рукавов холщевой, запачканной смолой рубахи. Макая куски хлеба в глиняное блюдо с жареным мясом, торопливо жуя, поглядывал то на пенную рябь свинцовой Двины, то на русобородого, белого лицом, дородного дьяка Андрея Андреевича Виниуса, сидевшего на другом конце стола.

Андрей Андреевич читал московскую почту: круглые очки на твердом носу, широко расставлены голубые глаза, холодные и умные. За последнее время он стал забирать силу, в особенности, когда Петр после ночного разговора с Лефортом приказал читать себе московскую почту. Все это бумажное дело прежде шло через Троекурова, Петр не вмешивался, но теперь захотел сам все слушать. Почта читалась ему во время обеда, — другого времени не было: он весь день проводил на верфи с иноземными мастерами, взятыми с кораблей... Плотничал и кузнечничал, удивлял иноземцев, с дикарской жадностью выпытывал у них все нужное, ругался и дрался со своими... Рабочих на верфи было уже более сотни. Их искали по всем слободам и посадам, брали честью—по найму, а если упрямились—брали и без чести, в цепях...

В обеденный час Петр, голодный как зверь, шел на парусе на Масеев остров. Виниус важным голосом читал ему указы, присылаемые на царскую подпись, челобитные, жалобы, письма... Древней скукой

---

<sup>1)</sup> См. «Новый Мир» кн. кн. 7—12 1929 г. и 1, 2 и 3 с. г.



веяло от этих витиеватых грамот, рабскими стонами вопили жалобы. Лгала, воровала, насильничала, отписывалась уставной вязью стародавняя служилая Русь, кряхтела с'еденная вшами и тараканами непроворотная толща. Распадался трупом, кончался век.

— Жалоба на воеводу,—ответил Андрей Андреевич,—опять на Степку Сухотина.

Поправив очки, он продолжал читать слезный вопль на кунгурского воеводу... Торговлю-де раззоряет поборами в свой карман, и торговых, и посадских людей держит у себя в чулане и бьет тростью, от чего один безвинно помер. С промысловых обозов берет пошлину в свой же карман,—зимой по восьми денег с воза, летом—со струга по алтыну. Богатого промышленника Змиева томил в сундуке две недели, пр'овертев, чтоб он не задохся, в сундуке дыр'ья... И берет себе земские и целовальничьи деньги и грозитя весь Кунгур раззорить, если будут на него жаловаться.

— Повесить собаку в Кунгуре на базаре! — крикнул Петр. — Пиши... (Стукнул так, что тарелка подскочила.) Виниус строго, поверх очков, взглянул на него:

— Повесить недолго, — мало их этим образумишь... Я давно говорю, Петр Алексеевич,—воеводам более двух лет на месте сидеть нельзя. Привыкают, ходы узнают... А свежий-то воевода, конечно, разбойничает легче... Петр Алексеевич, торговых людей в первую голову береги. Шкуру и две тебе отдадут—сними только с них непомерные тягости... Ведь иной две пары лаптей боится вынести на базар,—хватают, бьют и деньги рвут с него... А с кого тебе и богатеть, как не с купечества... От дворян взять нечего, все сами проедают. А мужик давно гол... Вот, послушай...

Поискав среди кучи бумаг, Виниус прочел:

«...Да божьим изволением всегда у нас хлебная недорода, поля наши всегда морозом побивает, и ныне у нас ни хлеба, ни дров, ни скотины нет, погибаем голодною и озьяем студеною смертью... Воззри, государь, на нашу скудность и бедность, вели нам быть на оброке против нашей мочи... Мясa свиные и коровьи и птицу и весь столовый запас нам, нищим и беспомощным, ставить помещику нечем стало... Лебеду едим, тело пухнет... Смилуйся...»

Слушая, Петр сердито застучал огнивом об осколок кремня, до крови сбил палец. Раскурив трубку, глубоко вдыхал дым... Непроворотное бытие!.. Сквозь летящие тучи солнце волновалось на посиневшей реке. На том берегу поднимались на стапелях ребра строящегося корабля. Стучали топоры, визжали пилы. Там пахло табачком, дегтем, стружками, морскими канатами... Ветер с моря продувал сердце... Тогда ночью Лефорт сказал: «Русская страна страшная, Петер... Ее как шубу—вывернуть, строить заново...»

— За границей не воруют, не разбойничают,—сказал Петр, щурясь на зыбь,—люди, что ли, там другой породы...

— Люди те же, Петр Алексеевич, да воровать им невыгодно, честнее-то выгоднее. Купца там берегут, и купец себя бережет... Отец мой приехал при Алексее Михайловиче, завод поставил в Туле, хотел работать честно... Не дали,—одними волокитами раззорили... У нас не вор—значит глуп, и честь—не в чести, честь—только б над другими величаться. А и среди наших есть смышленные люди... (Белые, пухлые пальцы Андрея Андреевича будто плели паутину, отблескивало солнце на очках, говорил он мягко, вязью.) Ты возвеличь торговых людей, вытащи их из грязи, дай им силы, и будет честь купца в одном честном слове,—смело опирайся на них, Петр Алексеевич...

Те же слова говорили и Сидней, и Ван Лейден, и Лефорт. Неизведанное, как морской ветер, чудилось в них Петру, будто брезжил свет в безнадежных потемках, под ногами прощупывалась станова жила. Сие уже не какие-нибудь три потешных полка, а толща, сила... Положив локоть на подоконник, он глядел на масляным солнцем сверкающие волны, на верфь, где беззвучно по свае ударял деревянный молоток, и долго спустя долетал удар... Моргал, моргал, билось сердце, самонадеянно, тревожно - радостно...

— Вологодский купчина, Иван Жигулин, самолично привез челобитную, молит допустить перед очи, — особо внятно проговорил Андрей Андреевич. Петр кивнул. Виниус, легко колыхаясь тучным телом, подошел к двери, кого-то окликнул, пошептался и проворно сел на место. За ним вошел широкоплечий купчина, стриженный по-новгородски, с волосами на лоб,—сильное лицо, острый взгляд исподлобья. Размашисто перекрестясь, поклонился в ноги... Петр трубкой указал на стул. Прикрикнул:

— Велю — сядь... (Жигулин только шевельнул бровями, сел с великим бережением.) Чего просишь? (Жигулин покосился на Виниуса.) Говори так...

Жигулин, видимо, смекнул сразу, что здесь не разбивать лоб, а надо показывать мошну, с достоинством разобрал усы, поглядел на козловые свои сапоги, кашлянул густо:

— Бьем челом великому государю... Как мы узнали, что ты корабли строишь на Двине,—батюшка, радость-то какая!.. Хотим, чтоб не велел нам продавать товар иноземцам... Ей-ей даром отдаем, государь... Ворвань, тюленьи кожи, семга соленая, рыба кость, речной жемчуг... Вели нам везти на твои корабли... Совсем раззорили нас англичане... Смилуйся... Уж мы постараемся, чем чужим королям — своему послужим...

Петр блестел на него глазами, потянувшись, хлопнул по плечу, оскалился радостно:

— К сени два корабля построю, да третий в Голландии куплен... Везите, везите товар, но без обману, — смотри!..

— Да мы, господи, да...

— А сам ты поедешь с товаром?.. Первый комерциенрат... Продавать в Амстердам?..

— Языкам не учен... А повелишь, так что ж... Поторгуем и в Амстердаме, в обман не дадимся...

— Молодец!.. Андрей Андреевич, пиши указ... Первому негодянту - навигатору... Как тебя, — Жигулин Иван, а по батюшки?..

Жигулин раскрыл рот, поднялся, глаза вылезли, борода задралась...

— Так с отчеством будешь писать нас?.. Да за это,—что хошь!..

И, как перед спасом, коему молился об удаче дел, опять упал к царским ножкам...

Жигулин ушел. Виниус скрипел пером. Петр, бегая по комнате, ухмылялся. Остановился:

— Ну, что у тебя еще?.. Читай короче...

— Опять разбойные дела... На троицкой дороге обоз с казной разбили, двоих убили до смерти... По розыску взят со двора Степка Одоевский, младший сын князя Семена Одоевского, привезен в простой телеге в Разбойный приказ, и там он повинился, и учинено ему наказание: в приказе в подклети бит кнутом, да отнято у него бесповоротно дом на Москве и четыреста дворов крестьянских... Отцом, князем Семеном, взят на поруки... А из дворни его, Степки, пятнадцать человек повешено...

— Андрей Андреевич, вот они—князя, бояре: за кистени взялись, разбойничают...

— Истинно, разбойничают, Петр Алексеич.

— Тунеядцы, бородачи!.. Знаю, помню... У каждого нож на меня припасен... (Свернул шею.) Да и у меня на каждого—топор... (Плюясь, дернул ногой. Растопыренными пальцами вцепился, потянул скатерть. Виниус поспешио придержал чернильницу и бумаги.) У меня теперь сила есть... Столкнемся... Без пощады... Пусть попомнят... (Пошел к двери.)

— Прости, Петр Алексеич, еще два письма... От цариц...

— Читай, все одно...

Он вернулся к окну и ковырял трубку. Виниус с полупоклоном читал:

«...Здравствуй, радость моя, батюшка, царь Петр Алексеич, на множество лет... (Петр повернул к нему изумленную бровь.). Сынишка твой Алешка благословения от тебя, света моего радости, прощу. Пожалуй, радость наша, к нам, государь, не замешкав... Ради того у тебя милости прощу, что вижу государыню свою бабушку в великой печали... Не покручинься, радость мой государь, что худо письмишко: еще государь не выучился...»

— Чьей рукой писано?

— Великой государыни Натальи Кирилловны дрожащей рукой невнятно.

— Ну, ты отпиши чего-нибудь... Гамбургских, мол, кораблей жду... Здоров, в море не хожу, пусть не кручинятся... Да чтоб скоро не ждали, слышишь...

Виниус проговорил с тихим вздохом:

— Царевича Алексея Петровича к письму своеручно приложен пальчик в чернилах...

— Ну, ладно, ладно—пальчик... (Фыркнул носом, взял у Виниуса второе письмо.) Пальчик... Бабье!..

Письмо от жены он прочел в лодке. Свежий ветер с моря наполнял парус, утлый ботик, как живой, нырял и взносился, пенные волны били в борт, пелена воды пролетала с носа. Петр, сидя у руля, читал забрызганное, прижатое к колену письмишко...

«Здравствуй, мой батюшка, на множество лет... Прошу тебя, свет мой, милости, обрадуй меня, батюшка, отпиши о здоровье своем, чтобы мне бедной в печалях своих порадоваться... Как ты, свет мой, изволил уйтить,—и ко мне не отписал ни единой строчки... Только я бедная, на свете несчастная, что не пожалуешь, не пишешь о здоровье своем... Отпиши, радость моя, ко мне,—как ты ко мне изволишь быть... А я с Олешенькой жива...»

Ботик черпнул бортом. Петр торопливо положил руль налево, большая волна, шумя пеной, плеснула в борт, окатила с головы до ног. Он засмеялся. Ненужное письмецо, сорванное ветром у него с колена, взлетело и вдалеке пропало в волнах.

## 17

Натаалья Кирилловна дождалась, наконец, сына, как раз в тот день, когда у нее будто гвоздь засел в сердце. Высоко лежа на лебяжьих подушках, глядела расширенными зрачками на стену, на золотой завиток на тисненой коже. Страшилась отвести взор, пошевелиться, хуже всякой жажды мучила пустота в груди,—нехватало воздуха, но, чуть силилась вздохнуть, глаза выкатывались от ужаса.

Лев Кириллович то и дело на цыпочках входил в опочивальню, спрашивал у комнатных боярынь:

— Ну, как?.. Боже мой, боже мой, не дай сего...

Глотая слюну, садился у постели. Заговаривал,—сестра не отвечала. Ей весь мир казался маревом... Одно чувствовала—свое сердце с воткнутым гвоздем...

Когда в Кремль прискакали на взмыленных лошадях махальщики, вопя: «Едет, едет!», и пономари, крестясь, полезли на колокольни; открылись двери Архангельского и Успенского соборов, протопопы и дьякона, спеша, выпрастывали волосы из-под риз, дворцовые чины столпились на крыльце, скороходы босиком дунули врассыпную по Москве оповещать высших;—Лев Кириллович, задыхаясь, подбежал к постели:

— Прибыло солнце красное!..

Наталья Кирилловна разом глотнула воздуху, пухлые руки начали драть сорочку на груди, разинув рот, запрокинувшись, слышали только сдавленное а...а...а... У Льва Кирилловича ноги сделались, как из теста, сам стал разевать рот. Боярыни кинулись за исповедником. Поблизости в углах и чуланах застонали убогие женщины... Переполошился весь дворец.

Но вот — подал медный голос Иван Великий, затрезвонили соборы и монастыри, зашумела челядь, среди гула и криков раздалась жесткие голоса немецких офицеров: «Ахтунг... Мушкет к ноге... Хальт... Так держать». Кареты, колымаги во весь мах промчались мимо войск и народа к Красному крыльцу. Искали глазами, но среди богатых фезелей, генеральских епанчей и шляп с перьями не увидели царя.

Петр побежал прямо к матери, — в переходах люди едва успевали шараться. Загорелый, худой, коротко стриженный, в узкой куртке черного бархата, в штанах пузырями он неся по лестницам, — иные из встречных думали, что это лекарь из Кукуя (и уж потом, узнав, крестились со страха). Не ждали, когда он, рванув дверь, вскочил в низенькую душную опочивальню, обитую кордовой кожей... Наталья Кирилловна приподнялась на подушках, вперила заблестевшие зрачки в этого тощего голландского матроза...

— Маменька, — крикнул он, будто из далекого детства, — миленькая...

Наталья Кирилловна протянула руки:

— Петенька, батюшка, сын мой...

Материнской жалостью преодолевала вонзающийся в сердце гвоздь, не дышала, покуда он, припав у изголовья, целовал ей плечо и лицо, и только, когда смертно рвануло в груди, разжала руки, отпустила его шею...

Петр, вскочив, глядел будто с любопытством на ее закатившиеся глаза. Боярыни, страшись выть, заткнули рты платками, Лев Кириллович мелко трясся. Но вот — ресницы у Натальи Кирилловны затрепетали. Петр хрипло сказал что-то, — не поняли, — кинулся к окну, затряс свинцовую раму, посыпались круглые стекла...

— За Блюментростом, в слободу! — И, когда опять не поняли, схватил за плечи боярыню. — Дура, за лекарем. — Толкнул ее в дверь...

Едва жива, кудахча, боярыня затопотала по лестнице: — Царь велел, царь велел... — А чего велел — так и не выговорила...

Наталья Кирилловна отдышалась и на третьи сутки даже стояла обедню, хорошо кушала. Петр уехал в Преображенское, где жила Евдокия с царевичем Алексеем (перебралась туда с весны, чтоб быть подалее от свекрови). Мужа ожидала на-днях и была не готова и не в уборе, когда Петр вдруг появился на песчаной дорожке в огороде, где под липовой тенью варили варенье из антоновских яблок. Миловидные на подбор, с длинными косами, в венцах, в розовых летниках сенные девки чистили яблоки под надзором Воробьихи, иные носили

хворост к печурке, где сладко кипел медный таз, иные на разостланном ковре забавляли царевича — худенького мальчика с большим лбом, темными не улыбающимися глазами и плаксивым ротиком.

Никто не понимал, чего ему хочется. Задастые девки мяукали по-кошачьи, лаяли по-собачьи, ползали на карачках, сами кисли от смеха, а дитя глядело на них зло, — вот-вот заплачет. Евдокия сердилась:

— У вас, дур, другое на уме... Стешка, чего задралась, вот по этому-то месту тебя хворостиной... Васенка, покажи ему козу... Жука найдите, соломинку ему вставьте, догадайтесь... Корми вас, ораву, — дитя не могут утешить...

Евдокии было жарко, надоедали осенние мухи. Сняла кикку, велела чесать себе волосы. День был хрустальный, над липами — безветренная синева. Кабы не прошел спас, впору побежать купаться, но уж олень в воде рога мочил, — нельзя, грех...

И вдруг на дорожке — длинный, весь в черном, смуглый человек... Евдокия схватилась за щеки. До того шибко заколотилось сердце — мысли отшибло... Девки только ахнули и, — кто куда, развевая косами, кинулись за сиреневые, шиповниковые кусты... Петр подошел, взял подмышки Евдокию, надавливая зубами, поцеловал в рот... Зажмурилась, не ответила... Он стал целовать через расстегнутый летник ее влажную грудь. Евдокия ахнула, залившись стыдом, дрожала... Олешенька, один сидя на ковре, заплакал тоненько, как зайчик... Петр схватил его на руки, подкинул, и мальчик ударился ревом...

Плохое вышло свидание. Петр о чем-то спрашивал, Евдокия — все невпопад... Простоволосая, неприбранная... Дитя перемазано вареньем... Конечно, муженек покрутился небольшое время да и ушел. У дворца его обступили мастера, купцы, генералы, друзья — собутыльники из Кукуя. Издалека слышался его отрывистый хохот. Потом ушел на речку — смотреть яузский флот. Оттуда на Кукуй... Ах, Дуня, Дуня, проворонила счастье!..

Воробьиха сказала, что дело можно поправить. Взялась бодро. Погнала девок топить баньку. Мамам велела увести Олешеньку, умыть, прибрать. И шептала царице:

— Ты, лебедь, ночью не растеряйся. В баньке тебя попарим по-нашему, по-мужичьему, квасом поддадим, росным ладаном умоем, — хоть нюхай тебя где хошь... А для мужиков первое дело — дух... И ты, красавица, встречь его слов неперестанно смейся, чтоб у тебя все круглое тряслось, хохочи тихо, мелко, — грудью... Мертвый от этого обезумеет...

— Воробьиха, он к немке поехал...

— Ой, царица, про нее и не заикайся... Эко диво — немка: вертлява, ум корыстный, душа черная, кожа липкая... А ты, как лебедь пышная, встрень его в постельке нежная, веселая, — ну, где ж тут немке...

Евдокия поняла, заторопилась... Баньку ей натопили жарко. Девки с бабой Воробьихой положили царицу на полок, веяли на нее

вениками, омоченными в мяте и росном ладане. Повели ее, размякшую и томную, в опочивальню, чесали, румянили, сурмили, положили в постель, задернули завесы, и Евдокия стала ждать...

Скребли мышцы. Настала ночь, заглох дворец, бессонно на дворе постукивал сторож, стучало в подушку сердце... Петенька не шел... Помня Воробьихины слова, лежала в темноте, улыбалась, хотя от ненависти к немке живот трясся и ноги были, как лед...

Вот уже и сторож перестал колотить, мышцы угомонились. Сеным девкам и тем стыдно будет завтра на глаза показаться... Все же Евдокия крепилась, но вспомнила, как они с Петрушой ели курицу в первую ночь, и завывала, уткнувшись, слезами замочила подушку...

Разбудило ее жаркое дыхание. Подкинулась: «Кто тут, кто тут?..» Спросонок не поняла — кто навалился... Разобрав, застонала от еще живой обиды, прижала кулаки к глазам... Петруша на человека не был похож, — пьяный, табачный, прямо от девки-немки — к ней, заждавшейся... Не ласкал, насильничал молча, страшно... Стоило росным ладаном мыться!..

Евдокия отодвинулась к краю постели. Петруша пробормотал что-то, заснул, как пьяный мужик в канаве... Меж занавесей синело. Евдокия, стыдясь Петрушиных длинных голых ног, прикрыла его. Тихо плакала, — Воробьихины слова пропали даром...

Из Москвы прискакал гонец: Наталье Кирилловне опять стало худо... Кинулись искать царя. Он сидел в новой Преображенской слободе в избе у солдата Бухвостова на крестинах. Ели блины. Никого, кроме своих, не было, — поручик Александр Меньшиков, Алешка Бровкин, недавно взятый Петром в деньщики, и князь-папа. Балагурили, веселились. Меньшиков рассказывал, как двенадцать лет назад он с Алешкой убежал из дому, жили у Зайца, бродяжничали, воровали, как встретили на Яузе мальчишку Петра и учили его протаскивать иголку сквозь щеку.

— Так это ты был?.. Ты? — изумясь, кричал Петр. — Ведь я потом тебя полгода искал... За эту иголку, как брата, люблю, Алексаша. — И целовал его в рот и в десны...

— А помнишь, Петр Алексеевич, — грозя пальчиком, спрашивал князь-папа, — припомни-ка мою плетку, как бивал тебя за проделки... И баловник же был... Бывало...

И Никита Зотов принимался рассказывать, как Петр, — «ну, тишешный мальченок, от земли не видно, а уж государственный имел ум... Бывало — вопрос задаст боярам, и те думают, думают — не могут ответить, а он вот так махнет ручкой и — на тебе — ответ... Чудо...»

Все за столом, разиня рот, слушали про эти чудеса, и Петр, хоть и не припоминал за собой такого, но, раз другие верят, и сам поддакивал...

Бухвостов подливал в чарки. Мужик он был хитроватый, видом прост и бескорыстен, Петра понимал и пьяного и трезвого, но за Алек-

сашкой, конечно, угнаться не мог, — и года были не те и ум косный... Улыбался, подчевал радушно, в беседу не лез...

— А вот, — говорил Меньшиков, царапая шитыми золотом малиновыми обшлагами по скатерти (сидел прямо, ел мало, вино его не брало, только глаза синели), — а вот узнали мы, что у царского деньщика Алексея Бровкина красавица сестра на выданьи... В сие дело надо бы вмешаться...

Степенный Алешка заморгал и вдруг побледнел... К нему пристали, сильнее всех — Петр, и он подтвердил, — верно, сестра Александра — на выданьи, но жениха подходящего нет. Батя, Иван Артемич, до того сделался гордый, — и на купцов средней руки глядеть теперь не хочет. Завел медецинских кобелей, — люди пугаются мимо двора ходить. Свах гонит взашею. Саньку до того довел — ревет день и ночь: года самые у нее сочные, боится — вместо венца монашкиным клубуком все это кончится из-за батиной спеси...

— Как нет жениха? — Разгорячился Петр. — Поручик Меньшиков, извольте жениться...

— Не могу, молод еще, с бабой не справлюсь, мин херц...

— А ты, святейший кир Аникита? Хочешь жениться?

— Староват, сынок, для молоденькой-та...

— Ладно, дьяволы пьяные... Алешка, отписывай отцу, — я сам буду сватом.

Алешка снял черный огромный парик и степенно поклонился в ноги. Петр захотел тотчас же ехать в деревню к Бровкиным, но вошел гонец из Кремля, подал письмо от Льва Кирилловича. Царица кончась. Все поднялись от стола и тоже сняли парики, покуда Петр читал письмо. У него опустились, задрожали губы... Взял с подоконника шляпу, нахлобучил на глаза. По щекам текли слезы. Молча вышел, зашагал по слободе, пыля башмаками. На полдороге его встретила карета, — влез, и вскачь погнал в Москву.

Пока другие судили и рядили, — что ж теперь будет, — Александр Меньшиков был уже у Лефорта с великой вестью: Петр-де становится единовластным хозяином. Обрадованный Лефорт обнял Алексашку, и они тайно шептались о том, что Петру теперь надо бросить увиливать от государственных дел, — в руках его вся казна и все войско, и никто в его волю встревать не должен, кроме как свои, ближайšie. Большой двор надо переводить в Преображенское. И Анне Монс надо сказать, чтоб более не ломалась, далась бы царю беззаветно... Так надо...

До прибытия царя Наталью Кирилловну не трогали. Она лежала с изумленным, задушено синим лицом, веки крепко зажмурены, в распухших руках — образок.

Петр глядел на это лицо... Казалось, она так далеко ушла, что все забыла... Искал, — хоть бы в уголке рта осталась любовь?.. Нет, нет... Никогда так чуждо не были сложены эти губы... А ведь утром



еще звала сквозь задыхание: «Петрушу... благословить...» Стало смертно жалко себя, покинутого... Страшно одному, с чужими...

Он поднял плечи, нахохлился... В опочивальне, кроме искисших от слез боярынь, были новый патриарх Адриан, — маленький русоволосый, с придурковатым любопытством глядевший на царя, и младшая сестра Софьи, царевна Наталья Алексеевна, года на три старше Петра — ласковая и веселая девушка. Она стояла, пригорюнясь по-бабьи — щеку на ладонь, в серых глазах ее светилась материнская жалость. Петр подошел...

— Наташа... Маманю жалко...

Наталья Алексеевна схватила его голову, прижала к груди. Боярыни тихо завывали. Патриарх Адриан, чтобы лучше видеть, как царь плачет, повернулся спиной к покойнице, приоткрыл рот... Шатаясь, вошел Лев Кириллович с бородою совсем мокрой, с распухшими, как сырое мясо, щеками, упал перед покойницей, замер, только вздрагивал задом. Красные деньки его, видимо, кончались.

Наталья Алексеевна увела брата наверх к себе в светелку, покуда покойницу будут омывать и убирать. Петр сел у пестрого окошечка. Он бывал здесь давным давно. Ничто почти не изменилось с детства. Те же сундучки и коврики, на поставцах — серебряные, стеклянные, каменные звери, зеркальце сердечком в венецейской раме, раскрашенные листы из священного писания, заморские раковины...

— Наташа, — спросил тихо, — а где, помнишь, турок был у тебя со страшными глазами?.. Еще голову ему отломали.

Наталья Алексеевна подумала, открыла сундучок, со дна вынула турка и его голову. Показала. Брови у нее заломились. Присела к брату, сильно обняла, оба заплакали.

К вечеру Наталью Кирилловну, убранную в золотые ризы, положили в гранитной палате. Петр у гроба, сгибаясь над аналоем меж свечей, читал глуховатым баском. У двух дверей стояли по-двое белые рынды с топориками на плечах, неслышно переминались. В ногах гроба на коленях — Лев Кириллович... Все во дворце, умаявшись, спали...

Глухою ночью скрипнула дверь и вошла Софья в черной жесткой мантии и клобуке. Не глядя на брата, коснулась губами синеватого лба Натальи Кирилловны и тоже стала на колени. Петр перевертывал склеенные воском страницы, басил вполголоса. Через долгие промежутки слышались куранты. Софья искоса поглядывала на брата, но глаз ее не было видно под тенью клобука.

Когда стало синеть окно, Софья мягко поднялась, подошла к аналою и — шопотом:

— Сменю... Отдохни...

У него невольно поджались уши от этого голоса, запнулся, дернул плечом и отошел. Софья продолжала с полуслова, читая — сняла пальцами со свечи. Петр прислонился к стене, но голове стало неудоб-

но под сводом. Сел на рундук, уперся в колени, закрыл лицо. Подумал: «Все равно не прощу...» Так прошла последняя старозаветная ночь в большом кремлевском дворце...

На третий день прямо с похорон Петр уехал в Преображенское и лег спать. Евдокия приехала позже. Ее провожали поездом боярыни, — их она и по именам не знала. Теперь они называли ее царицей-матушкой, просили пожаловать — поцеловать ручку... Едва от них отвязалась. Прошла к Олешеньке, потом — в опочивальню. Петр, как был одетый, лежал на белой атласной постели, только сбросил пыльные башмаки. Евдокия поморщилась: «Ох уж эти кукуйские привычки, как пьют, так и валяются...» Присев у зеркала, стала раздеваться — отдохнуть перед обедом... Из ума не шли дворцовые боярыни, их льстивые слова. И вдруг поняла — теперь она полновластная царица... Зажмурилась, сжала губы по-царичьи... Анку Монс — в Сибирь навечно, — это первое... За мужа взяться... Конечно, покойная свекровь, ненавистница, только и делала, что ему наговаривала... Теперь по-другому повернется. Вчера была Дуня, сегодня государыня всея Великия и Малыя и Белья... (Представила, как выходит из Успенского собора впереди бояр под колокольный звон к народу, — дух перехватило...) Платье большое царское надо шить новое, а уж с Натальи Кирилловны обносы не надену... Петруша всегда в отъезде, — самой придется править... Что ж, Софья правила — не многим была старше. Случится думать, — бояре на то, чтоб думать... (Вдруг усмехнулась, представила Льва Кирилловича...) Бывало — едва замечает, глядит мимо, а сегодня на похоронах все под ручку поддерживал, искал глазами милости... У, дурак толстый...

— Дуня... — (Она вздрогнула, обернулась.) Петр лежал на боку, опираясь на локоть. — Дуня... Маманя умерла... (Евдокия хлопала ресницами, не понимая.) Пусто... Я было заснул: эх... Дуничка...

Он будто ждал от нее чего-то. Глаза жалкие. Но она так раскатилась мыслями, что совсем осмелела:

— Значит так богу было нужно... Не роптать же... Поплакали и будет. Чай — цари... И другие заботы есть... (Он медленно выпростал локоть, сел, свесив ноги. На чулке против большого пальца — дыра...) Вот еще что, — неприлично, нехорошо в платье и — на атласное одеяло... Все с солдатами да с мужиками, а уж пора бы...

— Что, что? — перебил он и глаза ожили. — Ты грибов, что ли поганых наелась, Дуня?..

От его взгляда она струсила, но продолжала, хотя уже иным голосом, тот же вздор, ему непонятный... Когда брякнула: «Мамаша всегда меня ненавидела, с самой свадьбы, мало я слез пролила» — Петр резко оскалится и начал надевать башмаки...

— Петруша, дырявый — гляди, перемени чулки, господи...

— Видал дур, но такой... Ну, ну... (У него тряслись руки...) Это я тебе, Дуня, попомню, — маменькину смерть... Раз в жизни у тебя попросил... Не забуду...

И, выйдя, так хватил дверью, — Евдокия вся с'ежилась... И долго еще дивилась перед зеркалом... Ну, что такое сказала?.. Бешеный, ну, просто бешеный...

Лефорт уже давно поджидал Петра в сенях у опочивальни. (На похоронах они виделись лишь издали.) Стремительно схватил его руки:

— О, Петер, Петер, какая утрата... (Петр весь еще топорщился). Позволь сочувствовать твоему горю... Их кондолире, их кондолире... Мейн херц ист фолль шмерцен... О!.. Мое сердце полно шмерцен... (Как всегда, волнуясь, он переходил на ломаный язык, и это особенно действовало на Петра.) Я знаю — утешать напрасно... Но — возьми, возьми мою жизнь. и не страдай, Петер...

Со всею силой Петр обнял его, прилег щекой к его надушенному парику. Это был верный друг... Шопотом Лефорт сказал:

— Поедем ко мне, Петер... Развей свой печаль... Мы будем тебя немного смешить, если хочешь... Или — цузамен вейнен... Совместно плякать...

— Да, да, едем к тебе, Франц...

У Лефорта все было приготовлено. Стол на пять персон накрыт в небольшой горнице с дверями в сад, где за кустами таились музыканты. Прислуживали два карлика в римских кафтанцах и венках из кленовых листьев — Томос и Сека. Розами, связанными в жгуты, была убрана вся комната. Сели за стол — Петр, Лефорт, Меньшиков и князь папа. Ни водки, ни обычной к ней закуски не стояло. Карлы внесли на золоченых блюдах, держа их над головами, пирог из воробьев и жареных перепелок...

— А для кого пятая тарелка? — спросил Петр.

Лефорт улыбался приподнятыми уголками губ:

— Сегодня римский ужин в славу богини Цереры, столь знаменитой утешительной историей с дочерью своей Прозерпиной...

— А что за гиштория? — спросил Алексашка... Сидел он в шелковом кафтане, в парике — космами до пояса, — до крайности томный. Так же был одет и Аникита...

— Прозерпина утащена адским богом Плутоном, — говорил Франц, — мать горюет... Кажись, и конец бы гиштории... Но нет, — смерти нет, но вечное произрастание... Злосчастная Прозерпина проросла сквозь землю в чудный плод гранат и тем об'явилась матери на утешение...

Петр был тих и грустен. В саду черно и влажно сквозь раскрытую дверь виднелись звезды. Иногда падал в полосу света из комнаты сухой лист.

— Для кого ж прибор? — переспросил Петр...

Лефорт поднял палец. В саду хрустел песок. Вошла Анхен в пышном белом платье, в левой руке — колосья, правой прижимала к боку блюдо с морковью, салатом, редькой, яблоками. Волосы собраны

в узел на маковке, и в нем — розы. Лицо ее было прелестно в свете свечей.

Петр не встал, только вытянулся, схватясь за подлокотники стула. Анна поставила перед ним блюдо, присела, кланяясь, видимо, ее учили что-то сказать при этом, но ничего ни сказала, смешалась, и так вышло даже лучше...

— Церера тебе плоды приносит, сие означает: смерти нет... Прими и живи, — воскликнул Лефорт и пододвинул Анне стульчик. Она села рядом с Петром. Налили пенящегося французского секту. Петр не отрывал взгляда от Анны. Но все еще было стеснительно за столом. Она положила пальцы на его руку и сказала тихо:

— Их кондолире, герр Петер. (Большие глаза ее заволокло слезами.) Отдала бы все, чтоб утешить вас...

От вина, от близости Анхен разливалось тепло. Князь-папа уже подмигивал. Алексашку распирало веселиться. Лефорт послал карлика в сад, и там заиграли на струнах и бубнах. Аннушкино платье шуршало, глаза ее просохли, как небо после дождя. Петр стряхнул с себя печаль:

— Секту, секту, Франц...

— То-то, сынок, — лучась морщинами, сказал кир Аникита, — с грецкими да римскими богами сподручнее...

## 18

В дремучих лесах за Окой (где прожили все лето) убогий Овдоким оказался, как рыба в воде, — удачлив и смел. Он подобрал небольшую шайку из мужичков опытных и пытаных: смерти и крови не боялись, зря не шалили. Стан был на болоте, на острове, куда ни человеку, ни зверю, кроме как одною зыбкой тропкой, пробраться нельзя. Туда сносили весь дуван: хлеб, живность, вино, одежду, серебро из ограбленных церквей. Жили в ямах, покрытых ветвями. На вековой сосне — сторожа, куда влезал Июда оглядывать окрестность.

Всего разбойничков находилось на острове девять человек, да двое самых отчаянных бродили разведчиками по кабакам и дорогам. Едет ли купецкий обоз из Москвы в Тулу, или боярин собирается в деревеньку, или целовальник спяна похвалился зарытой кубышкой, — сейчас же деревенский мальчонка с кнутом или с лукошком шел к темному лесу и там что есть духу бежал к острову. Свистел. Со сторожи в ответ свистел Июда. Из землянки выползал согнутый Овдоким. Мальчонку вели через болото на остров и там расспрашивали. Во всех поселениях на большой дороге были у Овдокима такие пересыльщики. Их хоть на части режь — будут молчать... Овдоким их ласкал, — покормит и приголубит, подарит копейку, спросит о бате с мамой, но и дети и взрослые его боялись: ровен и светел, но и приветливость его наводила тайный ужас.

Угрюмо было жить на болоте. С вечера поднимался туман, как молоко. Сырели кости; болели раны. Огня Овдоким разводил не велел... Однажды один разбойничек расшумелся, — ночь была, как в погребѣ, — «мало, мол, над нами воевод да помещиков, еще одного чорта посадили», да и стал раздувать костер. Овдоким ласковенько подошел к нему, переложил костыльки в левую руку и взял его за горло. У того язык и глаза вывалились, — бросили его в болото.

Солнце вставало желтое, не греющее, вершины дерев стояли по пояс в туманном мареве. Разбойнички кашляли, чесали поротые задницы, переобувались, грели котелки.

Настоящего дела нет. Хорошо, если свистнет из лесу пересыльщик. А то весь день — на боку, до одури. От скуки рассказывали сказки, пели каторжные песни, томившие сердце. Про себя вспоминали редко, мало. Кроме Иуды и Жемова все были беглые от помещиков, — их ловили, ковали в цепи, и снова они бежали из острогов.

Нередко Овдоким, садясь на мшистый камень, заводил рассказы. Слушали его угрюмо в дремотной лесной тишине, — в Овдокиме была неведомая жуть, гнул непонятную линию... Лучше бы явно врал, как иные, скажем: вот, мол, ребята, скоро найдут золотую царскую грамоту и будет всем воля, — живи, как хочешь, тихо, сытно, в забвении... Сказка, конечно, но сладко о ней было думать под важный шум сосен... Нет, Овдоким никогда про утешение не говаривал...

— Было, ребятушки, одно времячко, да минуло, — сроки ему не вышли... Гулял я в суконном кафтане, на бочку — острая сабля, в шапке воровские прелестные письма... Это время вернется, ребятушки, для того вас и в лесу держу... Собиралась голь, беднота перекатная, как вороны слетались, — тучами, несчетно... Золотую грамоту с собой несли, в кафтане защита у казака Степана Тимофеевича... Грамота кровью написана, брали кровь из наших ран, писали острым ножом... Сказано в ней: пощады чтобы не было, — всех богатеньких, всех знатненьких, с поместьями, городами и посадами, со стольным градом Москвой — сделать пусто... И ставить на пустых местах казачий вольный круг... Ах, не удалось это, голуби... А быть и быть сему... Так в голубиной книге написано...

Упершись бородкой о клеску, глядел водянистыми глазами на болотную дрябь, тихо давил на щеке комара, улыбался кротко.

— До покрова доживем, грибов здесь много... А посыпет первая крупа — поведу я вас, ребятушки, да не в Москву теперь... Там трудно стало. В Разбойный приказ посажен князь Ромодановский, а про него говорят: которого-де дни крови он изопьет, того дня и в те часы и весел, а которого дня не изопьет — и хлеба ему не естся... А поведу я вас на реку Выгу, в дебрях, в раскольничье пристанище. Стоит там великая келья с полатями, и в ней устроены окна, откуда от присыльных царских людей борониться. Пищалей и пороху много. Живет в той келье чернец, не велик, седат и стар. В сборе у него раскольников, кои в разброс по Выге, душ двести... Стоят у них малые хороминки

на столбах, и пашут они без лошадей, и что им скажет чернец — то и делают, и беспрестанно число их множится. И никто ничего тайть про себя не может, каждую неделю исповедуются у него, и он, взяв ягоду бруснику и муку ржаную или ячменную и смешав вместе, тем причащает. Проведу вас тот сумеречный вертоград потайными дорогами, и там мы, ребяташки, отдохнем от злодейства...

Слушая про Выгу, разбойнички вздыхали, но мало кто верил, что живым туда доберется. Тоже — сказка. На работе Овдоким бывал не часто, — оставаясь один на острове, варил кашу, стирал портки, рубашки. Но, когда выходил сам, заткнув сзади за кушак чеканный кистень, — знали, что дело будет тяжелое. При убожестве был он, как паук, проворный, когда ночью, засвистев, так что волосы вставали дыбом, кидался к лошадям и бил их в лоб кистенем. Если ехали знатный или богатый, он пощады не знал, сам кончал с людьми. Подневольных, попугав, отпускал, но плохо было тем, кто его признавал в лицо.

В Москве про эти шалости на тульской дороге знали и несколько раз посылали солдат с поручиком — истребить шайку. Но никто из них из лесу не вернулся, про солдатское злосчастье знали одни зыбучие дряби, куда заводил Овдоким...

Так жили ничего себе — сытно. В конце лета Овдоким собрал кое-какую рухлядь и послал Цыгана, Июду и Жемова на большой базар в Тулу — продуванить:

— Уж вы, голуби, вернитесь с деньгами, не берите на душу греха... А то все равно живыми вам не быть, нет... Найду...

Через неделю вернулся один Июда с разбитой головой, без вещей, без денег. На острове было пусто, — холодный пепел от костра да разбросанное тряпье. Ждал, звал. Никого. Стал искать место, где Овдоким зарывал деньги и слитки серебра, но клада не нашел.

Желтый и красный стоял лес, летели паутиновые нити, опадали листья. Затосковала Июдина душа, подобрал сухие корки и пошел куда-нибудь — может, в Москву. И сразу же за болотом в красном, полосатом сосновом лесу наткнулся на одного из товарищей, нарышкинского кабального крестьянина Федора Федорова.

Был Федор тихий, многосемейный и безропотный, как лошадь, жил на тяжком оброке и, можно сказать, одним телом своим кормил многочисленных детей. Одно попутало, — от вина обида кидалась ему в голову, ходил по деревне с колом, грозил нарышкинского управителя разбить на полы. Он ли убил управителя, или кто другой, только Федор побожился детям, что чист, как перед богом, и убежал. Сейчас висел на сосновом суку, локти скручены, голова свернута набок, а на лицо Июда и смотреть не стал... «Эх, товарищ, товарищ» — заплакал и глушью пошел из этих мест...

*(Продолжение следует)*

# Поэма о профессоре

ПАВЕЛ НИЗОВОЙ

## I

В февральский серый полдень профессор стоял в кабинете у окна и смотрел в гавань, где кипели мутные волны залива. Коротко подстриженный, в двойных очках, с клинообразной рыжеватой бородкой, он стоял в недвижной привычной позе с засунутой за борт рукой. Направо и налево с отрогов каменного хребта непрерывным потоком текла снежная поземка. За хребтом, совсем близкий, свирепствовал ледяной океан, и оттуда вторую неделю обезумевшим стадом бежали грязные отяжелевшие тучи. Перевалив через голый хребет к заливу, они сразу опускались и некоторое время текли у самой воды медленно и устало, накапливая силы, потом тяжело взбирались на противоположную горную гряду и там снова возобновляли свой бег, такой же стремительный и безумный, уже над мертвой снежной тундрой.

Гавань похожа была на каменную чашу с высокими необточенными краями. В ней всегда толкалась мелкая рыбацья посуда: тяжеловесные петровские шляпки с квадратным парусом, называемым «благодатью», крутоносые норвежские ёлы — память древних викингов, легкие кáрбасы и шлюпки всяких размеров и форм. В половине зимы, когда трогался морской зверь, сюда попутно заходили за углем стальные богатыри-ледоколы: «Малыгин», «Сибиряков», «Седов», «Русанов». Отсюда шли они по незамерзающему Гольфштрему ко льдам Белого моря на тюлений промысел.

Тут же, привязанный к железной плавающей бочке, лениво покачивался и новый моторно-парусный бот станции.

Станция называлась:

Мурманская биологическая.

Имя профессора:

Герман Августович Ключе.

Вечером профессор призвал капитана.

— Иван Федорович, барометр совсем хорошо показывает: с утра идет на улучшение. Пожалуй, завтра можно будет выйти. Как вы думаете?

Капитан, немного грузный, сырой, с добродушным бритым лицом, посмотрел на барометр, заглянул в окно, хотя только - что пришел с воли, и не спеша ответил:

— Что ж, завтра, так завтра. У нас все готово.

— Да, я думаю, завтра утром можно будет выйти,—повторил еще раз профессор.—В открытом море шторм, вероятно, кончился. Скажите коку, чтобы обед завтра готовил на судне.

— Есть!..

Капитан повернулся и тяжело застучал морскими сапогами.

К ночи небо вызвездило. Профессор сидел за микроскопом, доканчивая изучение и проверку мшанок, присланных американской великоокеанской станцией. Позади него в стеклянных, идеально чистых шкафах сверкали тысячи больших и малых, идеально чистых пробирок с обитателями почти всех морей и океанов. Все они просмотрены, определены, занумерованы и записаны в соответствующие тетради им, профессором Ключе. Висят на стенах и покоятся в ящиках шкафов диаграммы, чертежи, картины,—их целые десятки,—о ходе промысловой рыбы: на каких глубинах, при какой температуре и плотности воды идет треска и пикша; из каких недр и какими водными слоями поднимается во время нереста семга; какие пути избирает морской зверь тюлень во время своего весеннего шествия из неведомых областей ко льдам Белого моря. Это сделано тоже им, профессором Ключе.

В кабинет тихо входит женщина, Профессор отрывает от окуляра голову.

— Ты что?

— Чай уже готов. Ты скоро освободишься?

— Я — сейчас! Иди!

Через минуту он расправляет спину, протирает платком утомленные глаза и подходит к окну.

За окном на звездной матовости неба залегли горбатыми чудовищами горы. Долетают последние вздохи утихающего ветра.

«Погода меняется, шторм кончился»—удовлетворенно думает профессор и повертывает голову к югу. Из-за хребта выплыл и стрельнул вдоль Млечного Пути луч северного сияния. Сейчас же смылся, и вместо него побежала многоветвистая огненная река, меняя свои русла и цвета—зеленоватый, фиолетовый, желтый...

Наверху, в столовой, самовар давно остыл, седая, опрятная, со строгим лицом женщина сидела над книгой, мирно тикали часы.

А профессор в кабинете все стоял у окна. Он по несколько раз в день так застаивался. За двойными рамами картина была всегда одна и та же: два станционных деревянных здания, залив, каменные унылые массивы гор без единого деревца,—летом бурые, поросшие мохом и лишайниками, зимой—мертвенно-белые, почти сливающиеся с небом. В утренние ясные зори перед штормами от них доносилось особенное



гудение, точно в складках их где-то невидимо залег огромный то-сующий зверь.

В ближнем здании помещалось общежитие и столовая сотрудников, в дальнем—музей и лаборатория. Еще дальше, на самом откосе скалы—крохотный домишко электростанции.

Все это профессору Ключе близкое, родное, двадцать лет внедрялось в сознание. В этих зданиях каждая полка, каждый гвоздь в свое время были им осмотрены и потом не единожды проверены. Все оно крепко отпечаталось в мозгу.

Через час в столовой в большом доме сядут за ужин полтора десятка людей: научные сотрудники, лаборанты, завхоз, электро-механик и судовая команда.

«Для команды нужны пять пар новых сапог, — вспоминает профессор недавнюю заявку капитана.—Пять пар. Легко сказать. Разве мало потребуется для них денег? А где их взять? Куда ни оглянись, на что ни посмотри,—всюду требуются деньги и деньги».

Перед профессором всплывают самые трудные годы жизни биологической станции.

Империалистическая война чуть не разрушила ее совсем. Имущество было вывезено, помещения заняты для военных надобностей. Станция замерла.

В 1918 году во время интервенции англичане, оценив ее мировое научное значение, настойчиво предлагали переехать в Англию. Обещали всяческие блага. Но Ключе отверг.

По уходе интервентов стоило огромных трудов собрать вывезенное оборудование многочисленных лабораторий. Время тогда было мало подходящее для восстановления научных учреждений. Нужно было думать о борьбе с неразбитым еще врагом, об укреплении власти, о хлебе и прочем.

И тем не менее отдельные люди прислушивались к голосу неугомонного директора. А Ключе настойчив и неутомим был до чрезвычайности. Если перед ним закрывались двери одного учреждения, он шел в другое, в третье: в Москве, в Ленинграде, в Мурманске. Просил, убеждал, доказывал.

И биологическая станция мало-по-малу стала оживать.

С 1923 года Главнаукой установлен бюджет на 35 штатных единиц. Но этого уже мало. Станция буйно растет, круг ее работ все расширяется. Теперь в летние месяцы в лабораториях занимается больше сотни студентов и научных сотрудников, командированных для практических работ со всего Союза. Приезжает также много ученых как русских, так и иностранцев. Кроме того, станцию посещают зимой и летом многочисленные экскурсии из всех уголков страны. Лабораторные помещения стали тесны, недостаточно оборудования; негде спать, негде обедать. Ключе возбудил ходатайство перед Совнаркомом и ВЦИК'ом об одновременном отпуске 175 тысяч. Главнаука ходатайство поддерживает. Но когда-то будет удовлетворено, да и будет ли еще!

Станция издает свои научные труды и обменивается мыслью со всеми мировыми учреждениями подобного типа. Она снабжает зоологическими коллекциями почти все многочисленные средние и высшие учебные заведения Советского Союза: Воды Ледовитого океана в полосе теплого Гольфштрема чрезвычайно богаты жизнью, такого разнообразия нет ни в одном из морей. В обширном музее станции можно увидеть обитателей как холодных, так и теплых вод и бесчисленное множество представителей промежуточной флоры и фауны: Огромные гренландские тюлени, морские зайцы, нерпы и рядом — морские лилии, офиуры, звезды, каракатицы. Иголокожие, мягкотелые, — всего не перечить, — всяких видов, всяких оттенков.

А по соседству — витрины с рыбами. Здесь все, что можно было извлечь из океанских глубин, начиная с огромной полуторасаженной рыбы — «короля сельдей» — из семейства ремнецовых, до крохотной литоральной рыбки, способной по нескольку часов жить без воды.

Летом функционирует аквариум. И все эти чудеснейшие по окраске и форме морские животные живут, дышат, ловят себе пищу, ведут борьбу за существование.

Мысль профессора перескакивает с хозяйственных вопросов на научные, с практических на теоретические. Столько встает ежедневно этих неотложных вопросов! Если бы ускорить процесс мозговой работы! Если бы можно было удлинить жизнь!..

## II

Профессор Клюге приехал сюда двадцать один год назад: посмотреть полярный край, поработать, пожить. У него были уже научные труды и многообещающее будущее. Приехал на месяц, на два — и застрял на всю жизнь.

В столицах был шум, «кипела словесная война», а молодой ученый с группой сотрудников выходил на кáрбасе в море и извлекал из него маловедомых бесчисленных обитателей, в тишине лаборатории сутками сидел за микроскопом, корпел над книгами, над тетрадами, наполнял пробирку за пробиркой.

Неделями свирепствовали метели. Все вокруг выло и стонало. Кругом были мертвые горы, и внизу — каменная чаша с водой — гавань. Восемь месяцев в году никакой связи с внешним миром. В зимнее время, чтобы попасть в столицы, нужно было обогнуть три страны, пройти двумя океанами и двумя морями или же сделать полторы тысячи километров по лапландской тундре и карельской тайболе (тайге), по бездорожью. Летом — пройти два моря до Архангельска...

В центре страны происходили всякие события, шла культурная жизнь, печатались газеты, журналы; люди ходили в театры, на концерты. Шла политическая борьба. Шла борьба за новую жизнь.

Здесь была другая борьба, только одна борьба — со стихией.

Пятьдесят дней в году — незаходящее солнце; пятьдесят — беспросветная ночь.

В зимние дни над водой струились знобящие туманы. Бешеный ветер рвал их клочьями и уносил, а на смену им поднимались другие и текли стремительным седым потоком. Небо висело тяжелое, ледяное. Городок Александровск, расположенный за хребтом горы в одном километре, часто бывал неделями отрезан от станции — метелью, ветром, туманом. На самой станции с трудом можно было пройти от здания к зданию — полтора шагов.

Ранней полярной весной, когда еще всюду лежали снега, когда реки и озера были крепко скованы льдами, с Кандалакши, с Кеми, из лесной глуши Олонецкой губернии, преодолевая бесконечные снежные пространства, холод и голод, устремлялись к рыбному Мурманскому краю артели и одиночки промышленников. Шли в лаптях, с падожками, с саночками, нагруженными скудным мужицким продовольствием. Тянул их к себе кормилец океан; приближалось время промысловой страды.

Эта полутемная, несокрушимая рабочая рать несла с собой вести из другого мира, сообщала о том, что творится там, у людей. Других путей и средств общения с центром в зимнее время не было.

Научные сотрудники и обслуживающий персонал проживут три-четыре летних месяца, много год, и уезжают... туда, в Россию, где люди, где настоящая жизнь.

А профессор Клюге все жил и жил. Раз в год он ездил в Петербург, раз в Европу. До последней было ближе.

И так слишком двадцать лет.

Двадцать лет жизни полярного затворничества на краю земли. Непрерывная научно-исследовательская работа, лишения, недостатки, отказ от личной жизни во имя науки, во имя овладения тайнами окружающей стихии...

Разве это не поэма?

А рядом с нею — другая. Правда, в ней нет научного блеска, она не окружена ореолом европейской известности, но она по-человечески ближе нам и понятнее.

Это — поэма о жене ученого, променявшей столичную жизнь на полярное безлюдье, и не ради научных достижений и открытий, а ради всего одного человека.

Двадцать лет женского одиночества!

Имя этой женщины — Мария Николаевна...

Три года назад я ехал в этот суровый и великолепный край летом. Теперь ехать было проще. Сел в Ленинграде в поезд и — по прямой к северу через лесные массивы Карелии, через страну тундр и озер — Лапландию, мимо Хибинских горных кряжей с неисчислимыми ископаемыми богатствами, мимо голубых речек, в которых уже столетия добывается жемчуг, — все прямо, чуть не к самому ледяному морю.

В конце двух стальных железнодорожных ниточек стоит город, возникший всего тринадцать лет назад.

И лесные карельские богатства, и бесценные недра лапландских гор и самый город — это наше будущее. Наши экономические резервы.

До 1916 года в Кольском заливе, на берегу которого он расположился, были семуэжи тони. Место называлось «Наволок Семенов». Жители древнего близ лежащего городка Кёлы и окрестные лопари ежегодно ссорились между собою, не могли поделить: кому нынче здесь ловить семгу, ставить заборы, тайники и гавры.

Но война сразу навсегда прекратила вековой спор, убрав от лопарей и колян яблоко раздора. Нашим бывшим союзникам по германской войне — англо-французам — нужно было во что бы то ни стало победить Германию, а выполнить это без русского солдата они не могли. И вот, чтобы снабжать его своими пушками, снарядами и танками, здесь и был построен город Мурманск, от которого через неведомые первобытные пространства легла железная дорога, связав полярный край с центром, Петербург с Лондоном.

При постройке «Мурманки» погибло много десятков тысяч людей. Гибли в непроходимых топях тундры от цынги, от лихорадки, от туч комаров, от морозов, от нечеловеческого труда. Каждая шпала покоится на человеческих костях.

Но дорога была необходима, и с величайшими человеческими жертвами для других жертв она была стремительно проведена.

Дальше, по незамерзающему Кольскому заливу, в 50 километрах, у самых ворот Ледовитого океана, находится другой городок — Александровск. В нем не больше сотни домов с 350 жителями. На свет он появился тоже недавно — 31 год назад. И уже умирает. Мурманск постепенно с'едает его. Через какой-нибудь десяток лет от него останется только ряд полуразрушенных домишек, затаившихся от полярной непогоды в складках каменного хребта.

В километре от этого умирающего городка на гранитной скале в гордом одиночестве высятся три деревянных двухэтажных здания. Это — Мурманская биологическая станция. В одном из них как раз и живет профессор Ключе.

Когда три года назад я плыл по Кольскому заливу на маленьком ботике станции, звавшемся «А. Ковалевский», — ворота океана пылали от катящегося по горизонту солнца. Оно тогда кончало свой пятидесятидневный путь, утомленное, хотело погрузиться в холодные волны. Над перламутровым заливом на серых скалах гордо возвышались три одиноких здания станции. Они похожи были на сказочные дворцы.

Теперь я ехал зимой. Двухмесячная ночь только - что миновала. Залив пенился мутными, грозными валами. Океанских ворот сквозь сырой, тяжелый сумрак не было видно, но они чувствовались во всем их стихийном величии, и там, за ними, океан свирепствовал по-

зимнему. В гавани было жутко, а в этой тьме, опять как сказочные дворцы, в высоте на скалах ярко горели электрическими огнями знаковые здания. Недалеко от пристани, привязанное к железному плавающему баку, покачивалось небольшое судно. Я прочитал на носу надпись: «Николай Книпович». А прежний маленький ботик «А. Ковалевский» стоял инвалидом, пришвартованный к мосткам.

На «Ковалевском» тогда, три года назад, мне довелось провести сутки, впервые видеть работу научных сотрудников станции непосредственно в море, да впервые увидеть и самое это полярное море.

В солнечные летние дни Ледовитый океан тих и спокоен. По неподвижной воде перебегают узор морщин,—вспыхнет в каком-либо месте на голубом шелковом фоне затейливое кружево, и сейчас же нет его, смылось или побежало дальше. Лениво раскачиваются гигантские водные пласты, будто из расплавленной стали. И по этому глухо гудящему металлу шныряют чайки, бакланы, гагары, проворные чистики. В летнюю пору океан горит от неугасимого солнца,—пернатым здесь раздолье. Слетается их великое множество. То и дело показываются из воды атласные головы нерп или седых лысунов: Вынырнет, щурясь от солнца, осмотрится, и снова в воду. Иногда стрельнет, чуть не на поверхности, могучее тело касатки,—может быть, за тем, чтобы своими острыми зубами вырвать бок у задремавшего кита.

Океан живет суровой и величественной жизнью.

И над всем этим человек.

В весеннее и летнее время от Шпицбергена до Новой Земли тысячи больших и малых судов бороздят океанские воды. Летние штормы редки и недолги: рыбаки-поморы отваживаются на своих миниатюрных посудинах ходить на далекие пространства...

Но вот надвинулась полярная двухмесячная ночь, и жизнь на океане замерла. Ни человека, ни птицы. Только рев и пляска волн, и черное в тучах небо.

Отважиться выйти в океан дальше прибрежной полосы могут только безумцы.

И такие безумцы находятся.

Конечно, это люди науки!

Периодически четыре раза в год научное судно биологической станции ходит от Мурманского берега по направлению к полюсу, к вечным льдам, за 400—500 миль. Из четырех этих рейсов—в феврале, мае, августе и ноябре—последний приходится совершать полярной ночью. Во все время пути—мгла. Чем дальше к северу, тем гуще. За 75-й параллелью—черная, непросветная ночь. Ни одного звука, напоминающего жизнь. Даже морские животные без солнца не любят показываться на поверхность. Только гудит океан и ходят черные смолистые волны. Жалкой скорлупкой безумно плывет в неведомую тьму маленький бот. Черное небо, черная вода. Остановись мотор, сломайся винт, испортись компас, столкнись со льдиной,—и ни откуда никакой помощи. И не дожидаться рассвета.

На судне—5—6 научных сотрудников и немного больше судовой команды. Все вперед и вперед до кромки вечного льда. Рейс продолжается две-три недели. В пути делается до 30 остановок,—«станции» через каждые полградуса (30 миль). Измеряется температура и соленость воды, опускаются тралы и планктонные сетки для извлечения с разных глубин морских животных.

Помимо чисто научной работы мирового значения, станция ведет другую работу, являющуюся для нее в данное время главной. Она изучает колебания напряжения Гольфштрема, этой колоссальной теплой струи, идущей к нашим берегам из Атлантики.

Изучение это имеет чрезвычайно ценную практическую сторону. Наблюдения показали, что температура воды между 4 и 4½ град. является наиболее благоприятной для хода трески. А так как приход трески и пикши к Мурманским берегам зависит исключительно от поведения Гольфштрема, весьма непостоянного, то очень важно установить, имеет ли он в своих колебаниях известную последовательность. Работы последних лет показывают, что некоторая закономерность в напряженности течения, в изменениях температуры и солености водных слоев имеется. Теперь уже представляется возможным создание промыслового телеграфа для извещения становищ: в каком месте и на какой глубине в данный момент следует ловить рыбу.

И так две-три недели непрерывной работы в ледяной воде на обледенелой палубе под постоянной угрозой смерти.

Делать это можно только во имя науки.

---

Утром над заливом полз туман. Моторно-парусный бот «Николай Книпович», казалось, пытался пронизать молочную зыбучую стену. Внизу дробно била невидимая волна, вздрагивали упругие стены, острый, белый бушприт настойчиво устремлялся вперед. Но судно попрежнему стояло на месте, привязанное к железной пловучей бочке,—нескончаемо плыл только туман, густой, леденящий. На вантах, на бортах, на металлических предметах блестела ледяная кожа, леденели волосы и одежда у матросов, по-штормовому крепящих палубный груз.

На судне еще вчера все приведено в порядок. Проверена машина и рулевое управление, налажено радио, приготовлена лаборатория; поблескивают строгим металлом мудреные приборы для измерения на разных глубинах температуры и плотности воды, висят на своих местах тралы и планктонные сети. Все вокруг вымыто, надраено, сверкает чистотой.

Из камбуза то и дело показывается голова кока, старательно готовящего походный обед. Юноша-радист, не по возрасту серьезный и деловой, чуть не с полночи проверяет радио-пеллингатор, сносясь с Норвегией и Архангельском. Научные сотрудники хлопотливо звенят

пробирками. Все готово к ответственному рейсу. Что их ожидает впереди? Как встретит океан? Удастся ли работа?

В прошлом году достигли почти той же широты, что и «Малыгин» в его знаменитом походе за экспедицией Нобиле, — 78 град., и отстали только на два градуса от «Красина». Величина же этого бота такова, что он может свободно поместиться на палубе ледокола (длина «Н. Книповича» — 78 фут., ширина «Красина» 75 фут.). Водоизмещение меньше красинского в 40 раз. Соотношение мощности двигателей и того разительнее: у «Красина» машина в 10 тыс. лош. сил, у «Книповича» мотор только в 120 сил.

Для ледоколов это было исключительное задание, выполнением которого они вписали ярчайшие страницы в свои биографии.

Никому неведомый бот с рядовыми работниками науки делает свою обычную будничную работу. Делают без шума, без внимания общества, без наград, в неизмеримо труднейших условиях, с колоссальнейшим риском для людей и для судна.

К полдню туман разогнало, сверху сверкала прозрачная, обнадеживающая синь, на горных скалах вихрились последние вспышки поземки.

Профессор Клюге, протирая застывшие очки, торопливо спустился к пристани. Судно стояло уже у мостков. На несколько минут смешались провожающие с уходящими, и всех их было полтора десятка людей в пустой гавани, окруженной голыми, мертвыми скалами, за которыми в одну сторону лежала необозримая тундра, в другую — простирался грозный и таинственный океан.

Протяжный, жалобный гудок, — и маленький белый бот запенил воду. Профессор стоял на мостках без шапки, смотря на удаляющееся судно. Вот оно развернулось, прибавило ходу и стало медленно уменьшаться. Профессор все стоял и мял в руке старенькую мерлушковую шапку.

Весь остаток дня профессор был молчалив и сосредоточен, ни разу не заглянул к оставшимся сотрудникам в лабораторию, не зашел в канцелярию, — упорно сидел за своим микроскопом. В условленные восемь часов он подошел к радиоприемнику. Тревожно, с волнением вслушивался.

Аппарат молчал.

Руки у профессора нервно вздрагивали; он снимал очки и ненужно протирал стекла.

Прошло пять минут, десять — аппарат молчал.

На лбу возле виска у профессора прыгала жилка.

Прошло еще десять минут и еще — аппарат все молчал.

Профессор без слова отошел к своему старенькому креслу у микроскопа.

С восьми до двенадцати он сидел, запершись в своем кабинете. За окном бесстрастно играли сполохи, загораясь великолепнейшими факелами, развертываясь и плывя гигантскими многоцветными зана-

весями, растекаясь многоруслыми огненными реками. Профессор все сидел за микроскопом. Глаза в эту ночь слезились больше обычного, и чаще приходилось снимать очки с двойными стеклами. Никак не укладывались в надлежащий порядок нужные мысли.

Без минуты в двенадцать в углу, за письменным столом, где помещается радиоаппарат, неожиданно раздался знакомый поющий звук. Сразу заплеснула радостная волна. Аппарат уже уверенно выстукивал условные черточки и точки. И лицо профессора все больше и больше светлело.

Спустя десять минут он легко, по-юношески поднялся во второй этаж в столовую.

— Ну, все благополучно. Принял радио. В море тихо. Сделали две станции.

Мария Николаевна облегченно вздохнула.

— Благополучно. Вот и хорошо, а я уж думала какое несчастье с ними. — Она опять сделалась серьезной и заботливо спросила: — Ты сначала ужинать будешь или чай подогреть? Уже остыл. — Все равно. Очень хорошо... Главное погода, — море тихое... Профессор, внутренне улыбаясь, спокойно опустился на стул.

С Мурманской биологической станции я уезжал ослепительным мартовским полднем. Уезжал на оленях, потому что незамерзающий Кольский залив замерз. Ехал целиной, по непорочным лучащимся снегам, по огромнейшим озерам, через сопки и увалы. С вершин гор расстилались безграничные снежные просторы—волнистая горная тундра. Позади лежал величавый океан.

Небо стало меркнуть, снега тускнеть. Потом с западной стороны по горным склонам полилась широкая розовая река заката, вскоре перешедшая в нежно-зеленоватую. Небо и земля потемнели. Надвинулся полярный вечер.

Олени остановились. Левый, вожак, повернул умную голову к хозяину-лопарю, раскрыл рот, может быть, для того, чтобы закричать, пожаловаться человеку, как им, животным, голодно и трудно живется. Но сейчас же рванулся в сторону. Через минуту вся тройка остановилась и принялась энергично разрывать ногами снег, под которым в этом месте находился ягель (олений мох), единственная их пища.

Вокруг была необычайная тишина. В южной стороне неба вспыхнула световая полоса, стала разворачиваться все шире и шире и поплыла колеблющейся занавесью северного сияния.

Лопарь, сдергивая ледяные сосульки с усов, высказал:

— Сёй-год промысел должен быть хороший. Трески много привалит.

Он, повидимому, доканчивал свою хозяйственную мысль, с которой весь путь молчаливо ехал. Я спросил его, почему он так думает?



— На билогической сам Жлюге говорил. Да и по нашим приметам сходится. Год будет промысловой, тресковый.

Лопарь подумал немного, смотря на замерзший Кольский залив, и добавил:

— До войны здесь акул добывали. Проходу от них не было. А теперь видишь — порт.

По ту сторону залива на темном силуэте горы сверкали, как рассыпанные золотые зерна, огни порта и самого Мурманска, над ними во всю ширину неба лежали причудливые полосы полярного света...

Неведомый великолепный край неиспользованных богатств!..

---

# Два стихотворения

М. ЗЕНКЕВИЧ

## I. ЭЛЕВАТОР

За балкой бутовой на косогоре  
Черную глубь журавлем испей.  
Губы лизнешь и почувствуешь горечь,  
Ветер горячий поленных степей.

На выгоне, выжженном пепелище,  
Не проглотивши судоржный ком,  
Под телегами бешенство тени ищет  
Собачьим высунутым языком.

А за шлагбаумом, как тароватый  
Хозяин, Иван Калита, скопидом,  
Раскинул башенный элеватор  
Мирским амбаром каменный дом.

Чтоб его глиняные ноги,  
Врытые в землю, могли сойти,  
Мостятся булыжные дороги,  
Стелются рельсовые пути.

И, циклопическим глазом зарясь,  
Смотрит его огневое звено,  
Какое добро на мужицком базаре  
С окрестных угодий привезено.

Как битюг, крестцом оседаю ниже,  
На весы из-под полога проволоки  
Эти тяжелые до грыжи,  
Туго набитые пятерики!

Россыпь водхватят проворные норы —  
И в сепаратор, и, ковш повернув,  
По транспортерам в бетонные норы —  
Бисеринка к бисеринке, зерно к зерну...

Пыльная мельничная доука...  
Золотоносная льется струя...  
Не загрязнит ее черный куколь,  
Горькая, споркая спорынья.

Ни помета мышиноного, ни писка,  
 Не прогрызут грызуны бетон,  
 Зубы точа на тебя, епископ,  
 По косточкам обглоданный Гаттон!

Голода призрак, и он, стеная,  
 Мечется, смерчем степным пыля,  
 Чтоб и его мука костяная  
 Удобрением легла на поля...

Чтоб небоскребы зернохранилищ,  
 Элеваторов вечные закрома  
 Золотым запасом верно хранили  
 Щедро засыпанные корма!

## II. НОЧЬ ПОД БУРКОЙ

### I

Дорожкой платиновой серебрясь,  
 Отдохнувший от зноя в самшитовой роще,  
 Улетучиваясь от берега, бриз  
 Осторожно пробует парус наощупь.  
 Потерявший прицельную мушку зрачок,  
 Расширенный ночным атропином,  
 Ловит искры с огнива подковы — чок-чок  
 По кремням заплутавшихся горных тропинок.  
 Воровская ночь и другим не в пример.  
 Надрываясь залиистой трелью частой,  
 Каждый сверчок, как милиционер,  
 Охраняет свой полночный участок.  
 Так тревожно, призывно... Нет, не к добру,  
 Одурманенная кипарисовым вздохом,  
 Эта ночь по млечному серебру  
 Перекатывается звездным горохом.  
 И, пока не забылся и не заснул,  
 Все не можешь, как море, прибором смириться  
 И, любовью ограблен, кричишь караул  
 Миллионной незримой сверчковой милиции.

### II

Взамен светляков сверкают поодаль  
 Глазные натертые фосфором спички.  
 Видно, приелись отбросы и падаль,  
 Просят — мясо стрихнином напичкать.  
 Шакаля безлунная ночь! И надо ли  
 Знать и мне и случайной звезде,  
 Что Бестужев-Марлинский где-то здесь  
 В стычке с черкесами пал у Адлера?  
 Под бараньей буркой до самой зари  
 Цокающий всадник не даст заметить,  
 Что с насечкой серебряной газыри  
 Оттиснулись кровью на белом бешмете.

# Возвращение на Челекен

ПАВЕЛ ЛУКНИЦКИЙ

Простая тыква, — а звук такой,  
Как-будто луна забралась в струну...  
Ходжа не боится играть с луной,  
Ходжа не боится пойти ко дну.

Ходжа под парусом на кошме  
Сидит, башкой касаясь колен:  
Большое время в его уме  
И день на острове Челекен,

И дом, и дым у самой воды...  
А нет ли дома какой беды?  
Змея, проказа, огонь, сосед, —  
Да мало ль жену стерегущих бед?

Тогда подарки куда девать.  
Шарф и чувяки из Энзели,  
Бинокль из Баку, чтоб дети могли  
Всех раньше лодку его узнать?

...Алдзын, алдзын... — не Кули-Махтум <sup>1)</sup>, —  
Простая тыква — большую ночь  
Несет на звуках тревожный ум  
И в след луны, отлетевшей прочь...

«Вот если б такую, как тот урус,  
Большую машину и я имел:  
Семь верблюдов не возьмут ее груз,  
А он саранчею в ней полетел.

Одна минута — и триста миль,  
Сейчас бы дома, а тут — сиди,  
Доккуз?.. — девятые сутки штиль:  
Под задницу лодки — сиди, гляди...»

Ходжа не боится обидеть судьбу,  
Ходжа отбросил тыкву ногой,  
И — руки к ступням, колени ко лбу, —  
Умолк в синеве густой.

---

<sup>1)</sup> Кули-Махтум — национальный туркменский поэт.

# З а б у д у щ е е

ЕЛИЗАВЕТА ПОЛОНСКАЯ

Как можно прошлое любить  
Сильнее будущего?

Это —

Мне непонятно и смешно  
И, кажется,  
Не требует ответа.

Ребенок нам милее старика.  
В грязи колени...  
И на пальцах пятна,  
Но тянется рука дотронуться к нему, —  
Дотронешься, и даже пыль приятна.

А вымытый старик  
Почтенен и хорош.  
Он — идол опыта, колодец всех познаний.  
И все же голову невольно отвернешь,  
Чтоб не вздохнуть его испорченным дыханием.

И хочется уйти со стайкою ребят,  
Бродить по улицам сквозь ветер, пыль и солнце,  
И улыбаться им,  
И слушать, как галдят  
Бегущие с обеда комсомольцы.

За будущее я хочу голосовать!  
За всех мальчишек и за всех девчонок,  
Кому тринадцать лет,  
А не сто тридцать пять,  
А прошлое пускай для старушонок.

---

# Люди и факты

1. А. САМОЙЛОВИЧ. Советский Восток. — 2. Н. ШПАНОВ. Северные очерки. —  
3. Мих. ДОСОВ. Как рождается колхоз.

## 1. СОВЕТСКИЙ ВОСТОК

(Наброски просвещенца).

Акад. А. Самойлович

Обширен, многоплеменен, многонационален и разнообразен по культуре, унаследованной от прошлых времен, восток Советского Союза республик, участвующих в социалистической перестройке жизни на поверхности одной шестой земного шара.

Беспримерна в истории человечества по смелости, настойчивости, плановости и величю целей работа грандиозного коллектива над созданием нового мира, развивающаяся в быстро разрастающемся темпе и среди культурно отставших за предыдущий период своего существования народов Востока в пределах СССР.

Новый мир, как цель, — это есть уничтожение деления человечества на эксплуатируемые и эксплуатирующие классы, государства и народы, это есть вместе с тем и поэтому прекращение раздвоения земного шара в социально-экономическом и культурном отношениях на «Восток» и «Запад».

Советский Восток, мобилизующийся как равноправный участник борьбы за такой именно новый мир, ликвидирует на пути к общечеловеческим целям свою отсталость, приступает к изживанию и изживает последствия своего былого зависимого положения, как объекта всяческой эксплуатации, вступив в новую стадию построения культуры, национальной по форме и

пролетарско-интернациональной по содержанию.

В этот решительный исторический момент наблюдается естественно два противоположных по своему существу настроения среди специалистов по изучению Востока, особенно за нашим рубежом, в оценке развивающихся на Востоке событий и происходящих там изменений в различных областях жизни, в том числе в быту и культуре.

Одни искренне и откровенно сожалеют о том, что начался и ускоряется процесс исчезновения с лица земли привычных для них и даже любимых ими объектов их наблюдений во время научных путешествий или их исследований в тиши библиотек и кабинетов — привлекательных по своей своеобразной архаичности, застывших в своем развитии хозяйственных и общественных условий и культурно-бытовых явлений в группе стран и народов, объединяемых под названием «Востока», того Востока, который «спит, покой храня».

Этим ученым как-будто хотелось бы, чтобы навеки оставались неприкосновенными, в состоянии необъятного заповедника или живого музея просторные, безмолвные степи Средней Азии с их флорой, фауной и редким кочевым населением, обитающим в войлочных кибитках и занимающимся экстен

сивным скотоводством; дикая, непролазная Алтайская тайга с ее малочисленными обитателями-охотниками и их семьями, жилищем для коих служит конический шалаш, покрытый древесной корой; старые города Хива, Бухара с их узкими, кривыми улочками, глинобитными домами и загрязненными, хотя и поэтичными водоемами в тени ив и карагачей; сибирские шаманы со своими гимнами и бубнами; среднеазиатские дервиши со своими радениями и песнопениями; знаменующее собой порабощение покрывало на таинственном лице мусульманской женщины в городах Туркестана и Азербайджана и символизирующий приверженность к родной старине арабский алфавит в типографиях Казани, Уфы и Симферополя, и прочее, и прочее...

Другие востоковеды, число коих растет, изучая старый Восток в интересах истории культуры человечества и для понимания Востока нового, тоже искренне и откровенно не только приветствуют смену исчезающей его старины раскрывающимся перед нами его лучшим будущим, но и сотрудничают с изучаемыми ими странами и областями в строительстве новой жизни.

Мои личные наблюдения над обновлением Советского Востока охватывают период в десять лет (1920—1929) и распространяются на территорию Ойротии (Горный Алтай), Башкирии, Татарии, Узбекистана, Туркмении, Азербайджана, Дагестана, Карачая, Балкарии и Крыма, т. е. ряда стран, с которыми я связан по своей специальности турколога, обнимающей, кроме того, еще и Якутию, Хакасию, район карагасский, Киргизию, Казакстан, Чувашию и некоторые другие области нашего Союза.

\* \* \*

Общественные движения освободительного характера, возникавшие в бывшей Российской империи, не проходили бесследно и для восточных народов этого государства, особенно в европейской части (Поволжье, Кавказ, Крым), но также в известной мере и

в азиатской (Сибирь, Туркестан, Бухара, Хива). Начало национального пробуждения среди некоторых народов Российского Востока относится к середине XIX века, когда оно проявлялось преимущественно в слоях буржуазии и интеллигенции. Подкрепляемое в последующие десятилетия влияниями с зарубежного Востока, движение это приняло значительные размеры в связи с японской войной и российской революцией 1905 года.

Февральская и Октябрьская революции 1917 года и дальнейшие события показали, что за время после 1905 года и особенно после начала мировой войны Российский Восток, включая и крестьянство и мусульманскую женщину, в заметной степени уже вышел из состояния «сонного покоя» и что на Российском Востоке, особенно в европейской его части, усилилось социальное расслоение, давшее местами (Поволжье, Азербайджан) довольно сложные партийные группировки.

Начало пробуждения Российского Востока до Октябрьской революции успело отразиться и на быте и на культуре, преимущественно в тонких слоях крупной и средней буржуазии и интеллигенции мусульманских народов, особенно казанских татар и азербайджанцев, а также и их пролетариата. На ряду со старыми конфессиональными школами возникли новые и средние светские учебные заведения, получил распространение новый звуковой метод обучения грамоте. В Татарии, Азербайджане, Казакстане развилась новая буржуазно-национальная литература с крупными именами прозаиков, поэтов, драматургов. В ряде стран зародился национальный театр.

При содействии политкаторжан и таких общественных деятелей как Потанин национальное пробуждение началось и в отдаленных от культурных центров местах, на Алтае, в Якутии.

Движение это вызывало крайние опасения у властей, стремившихся всячески ему препятствовать и по возможности уничтожить его в зародыше мероприятиями школьного, цензурного, миссионерского и иных ведомств.

Накопившиеся к моменту падения Российской империи кадры восточных национальных политических и культурных работников, не однообразные по социальному составу и по идеологии, при изменившихся социально-политических условиях далеко не в полном своем объеме приняли участие в новом строительстве, но все же у большинства народов Советского Востока к началу их новой жизни имелось свое, хотя и недостаточно мощное, ядро руководителей, на помощь коим пришли представители других народов Союза. Туркоязычным народам Советского Востока из родственных племен наиболее помогали и помогают казанские татары и азербайджанцы.

\* \* \*

Новые достижения народов Советского Востока в области культуры настолько заметны и столь несомненны, что отрицать их не могут и их действительно не отрицают даже люди, крайне скептически и тенденциозно относящиеся к нашей современности. Размеры и качество достигнутых уже народами Советского Востока культурных успехов с особой наглядностью выявляются естественно перед таким наблюдателем, который лично знаком с состоянием культуры у этих народов за ряды лет до 1917 года и который в частности может сравнивать по собственным впечатлениям прежде и теперешнее положение наиболее сравнительно отсталых народов Средней Азии.

Весьма показательными для определения культурных достижений являются происходящие за последние годы в восточных республиках Союза конференции по вопросам алфавита, литературного языка, правописания и терминологии. Эти конференции, как и первый всесоюзный туркологический съезд 1926 г. в Баку и ряд пленумов Всесоюзного комитета нового алфавита, представляют собой в сущности периодические смотры национальных культурных сил или по отдельным территориям или совокупности стран и народов большей части Советского Востока.

Поскольку эти съезды происходят в различных пунктах самого Советского Востока (Баку, Ташкент, Самарканд, Казань, Махач-Кала, Симферополь), наблюдатель имеет возможность производить смотр культурных успехов не только на заседаниях конференции, но и в местных школах, клубах, театрах, научных учреждениях, и не только в городе, но и в окрестных деревнях, во время экскурсий, обычно сопровождающих конференции и съезды.

Необходимо особенно подчеркнуть то обстоятельство, что работники, не принадлежащие к народностям Советского Востока, работники из всесоюзных центров выступают обычно на описываемых конференциях и съездах лишь в качестве приглашенных консультантов, основными же докладчиками являются представители национальных молодых культурных сил. Сказанное относится прежде всего к конференциям местного характера, на которых иногда приезжий консультант не-национал присутствует в единственном числе, как это имело место со мной на азербайджанской и крымской конференциях и как это было со мной же на пленуме президиума Всесоюзного центрального комитета нового алфавита в Махач-Кала.

Если не приходится удивляться тому, что более других стран Советского Востока выдвинутая на запад и в сущности переставшая уже входить в число восточных стран Татарская республика со старым университетским городом Казанью в качестве столицы сравнительно богата национальными культурными силами и педагогическими, и литературными, и научными и что эта республика снабжает хозяйственными, политическими и культурными работниками и другие края, до Туркмении и Сибири включительно, то нельзя не поражаться культурным успехам Узбекистана, объединяющего в себе страны, которые в недавнем прошлом справедливо относились к весьма отсталым (особенно бывшие ханства Бухара и Хива) и которые сильно пострадали в годы гражданской войны и басмачества.



В 1908 году я наблюдал культурное пробуждение части аристократии крупной буржуазии Хивинского ханства, а в 1920 г., когда молодая Хорезмская советская народная республика переживала еще тревожные времена борьбы с Джунейд-ханом, на мою долю выпало удовольствие выступить в г. Хиве с лекцией на узбекском языке по истории Хорезмы и его народов перед аудиторией из представителей широких масс городского и сельского населения, юношей и стариков, и я был изумлен живым, активным интересом, который был проявлен такой аудиторией к моим сообщениям и который выразился в обильных и дельных вопросах по содержанию моей лекции.

В 1929 г. на просвещенской конференции в Самарканде доклады по истории литературного языка, по правописанию и по терминологии были сделаны молодыми узбекскими учеными и педагогами столь удачно, что приезжим консультантам пришлось вносить очень мало исправлений. Часть докладчиков была самоучками.

Крестьянские массы Советской Средней Азии проявляют сильнейшую тягу к просвещению и в наиболее отдаленных от центров и глухих районах. Так, в Туркмении, в районе города Серахса привезенные мною в 1927 г. книги на туркменском языке с жадностью читались в аулах племени салыр не только молодежи, но и стариками, успешными ликвидировать неграмотность, а когда я покидал Серахс на грузовике, на него взобрался тайно от нас туркменский мальчик с пионерским галстуком на шее, с записной книжкой и карандашом в руках, стремившийся налегке в Ашхабад учиться.

Тяга к просвещению наблюдается и среди женщин Советского Востока. Одна из их деятельниц по женскому вопросу в столице Азербайджана, Баку, показала мне несколько лет назад замечательнейший документ, покрытый своеобразными идеограммами, которые были изобретены неграмотной азербайджанской работницей исключительно для собственного пользования: не успев ликвидировать свою негра-

мотность обычным путем, эта женщина, как делегатка на различных съездах, была вынуждена спешно создать свою оригинальную письменность, чтобы фиксировать, что говорится на съездах и что она сама хотела бы сказать.

В Ойротской автономной области на Алтае, где я был в 1927 году, местами превращены в школы деревянные православные храмы, строившиеся до революции миссионерами для коренного алтайского населения. В столице Ойротии, селе Улала, Облоно работало над собиранием материалов по алтайскому языку и над переводами на этот язык различной современной литературы. Несколько национальных писателей положило уже начало оригинальной алтайской литературе. В столице Ойротии обучались и юноши из соседней зарубежной республики Танну-Тува.

\*  
\* \*  
\*

Весьма внушительна и показательна, как одно из крупнейших достижений Советского Востока, издательская деятельность на родных языках, осуществляемая и местными госиздатами, начиная от Якутии, и Центральным издательством народов СССР в Москве. Всюду имеются национальные газеты, общие, крестьянские, комсомольские. В большинстве республик и автономных областей Советского Востока выходят национальные журналы общественно-политического, экономического, научного и художественного содержания, журналы научно-краеведческие, сатирические, журналы детские и женские. Растет литература учебная, особенно для школ первой ступени и для ликвидации неграмотности среди взрослых, местами же для национальных школ второй ступени и даже для вузов (Баку, Казань). Множится переводная и оригинальная литература популяризаторская по вопросам хозяйственным, общественно-политическим, по санитарии и т. д. Увеличиваются кадры новых писателей-художников, объединяющихся уже местами (Баку, Казань, Самарканд, Ашхабад) в литературные национальные

общества и создающих на Советском Востоке новую национальную литературу в идеологическом единении с писателями других народов Союза. Появились национальные работники в области изобразительных искусств, а также театра, музыки, питомцы соответственных национальных и общеобразовательных школ.

На большую высоту поднялся уже национальный театр в Казани, Баку и даже Самарканде. Театр, как и другие виды культурных достижений, проникает и в провинциальные города Советского Востока и в деревню.

Вовлечение широких масс в общественную жизнь и деятельность способствует быстрому развитию ораторских способностей и талантов. Еще в 1920 году в городах Хиве и Бухаре я неоднократно поражался и восхищался достигнутым умением выступать с речами перед обширной аудиторией, на многолюдных митингах под открытым небом даже со стороны детей, питомцев местных советских школ.

Не могут не поражать наблюдателя, знакомого со старым Востоком, успехи антирелигиозной пропаганды на Советском Востоке. Никаких следов религиозного фанатизма не замечал я, присутствуя при исполнении антирелигиозных пьес и номеров перед рабочими и крестьянскими зрителями в театрах Баку и Самарканда.

Среди тюркоязычных народов Союза на смену арабского алфавита распространился от Крыма до Тобольска по инициативе национальных культурных руководителей унифицированный латинский алфавит. Движение в пользу этого алфавита началось, с одной стороны, в Якутии по инициативе якута Новгородова, а с другой — в Азербайджане по инициативе группы местных учителей. У тюркоязычных народов Сибири этот новый алфавит пришел на смену русского (Алтай, Хакасия, Якутия). Начавшееся среди тюркоязычных народов Союза и возглавленное Всесоюзным центральным комитетом нового алфавита под председательством азербайджанца Агамали-оглы движение в пользу латинского алфавита быстро захватило и горские на-

роды Кавказа, и таджиков Средней Азии, и кавказских и бухарских евреев, и закавказских курдов, и бурят Сибири, и даже выходцев из Китая — дунган — с их китайским диалектом. Академия Наук СССР по просьбе правительства Танну-Тувинский республики применило унифицированный новый алфавит для танну-тувинского языка.

\* \* \*

Хозяйственное и культурное развитие на Советском Востоке требует детального изучения местных производительных сил, культурного прошлого отдельных стран и народов, исследования местных языков и быта. Работа эта ведется, с одной стороны, по инициативе национальных республик и автономных областей общесоюзными научными учреждениями Москвы и Ленинграда во главе с Всесоюзной Академией Наук, при которой действует комиссия по экспедиционным исследованиям, а с другой стороны — местными силами.

Академические экспедиции работают в Якутии, Башкирии, Казакстане, Туркмении и других странах Советского Востока. Результаты трудов этих экспедиций представлены рядом печатных изданий.

В странах Советского Востока развивается общественное краеведческое движение, руководимое республиканскими центральными бюро краеведения и аналогичными учреждениями, и организуются государственные научно-исследовательские институты с отделениями естествознания и общественных наук. Приступили к работе научно-исследовательские институты республиканского масштаба в Азербайджане, Дагестане, Туркмении, Узбекистане, Киргизии, Чувашии, Крыму. Намечено создание таких же институтов в Татарии, Башкирии, Казакстане. В столице Якутии действует на ряду с другими научными учреждениями научное общество «Саха кескиле» («Якутское возрождение»). На Советском Востоке существуют, развиваются и множатся государственные библиотеки, книжные палаты, музеи научные и художественные.

\* \* \*

Подготовка национальных культурных и научных работников производится в местных техникумах, рабфаках и вузах, из коих обычно в первую очередь возникают высшие педагогические институты (Уфа, Самарканд, Казань), и в вузах общесоюзных. Специально для обслуживания Советского Востока созданы в Москве Коммунистический университет народов Востока и Исследовательский институт для изучения культур народов Востока, в Ленинграде — ряд семинариев при Восточном институте имени Енукидзе, в том числе туркологический, и в Ташкенте Среднеазиатский гос. университет.

В туркологическом семинарии при ЛВИ с его уклонами лингвистическим, литературным, историческим и этнографическим до сих пор обучались представители следующих народов Союза: крымские татары, поволжские татары, чуваша, башкиры, казаки, киргизы, узбеки, туркмены, азербайджанцы, кумыки, алтайцы, хакасы, якуты. Часть этой молодежи оставлена при институте в качестве аспирантов, часть уже вернулась для работы в своих республиках: Азербайджане, Дагестане, Узбекистане, Казакстане, Башкирии, Якутии.

При первом наборе аспирантов для Всесоюзной Академии Наук в конце 1929 года были также приняты во внимание интересы Советского Востока, и в число аспирантов вступили представители коренного населения Крыма, Азербайджана, Дагестана, Узбекистана, Татарии и некоторых других республик.

Как видно из весьма беглого, краткого и суммарного обзора культурных достижений близких мне по специальности частей Советского Востока, работа здесь по ликвидации культурной отсталости и по строительству новой жизни разворачивается быстро и широко соединенными усилиями национальных и общесоюзных учреждений и организаций, охватывая широкие массы трудящихся и все важнейшие области культуры от начальной грамоты до наук и искусств.

В новых социальных условиях при развивающейся новой культуре реорганизуется на новых началах быт и хозяйство Советского Востока. На ряду с земледелием и скотоводством развивается местная промышленность, бок о бок с крестьянством растут местные кадры рабочих, государственных служащих и общественно-политических деятелей из коренного населения.

Восток в пределах СССР местами пробуждается, местами пробудился. Правовое равенство народов Союза превращается в равенство фактическое в результате хозяйственных и культурных успехов отсталого Востока. Грани между Востоком и Западом в нашей стране начали и продолжают с возрастающей силой стираться, и новый мир на наших глазах среди напряженной борьбы, неустанного труда и немалых лишений воплощается в действительность во всех концах одной шестой земного шара.

## 2. СЕВЕРНЫЕ ОЧЕРКИ <sup>1)</sup>

### II. ОЛЕНЬЯ КРОВЬ

Ник. Шпанов

Тумана нет. Но солнца тоже не видно. Небо, которое нельзя назвать ни серым, ни белым, делает горизонт таким расплывчатым, что трудно отличить, где кончаются облака и где на-

чинаются пологие холмы, которые самоеды называют здесь горами.

Почти в каждой долине, в каждой складке, образованной холмами, поблескивает темное зеркало воды. Иногда это просто небольшая мутная лужица, иногда широкое отороченное

<sup>1)</sup> См. «Новый Мир» № 1.

пушистым воротником шипящих камышей прозрачное озеро.

Высокий скат одного из дальних холмов покрывается какой-то серой массой, плавно текущей от его гребня. Серое пятно быстро подвигалось, растекаясь все шире и шире по холмам. Скоро за ближайшей грядой послышалось хрюканье, точно там двигалось стадо в несколько тысяч кабанов.

Это олени.

Десятки, сотни серых тел просвечивали сквозь волнующееся кружево рогов. Рога сцепляются, переплетаются, перекрывают друг друга. За паутиной рогов пушистый мех оленьих шкур кажется только фоном. Тонкое плетение филигранной решетки лежит на пушистом бархате. Фон течет, колыхается, точно живые разводы муара проходят по бархату. Плетение филигранной решетки так тонко, так необычайно. В непрестанном изменении она остается все той же с хитрым неуловимым узором.

Головные олени выходят на самый гребень, и широчие ветви их мощных рогов ярко проектируются на светлое небо. Серая лавина стада устремляется мимо меня, гонимая несколькими пастухами, едущими на легких нартах, запряженных резвыми быками.

Растекаясь по долине, стадо стремится использовать каждую ложину, как лазейку для бегства. Но здесь, на пути оленей, встают собаки. Проворно и как-будто вполне отдавая себе отчет в своей задаче, собаки несутся оцеплением вокруг стада. Их немного, но они очень искусно ведут оленей, точно разумные пастухи.

Вон на бугре несколько собак сгоняют в кучу отбившуюся массу оленей и оттесняют к общему стаду.

Все стадо в две тысячи голов влилось на ровную площадку невдалеке от чума и началась «гоньба». Под гиканье самоедов, под остревенелый лай собак стадо образует несколько бурливых водоворотов, центрами которых служат группы пастухов, стоящих с тынзеями в руках.

Слышится только хрляп оленей и дробное пощелкивание раздвоенных копыт.

В этом непрерывно крутящемся потоке перед пастухами проходит все стадо, и они намечают нужных им оленей; в первую голову ездовых быков.

Увидев нужного ему оленя, самоед устремляется к нему. Трудно понять, как в неуклюжей, широкой малице можно совершать такие быстрые движения. Напуганный бегущим человеком поток оленей устремляется в сторону. Но уже поздно. Тонкие витки тынзея неуловимым для глаза броском расплелись в воздухе. Схватенный за рог олень совершает дикие скачки, пытается освободиться. Пастух быстро выбирает тынзей и через минуту плененный олень уже послушно идет к хану хозяина. Очередь за другим.

Большой серый бы мчится по краю площадки, закинув за спину огромные ветвистые рога. Один миг, шелестящий свист брошенного тынзея, и попавшая в петлю задняя нога быка нелепо вытягивается в сторону. Олень всем корпусом описывает дугу и с размаху ударяется головой в землю. Маленький клубок взброшенной коричневой грязи, и животное бьется в бесплодной попытке подняться. Около его головы почва покрывается сочным темным пятном, — одного рога нет, он беспомощно ветвится с земли, прикрепленный к голове тонкой полоской кожи. А на черепе оленя в зияющей ране кипит яркая кровь и пульсирует беловатая масса. Кровь широкой струйкой вытекает из раны. Кровь заливаает оленю всю голову от просвечивающей сквозь ее темно-красную пленку белой звезды на лбу до бархатных нежных ноздрей. Сквозь кровь широко глядят бессмысленные карие глаза.

Подбежавший самоедин коротким ударом ножа пересекает лоскут кожи, на котором болтался рог, и пинком ноги заставил оленя подняться. Взяв оленя за сиротливые ветви оставшегося рога, самоед бегом отвел его к своей нарте. В ней нехватало одного быка.

Через минуту нарта мчалась уже по холмам наперерез утекающему ручьем отростку стада. Слева, опустив единственный рог, скачет вожак. С его криво наклоненной головы кровь струей стекает на копыта. Копыта спотыкают-

ся о каждую кочку. Глаза жоака застланы пленкой непрерывно текущей крови.

На ходу ветром капли крови относит на лицо машущего тюром пастуха. Капли коростой застывают на его правой щеке, обращенной к упряжке.

А на центральной площадке тынзеи один за другим взвиваются в воздух. Вон самоедин неудачно зацепил за ногу важенку, предназначенную для убоя. Петля вот-вот сорвется. На помощь к самоедину спешат два мальчугана. Старшему не больше восьми лет. С сознанием важности своей миссии они взмахивают своими тынзеями, и важенка валится на землю.

Через полминуты ребятишки уже сидят на судорожно поднимающемся и опускающемся боку поваленной важенки и с интересом смотрят на блеснувший в руке пастуха клинок.

Коротким движением самоедин проводит ножом вдоль шеи важенки, вскрывая бархатную кожу. Пальцем он выдергивает из разреза горло и перерезает его. Важенка судорожно бьется. Ее широко открытые глаза подернулись влагой.

Ребятишки продолжают сидеть на олене, пока самоедин, перерезав горло, не втыкает нож под лопатку дрожащего в агонии животного.

Еще с минуту судорога сводит ноги важенки. Затем веки медленно опускаются на огромные влажные глаза. Самоед, свернув тынзей, бежит «имать» следующего оленя. Ребятишки тоже торопливо сворачивают свои тынзеи, и младший карапуз вперевалку спешит за старшим братом. Около убитой важенки остается только ее теленок. Он недоумевающе бегаёт вокруг матери, тыкаясь мордой в ее окровавленное брюхо.

При всей операции убоя важенка не издает ни малейшего звука. Так, точно у нее нет совершенно голоса.

Убой производится самоедами с таким расчетом, чтобы животное теряло как можно меньше крови. И, действительно, только-что убитая важенка потеряла гораздо меньше крови, чем тот бык, что сломал себе только-что рог. Там потеря крови не имеет никакого

значения. Олень ее нагуляет опять. А здесь каждая капля, которую можно сохранить, будет использована.

Беззвучность оленей при всех несомненно болевых ощущениях меня поразила. Если даже допустить, что во время убоя олень не успевает реагировать на боль, как самоедин уже перерезает ему горло, то не может же не причинять боли клеймение тем примитивным способом, каким делают его самоеды.

Выловленного тынзеем молодого оленя валят на землю и ножом вырезают кусок уха. Вырез делается треугольный, круглый, двойной, квадратный и так дальше, в зависимости от клейма того или иного хозяина. Можно видеть оленей и вовсе без левого или правого уха. Тут почти безошибочно можно сказать, что олень имел прежде клеймо Госторга и ухо у него отсечено впоследствии пастухом, чтобы уничтожить это клеймо, и выдать оленя за своего.

Теперь, впрочем, пастухам не придется с этой целью даже отрезать оленья уши, так как Госторг придумал новый способ клеймить своих оленей: щипцами в роде пломбира в крае уха оленя простригается небольшая дырочка ромбической, овальной или иной формы по желанию агента. Самоеды от души смеются над этим клеймом, так как, по их словам, достаточно отрезать какой-нибудь дюйм от уха такого оленя, чтобы уничтожить следы госторговского клейма и придать разрезу любую форму.

Надо думать, что пастухи не замедлят на практике доказать свою правоту.

Но наиболее мучительной операцией, проделываемой над безответным оленем, является, вероятно, кастрация.

Гоняя стадо, самоеды намечают наиболее крупных и сильных хоров. Их рога, особенно высокие и разветвленные, сразу выдаются над мчащимся лесом стада.

Свистит тынзей, и ошеломленный хор останавливается как вкопанный на всем скаку. Самоедин выбирает на себя тынзей. Но с хором справиться не так просто. Он мотает головой, со-

вершает дикие прыжки. Самоедин, забросивший на него свой тынзей, уже лежит на земле и на животе волочится за мчащимся оленем.

Второй, третий, четвертый тынзей разворачиваются над пляшущим хором. Одна из петель попадает на ногу. К оленю подбегают несколько самоедов. Олень мечется среди них, но не пускает в ход своего единственного действительного средства защиты — рогов. Здоровый самоедин хватает хвора за рога и, скрутив ему шею, заставляет лечь. Ноги оленя скручивают тынзеями. На бок животному опять усаживаются все наличные ребятишки. У одного из самоединов сверкает в руках клинок ножа.

Ножом самоедин вскрывает сзади пах. Засунув в рану руку, он нащупывает там пальцами яичко и, сильно дернув его к себе, вырывает его. Вырванное яичко летит на несколько шагов назад. Олень судорожно бьется в опутывающих его веревках. Детишки со смехом скатываются с его бока. Вместо них наваливаются взрослые.

Между тем самоедин, нащупав второе яичко, с силой вырывает и его. Яички сейчас же подхватываются присутствующими. Даже не смахнув налипшей на яичко грязи, лакомки тянут в рот любимое блюдо. Отрезаемые у самых губ ловким ударом ножа куски яичек медленно со смаком поглощаются.

Мой знакомец Летков, вчерашний переводчик, даже облизал свои торчащие усы и, сощурившись от удовольствия, чмокнул языком.

— Ття, ття, ах, кусна.

Олень, освобожденный от пут, вскакивает, как ошпаренный. Постояв минуту точно в раздумье, олень забрасывает голову и, широко раскидывая задние ноги, стрелой мчится к стаду.

Одно из двух: или из него будет прекрасный ездовой бык, или в паху у него, в месте варварского разрыва, образуются гнойники, которые через месяц окончательно свалят оленя.

К сожалению, второе происходит гораздо чаще, в результате принятого здешними самоедами способа кастрации. Говорят, что у тех самоедов, ко-

торые зубами раздавливают яичко или вовсе выкусывают его, олени переносят операцию гораздо лучше.

В то время как взрослые наслаждаются свежими яичками, а стоящие около них дети только чмокают губами от зависти, группа мальчуганов не терпит времени и угощается по-своему. Они поймали оленя и строгают ему ножами рога. Срезанную полосками бархатистую кожу ребята с аппетитом суют в рот. По рогам оленя струями течет кровь, ножи, руки и лица лакомов измазаны кровью. Олень только дико вращает глазами, не пытаясь даже бежит от этого завтрака, где он служит живой закуской.

Время подошло уже к обеду. Уставшее от нескольких часов гоньбы стадо медленно утекает по лощинам в сторону озера. Собаки пытаются удерживать оленей, но короткие крики хозяев заставляют их поджать хвосты и вернуться к чуму. Теперь они бродят около убитых важенок и облизываются, глядя на их свежие раны. Но ни один пес не решается тронуть труп.

Эти трупы один за другим подбиваются самоедами. Мужчины взваливают тушу на спину и тащат ее к чуму. Из вскрытого горла висящей вниз головой туши сочится кровь. Кровь заливает малицу несущего. Кровь покрывает ему всю спину темными скользкими пятнами и струйкой стекает с подола. Но самоеды не обращают на это никакого внимания.

Принесенные к чуму туши оленей поступают во власть хабина. Здесь так же, как мальчуганы вертелись со своими тынзеями и маленькими ножами около мужчин, снуют среди взрослых женщин девочки, деятельно помогая матерям.

Женщины первым долгом снимают с туши шкуры. Делается это необычайно быстро и ловко. Через несколько минут синие с кровавыми разводами шкуры широкими дымящимися щитами покрывают всю землю вокруг чума.

Затем отделяются конечности, и положенная на землю ободранная туша вскрывается. Из нее извлекаются внутренности.

Хабинэ вытаскивает из живота груду кишек и тут же выжимает из тонкой длинной кишки ее содержимое в жидкую желтую кучу. Девочка лет десяти кольцами нанизывает опустошенную кишку себе на руку и уносит ее. Другая, крошечная, едва ходящая в развалку, как утка, спотыкаясь на каждом шагу, бредет с прижатым к животу концом оленьей ноги. Девочке тяжело, окровавленная нога выскользывает у нее из рук, но все же, отдуваясь, ребенок упорно тащит свою ношу, помогая взрослым.

А взрослые хабинэ тем временем разделяют тушу до конца. Разрубленные ноги, часть ребер, полоски мяса — все это опускается внутрь туши, как в корыто. Кровь плещется в этом корыте темной густой жижей, в которой тонут опускаемые в нее куски.

Вот олени разделаны. Вынимая на ходу ножи, подходят самоеды. Становятся тесными кружками вокруг кровавых корыт и начинается высшее наслаждение — «айбарданье».

Погружая руки в кровавую ванну, самоеды извлекают оттуда нарезанные хабинэ куски и, поднося их ко рту, быстро чиркают ножами у самых губ. Оставшийся кусок они, как спаржу в соус, снова погружают в кровь и спешат донести до рта, пока кровь льется сочной струйкой.

Кому досталась кость, отделяет от нее кончик мяса и, ухватив его зубами, отрезает длинную полоску. Кость снова макает в кровь и только после того опять тянет в рот.

Мясо исчезает во рту длинными полосками. Эти полоски почти не жуются. По кадыку под закинутой назад головой видно, как куски этой кровавой спаржи проходят непрожеванными.

Едят много и долго, вылавливая из крови все новые и новые куски. Тонкие полоски одну за другой отсекают у губ.

Постепенно движения делаются более медленными. Начинаются разговоры. Уже не так поспешно подносятся ко рту новые куски. Отрезанные полоски мяса более старательно вымачиваются в крови, после каждого укуса.

Наконец, обсасывается кровь с пальцев. С каждого в отдельности. Тщательно обтираются о полы малицы или об штаны ножи.

Некоторые, правда, немногие, идут в своей чистоплотности так далеко, что даже споласкивают руки несколькими каплями воды, тщательно обтирая пальцы все об ту же малицу.

На щеках, на губах, на подбородке остаются пятна и подтеки крови. Их даже не пытаются смыть.

Как истые гурманы, самоеды после обеда полулежат в кружке, лениво перебрасываясь словами; у каждого в зубах папираса или трубка. На белых мундштуках папирос губы и пальцы оставляют розовые, быстро буреющие следы.

После мужчин к кровавым корытам-тушам подходят хабинэ с детьми. Они едят не так жадно. Более размеренно, перемежая еду оживленной трескотней, хабинэ срезают длинные лепестки мяса. Они почти исключительно используют кости, оставляя мякоть детям.

Ребятишки до рукавов погружают ручки в тушу, и, плескаясь в крови, отыскивают кусочки получше. У каждого из них тоже по острому ножу в руках и, подражая взрослым, они ловко отрезают полоски мяса у самых губ.

Лепестки кровавой спаржи один за другим исчезают в их маленьких ртах.

Через полчаса руки, подбородки, щеки, носы и даже лбы ребят покрыты густыми, темными пятнами запекшейся крови. Дети и не думают ее смывать или стирать. Меньше всего озабочены этим и родители.

Скоро отдельно от мужчин садятся в кружок насытившиеся хабинэ. Около них, уткнувшись окровавленными личиками в темные, пропитанные сапом и кровью подолы, сладко сопят девочки. Мальчики сосут мундштуки. Кто мал для настоящей папирасы, кому нет еще девяти, десяти лет, сосет пустой мундштук или окурочек.

Около людей, свернувшись клубками и положив испачканные до глаз в крови морды на розовые лапы, блаженно спят псы.

В порыве младенческой собачьей нежности маленький пушистый щенок взобрался в люльку спящего ребенка и с азартом лижет ему лицо. На нежной коже язык щенка оставляет слизистые розовые следы.

Ребенок сладко улыбается во сне и чмокает губами.

\* \* \*

Я проснулся от тонкой струйки влаги, ни с того ни с сего полившейся мне на лицо. Прислушался — дождя как будто нет. Торопливое, мелкое принюхивание над полотном и мелькнувшая тень раз'яснили в чем дело. Я еще вчера заметил, что самоедским собакам очень нравится поднимать ногу над углами нашей палатки.

Тяжелый, сизый туман лезет под распахнутую полу палатки, совершенно так же, как зимой клубы морозного воздуха лезут в дверь жарко натопленной кухни. И так же оседает на вещах холодным матовым потом, по которому можно выводить пальцами блестящие буквы.

Все сыро в палатке: цепляющееся за голову холодное полотно, замша малицы, сделавшаяся совсем темной и скользкой, свитер, от которого пахнет мокрой псиной, и не лезущие на ноги скоробившиеся сапоги. От долгой возни с сапогом я совсем закончен и, махнув на него рукой, снова полез ногами в малицу.

Мой сосед Черепанов зажигает две баночки сухого спирта и разводит примус. Через четверть часа у нас почти тепло. Я блаженно задремал. Без дрожи можно одеться, даже с вождением думается о студеной воде соседнего озера, служащего нам умывальником.

Скоро, разбуженный нашей возней, поднялся весь лагерь и стали готовиться к киносъемке. Блужштейн решил заснять сегодня жизнь внутри чума, не взирая на серый день.

Хотя еще накануне вечером с хозяином чума были обусловлены все мелочи съемки, сегодня он делает вид, что это для него совершенная новость. Битый час уходит снова на переговоры. Наконец, он нехотя разобрал полови-

ну чума, но сниматься так и не стал. На помощь пришел усатый Летков, охотно изображавший перед объективом всю процедуру вставания, еды и укладывания ко сну. Только хабинэ никак не хотела раздеться, укладываясь спать. Пришлось удовлетвориться тем, что она в малице полезла под шкуру. А в действительности самоеды спят голые. Вся семья на одной куче постелей. Дети между родителями.

Ничего не вышло и со съемкой богов. Судя по всему, шаман запретил их нам показывать. Вообще, появившись на сцене, шаман испортил все дело: самоеды стали отворачиваться от объектива; хабинэ стали прятать детей и закрываться руками.

Но все-таки считалось, что нам оказана большая услуга, и пришлось отблагодарить не только хозяина, а и всех зрителей разрешением с'айбарда дать двух оленей из стада Госторга за наш счет.

На этот раз никого не пришлось уговаривать ехать за оленями. Через полчаса стадо было уже на месте и пошла дикая гоньба. Просто поразительно, как мало берегут самоеды оленя — основу своего хозяйства и благополучия. Несмотря на то, что гоньба губительно отражается на стаде и особенно изнуряет важенок, самоеды способны гонять стадо из-за всякого пустяка.

Через час туши двух важенок уже дымились плескающейся в крованом корыте жижей. Тут же их с'айбардали. Вокруг чума выросли несколько кучек свежих отбросов.

Какое счастье, что здесь нет мух. Трудно себе даже представить, что делалось бы здесь, если бы были мухи. Вокруг чумовища буквально нет места, куда можно было бы ступить без риска по щиколотку увязнуть в каких-нибудь нечистотах. Человеческие и собачьи экскременты чередуются с выброшенными внутренностями оленей, громоздятся желто-зеленые кучи выжатой из кишек убитых животных жижи. Среди всего этого там и сям разбросаны кости, черепа, рога. Все это никак не используется. Даже



оленья шерсть — ценнейший продукт — не собирается, так как самоеды считают, что можно использовать только ту шерсть, которая сама спадает во время линьки. Но не хотят собирать и ее. В сущности все использование оленя сводится к утилизации мяса и шкуры. Все остальные продукты оленеводства, могущие служить не только предметами внутреннего потребления, но и экспорта, безвозвратно пропадают.

Когда айбарданье подаренных нами оленей кончилось, один из самоедов явился в палатку.

— Кумка давай.

— За что кумку?

— Все самоеды айбардали.

— Так вы ведь для себя айбардали, а не для нас. Мы же вам угощение поднесли, с нас же еще и кумка?

— Тот большой с машинка карточку снимал как мы айбардали.

Блувштейн действительно усиленно накручивал киноаппарат во время айбарданья. Но требование показалось нам чрезмерным.

— Не будет кумки.

— Ай, не хороса, парень. Самоеды работал, кумка нет.

Делегат еще посидел с обиженным видом, угостился папиросой, сунул несколько штук за пазуху и ушел. В палатке долго слышались возмущенные голоса всей отдыхающей после еды компании.

Через час в палатку снова вполз тот же делегат.

— Кумку дашь?

— За что?

— Наса гонять будя. Хороса олень прягать будя.

Гонка на оленях — заманчивое зрелище, но и тут мы отказались выставить кумку.

Скоро переговоры возобновились и было решено, что чашку водки получит тот, кто выиграет состязание.

К берегу озера подехали 12 ханов, запряженных лучшими быками. Все мои попытки установить их на старте так, чтобы уравнивать шансы состязующихся, ни к чему не привели. Хань сбились в кучу. Олени перепутались в постромках. Когда, отчаявшись на-

ладить старт, я махнул рукой, клубок из оленей, людей и ханов завертелся бешеным водоворотом. Из водоворота только тонкими иглами торчат поднятые тюры.

Но вот из этой бестолковой свалки вырвалась одна упряжка. Пастух на бегу бросился на хан, и хорей загулял по крупам распластавшихся в неудержимом беге оленей. Второй и третий хан взметнулись одновременно, и за ними по берегу озера покатилась серыми метущимися клубками гонка. Тесно сжавшись в упряжке, олени скачут одним скоком, взметаясь, как один, над высокими кочками. Широким фонтаном резлетается грязь мелкой протоки, преграждающей путь гонщикам. Олени несутся прямо на препятствия, точно у них завязаны глаза. Хань выделывают по кочкам дикие скачки. Вот один хан почти лег на бок. Самоедин кубарем вылетел из него и покатился в озеро, а олень, точно опьяненный собственным бегом, залбжив на спину кусты рогов, понеслись в тундру, радостно увлекая непривычно легкие санки.

Обогнув озеро, к финишу бешено несется хан, запряженный пятеркой серых быков, а на хвосте у него висят белые как снег олени местного фаворита, потерявшего слишком много времени на распутывание своей упряжки на старте. Его дело явно проиграно. Мальчик, едущий на первом хале, на полном ходу яростно дергает вожжу, и вся упряжка очумело бросается влево, прямо на толпу зрителей. Но победитель уже стоит на земле, олени, упершись головами в протянутый тюр, встают как вкопанные. Мохнатые бока ходят, как кузнечные мехи.

Хотя победитель и его единственный серьезный конкурент — фаворит — уже давно на финише, остальные участники гонки продолжают неистово погонять своих оленей, стараясь привлечь к себе внимание зрителей.

Как и следовало ожидать, кумку потребовали, кроме победителя, и отставший фаворит и все участники. Но на этот раз мы выдержали характер. Чтобы отвлечь внимание от надоев-

шей нам кумки, Черепанов нарочно на виду у самоедов стал собирать микифон.

Через пять минут тесный круг сгрудился вокруг микифона, бессильно пытающегося захватить воздух тундры слабыми звуками Данкеровских пародий. То ли потому, что звуки совершенно терялись в безбрежной равнине, то ли потому, что напевы серебряных струн, рожденные под расплавленным золотом гавайского неба, уж очень чужды суровым сынам мшистых равнин, но гавайские гитары не произвели никакого впечатления. Даже какое-то разочарование было написано на лицах — такой, мол, интересный, блестящий, многообещающий аппарат ради каких-то слабых, непонятных звуков. Не больший эффект вызвал марш оркестра. Только когда послышался голос человека и свист, самоеды стали смеяться и заинтересовались граммофоном.

Музыка самоедам совершенно чужда, у них нет ни одного музыкального инструмента, ни одного мотива, ни одной сложившейся песни. Вместо песни или сказки, которую выпевает на любой лад рассказчик, либо впечатления об окружающем мире, воспринимаемые в момент пения: «Я еду на санях. Олени бегут хорошо. Над головой пролетела куропатка, собаки побежали за пей. Левый олень хромает». Распеваемое без всякого мотива, вполголоса — это и составляет единственную самоедскую песню.

И граммофон как аппарат тоже не производит на самоеда должного впечатления, — либо их мозг слишком примитивен даже для того, чтобы воспринять замысловатую необычайность блестящей вертушки, издающей человеческий голос, либо сказывается монгольская раса. Быть может, и самоеды, как большинство народов, в жилах которых течет монгольская кровь, отличаются огромным самообладанием и способностью не удивляться самому удивительному.

Пока занимаемые добросовестными усилиями Черепанова самоеды слушали граммофон, хозяин чума, заснятого сегодня Блувштейном, занялся разбор-

кой своего жилища. Я думал, что он собирается емдаты на новое пастбище, но к моему удивлению хабинэ и детишки, вместо укладки шестов на ханы, стали их снова составлять конусом в нескольких метрах от того места, где только что был чум. Меня это заинтересовало, но хабинэ в ответ на мои расспросы просто кокетливо закрылась рукавом грязной малицы, а с хозяином мы не могли сговориться, так как он знал только три русских слова: теньга, сыр-ка, вотка — деньги, чарка, водка. Я же со своей стороны не мог найти в составленном мною самоедско-русском словаре нужных слов, так как этот словарь не был еще разбит по алфавиту. Да, повидимому, хозяин и не был особенно расположен давать мне какие бы то ни было объяснения. Я прибегнул к моему присяжному толмачу — усатому Леткову.

— Послушай-ка, Николай Алексеевич, спроси хозяина, с чего он чум с места на место таскает.

— Цего спросить, не нада спросить, я сама знаю. Твоя товарыша его чум на картинку вертел.

— Ну вертел, так что же с того?

— Как стозе? Как такой чум зить? Тебе говна месал, а нам злой дух месал. Твоя парни всяка недобра на вертел.

Летков сделал сердитое лицо; даже его щеткообразные рыжие усы встопорчились. Но я знал, что этот Летков не так глуп, как хочет казаться. У него весь остров в родне и свойстве, и он умненько заставляет всех самоедов плясать под свою дудку. Я знаю, что, не снискав тем или иным путем согласия Леткова, даже сам местный губернатор-агент не предпримет ничего в отношении туземцев.

— Брось-ка ты, Николай Алексеевич, какие там злые духи, ведь сам ты утром говорил, что вы только в одного Нума верите, который создал все и теперь сверху за порядком смотрит.

Летков сделал хитрое лицо и оглянулся кругом.

— Ты, парень, друг мне, я скажу. Мне духи ниподем... тьфу... а только шаман хозяину сказывал — сиё места погана стал, вон ходить нада. Васа машинка

дурной напустил чум, убирать када... Ты с товарищи уезжать будя, хозяин и сам эти места уходить будя.

— Неужто и мы поганые?

— Зацем ты погана... не все погана... вон длинный с бабой на чуму спит, а баба ему не зонка... наса колгуевская баба... так разя мозна цузой баба чуму спать. Такая места погана.

Речь шла о Блувштейне и фельдшернице. Самоедская мораль, повидимому, не хотела признавать даже таких гарантий целомудренности этого случайного сожителства, как две малицы и совик.

Потом мы узнали, что хозяин действительно перекочевал на совершенно новое место. Фельдшернице это тоже доставило массу неприятностей — разнесшийся по острову с молниеносной быстротой слух о том, что она спала в палатке чужого ей мужчины, грозил совершенно лишить ее уважения пациентов. Слухи по тундре передаются с совершенно непостижимой быстротой, точно разносятся порывами свирепого колгуевского ветра. Слух о чумовице, залоганенном русаком, далеко опередил нас и, когда мы вернулись в Бугрино, там уже знали все подробности про «погавое место».

\* \* \*

При всей примитивности самоедов чувство деликатности, связанное с обязанностью гостеприимства, у них настолько велико, что, несмотря на уже состоявшееся решение хозяина немедленно после нашего отъезда покинуть поганое место, все общество, включая хабинэ, непринужденно веселилось, развлекаемое Черепановым, около самой злополучной палатки.

Постепенно мужчины разошлись по своим делам, остался чисто женский кружок. А женщины оказываются всегда и везде женщинами. Стоило исчезнуть мужьям, как степенные матроны сразу утратили всю свою важность и превратились в самых обыкновенных кумушек, непринужденно судачащих между собой и не чуждых кокетства по отношению к мужчинам, которых они больше никогда не увидят.

Понятие «кокетство» применимо здесь, конечно, условно. Это не больше чем свободный разговор с посторонним русаком, право без стеснения пощупать ткань его одежды, право показать ему свои украшения и одежду. Не больше. Но все это делается со смехом, ужимками, так как по чувству это запрещено, — в присутствии своих мужей самоедки на это не пойдут, да и мы не стали бы рисковать возбуждать недовольство туземцев, очень ревниво оберегающих своих женщин от излишнего общения с пришельцами.

Из этого вовсе не следует делать вывода о том, что женщина здесь в какой бы то ни было мере утеснена, забита. Хабинэ — рабыня чума, это не больше чем традиционная сказка. В действительности хабинэ — полноправный член семьи даже в значительно большем объеме, нежели это имеет место у многих белых народов. Впечатление какого-то рабства может создаться лишь у того, кто склонен оценивать положение женщины по «виду» производимых ею работ. К примеру хотя бы то, что мужчина утром не снимает сам с сушильного песта своих пимов, а делает это женщина, не стесняющаяся зубами размять скоробившуюся или смерзшуюся обувь мужа, происходит исключительно в силу того, что вообще всем платьем, обувью, постельными принадлежностями, вообще всей домашней утварью и одеждой заведует женщина. Мужчина не не хочет в это дело путаться, а просто не имеет права. Попробуйте повести с самоедом — главой семьи — разговор о пошивке для вас малицы, пимов, шапки.

— Не знай, — один ответ.

— А кто же знает, ведь ты же хозяйин?

— Не, нет моя хозяйин на пимы. Зонка хозяйин.

То же самое и с куплей-продажей.

— Николай, больно хороша малица у твоей Варвары, сколько хочешь?

— Не знай.

— А кто знает?

— Зонка знает.

— Да ведь деньги-то твои будут, а не женкины?

— Не, зонкин.

Достаточно взглянуть на председательствующую на граммофонном собрании Варвару Большакову, чтобы рассеялось всякое представление о рабыне. В этой рабыне пять пудов с изрядным хвостиком. Любой нашей женщине понадобится фунт свеклы, чтобы создать себе такой цвет лица, каким блещет эта рабыня. Все ее слова и жесты исполнены сознанием своего достоинства и независимости.

Что касается цвета лица хабинэ Большаковой, то он отнюдь не является исключением, у всех ее собеседниц окраска щек выходит за пределы того, что можно просто назвать «румянец», — это ярко сияющие пятна. Так и кажется, что из-под туго натянутой на широкие скулы блестящей кожи вот-вот брызнет алая кровь.

Неужели это результат кровавой диеты самоедского стола?

Хабинэ не моются никогда и ни при каких обстоятельствах. Однако, это не мешает их коже, так же как и у мужчин, выглядеть вполне чистой. Только острый запах выдает наличие многолетних накоплений жира, пота и других еще более неприятно и резко пахнущих выделений человеческого организма.

Стремление наряжаться не чуждо хабинэ. Даже мода, временное увлечение той или иной принадлежностью туалета, имеет место в колгуевской тундре. Как-то какому-то самоедскому оленеводу купцу удалось забросить с материка на остров партию подвязок, самых обыкновенных дамских подвязок. Говорят, ни одна уважающая себя хабинэ не считала возможным появиться в свете, не одев поверх меховых пимов яркой цветной подвязки. Впрочем, слабостью к подвязкам страдали не только хабинэ, — их мужья тоже щеголяли с розовыми, зелеными и лиловыми лентами на ногах. Мода!

Украшения в платье, применяемые самоедками, незамысловаты по своей сути, но весьма сложны по выполнению. Они состоят из кусочков мехов, резко отличных по цвету от основного меха одежды. Если нарядная малица шьется из белого оленя, то все поле разделяется на прямоугольники вели-

чиною в папиросную коробку, ограниченные узкою, как шпагат, полоской черного или темно-коричневого меха. Это адовая работа, — всю малицу нужно сшить из этих отдельных кусочков, каждую полоску нужно вшить. Шитье производится нитками из тончайше разделанных оленьих жил.

В большом ходу окантовка из ярких цветных сукон — зеленое, красное, желтое. Иногда из такого сукна делаются узкие вставки. Цветных сукон к самоедам попадает мало, и они их очень ценят. При этом качество доставляемого Госторгом сукна они весьма образно определяют одним непечатным словом.

Не меньше, чем сукно, хабинэ любят медные украшения. Всю ту медь, какую их тропические сестры, какие-нибудь зулуски, распределяют в виде бесчисленных браслетов и колец по ногам, рукам, ноздрям и ушам, — хабинэ вынуждены отделить от непосредственного соприкосновения с телом: климат этого не позволяет. Здесь вся медь сосредоточивается на поясе. И так как единственным видом украшения, попадающего на Колгуев, являются пуговицы, то для помещения их в надлежащем количестве пояс приходится делать значительной ширины.

Вот, например, у той же Варвары на поясе шириной, примерно, в двадцать — двадцать пять сантиметров я насчитал 126 пуговиц. Какие только ведомства различных эпох не нашли успокоения на широких чреслах этой самоедской матроны; ярко начищенные, сверкают двуглавые орлы вперемежку с красноармейской звездой, якоря рядом со старорежимным правоведским «законом».

Недостаток в медных украшениях — предмет неподдельных сетований хабинэ. При всем ожелании не показаться настроенной оппозиционно к представляемому нами режиму, резвая молодуха, довольно бойко говорящая по-русски, все-таки не выдерживает.

— Дурная ты большевик, и Госторг дурная, как мозна без золота (меди) зить? Вона гляди, — показывает она на Варвару, — вона царский купец какие прязка возил... а сей год где прязка

такая? Не стала пряжка и пуговица не стала.

Действительно, на животе у Варвары униженный пуговицами пояс застегнут резной медной пряжкой. Это целое круглое блюдо 20 сантиметров в диаметре. По глазам молодухи видно, что такая пряжка действительно способна служить предметом невинной зависти. А Госторг таких пряжек не имеет. Даже медных пуговиц, которые рядами были нашиты на кителе любого урядника, Госторг не привозит. Отсюда: Госторг хуже купца. Госторг от большевика, купец был от царя, а значит и большевик хуже царя.

Вот вам политическое значение медной пуговицы, не говоря уже о набрюшном блюде хабиэ Варвары.

\* \* \*

Пробираемся к Бугрину. Едем кружным путем, так как агент хочет показать нам гордость Госторга — песцовое хозяйство. Вернее, бышью гордость. Теперь хозяйство это уже ликвидировано, или, точнее выражаясь, — ликвидировалось.

Снова лод ханом, как шпалы, мелькают кочки. Сегодня тундра выглядит еще более неприветливо, чем прежде. Сквозь частую сетку мелкого, как туман, дождя, далекие волны низких холмов кажутся еще более придавленными. Точно расплывшийся от сырости студень. Мох еще более однообразно-безотрадным ковром устилает равнину. И только жалкий пюнг, тринадцатисантиметровая ива, нарядно засленела своими отполированными дождем жесткими листиками, такими жесткими, точно они искусственные, из жести сделанные.

Час за часом, километр за километром, тряские кочки, прыгающие крупы оленей, монотонно из стороны в сторону покачивающиеся кусты рогов.

От нудно морозящего дождя, от ржавых брызг, обильными фонтанами летящих из-под копыт оленей, малица намокла. Сырой мех узкого воротника прилипчиво джекает шею. Обшлага рукавов сделались холодными. Я втянул руки внутрь малицы и грею их на животе. Все так противно мокро и скользко кругом, что нет никакого желания

вытаскивать из чехла автомат даже ради вырывающихся из-под самого хана куропаток. Только собаки, на которых шерсть обвисла длинными мокрыми клочьями, неумоимо носятся за курочками, искусно отводящими их от гнезд.

Начинаю клевать носом. Николай Летков то-и-дело с беспокойством оглядывается на меня со своего хана, видимо, боясь, что, заснув, я вылечу на какой-нибудь кочке. Мы едем быстро. Как-будто и километры стали длиннее. Даже самоеды не с таким азартом хватаются за каждую остановку; уж больно противно слезать с хана. В движении как-то меньше замечаешь шлякоть.

Но вот мы выбрались на широкое плато, поросшее пюнгом, с большими плешинами какого-то серого, точно выгоревшего мха. Здесь была расположена часть песцового хозяйства. Там и сям разбросаны игрушечные, в метр вышиной, избушки. В эти избушки песец должен был приходить плодиться. Игрушечные домики тянутся далеко в тундру. Слева стеной вышиной в человеческий рост сложены деревянные ящики-клетки, в которых 218 песцов были привезены на остров с материка для завода. В этих же ящиках, когда они были сложены с песцами на берегу, часть зверей передохла, так как для них не была заготовлена пища.

До приезда этих двухсот восемнадцати песцов самоеды на острове свободно охотились на местного песца. Этот промысел в достаточной степени развит и пользуется большой популярностью среди туземцев, так как является единственной возможностью восполнения экономических прорех, порождаемых недостаточным развитием оленеводства и неправильной постановкой использования его продуктов.

С появлением же «казенных» песцов всякий песцовый промысел на острове был воспрещен, и Госторг стал выплачивать туземцам денежную компенсацию в возмещение убытка, причиняемого их хозяйству этим вынужденным бездельем. Но самоедам это очень не нравилось.

Для пропитания прибывших песцов на остров было завезено и переброше-

но на оленях вглубь тундры 1.200 бочек рыбы и 300 бочек шквары. Были построены большие избы кормушки ценою, кажется, в 500—600 рублей каждая.

После нескольких часов езды на берегу тихого, опоясанного камышами озера мы увидели такую кормушку. Она меньше всего похожа на дом для песцов, — это высокий просторный амбар, сложенный срубом из толстых бревен. Во всяком случае этот амбар куда просторнее и лучше построен, чем жилище бугринских колонистов. На сто шагов от амбара слышен тошнотворный, удушающий запах гниющего мяса, — это оленина, заготовленная в свое время для песцов. В этой избушке песцы должны были получать питание в виде местной оленины и привезенной с материка рыбы и шквары — вполне достойное их высокого положения пушистой валюты.

Но как-то так случилось, что в один далеко не прекрасный день песцы оказались на воле в тот самый момент, когда к хозяйству с'ехали самоеды. Самоедские псы, не приученные к братскому сожительству с такой лакомой дичью, а, напротив, в большинстве своем натасканные в песцовой охоте, припились с завидным рвением ловить госторговских песцов, и я не очень верю тому, что самоеды старались удерживать песцов от расправы с привозными песцами — причиной лишения их дохода зимнего промысла.

Короче сказавши, часть песцов была изворвана собаками, остальные разбежались по тундре, забыв про заботы Госторга, уютные домики и грандиозные кормушки, построенные по последнему слову звероводческой техники.

Запасы оленины, шквары и рыбы остались без употребления. Вывалить все это в тундре на с'едение одичавшим песцам местная администрация не решилась, и длинные ряды бочек по сей день продолжают стоять в неприкосновенности, наполняя окрестности удушающим смрадом.

Самоеды же снова принялись за излюбленную охоту и во славу Госторга промышляют песца. Добытого зверя они сдают Госторгу же. Есть надежда,

что потомства разбежавшихся песцов хватит еще надолго для поддержания туземного промысла.

По словам аборигенов, Госторгу заетя с песцами стоила 100 тысяч рублей. 200 песцов — 100 тысяч. Пятьсот рублей за песца. Если отбросить приплод, то, покупая 200 песцов по пятьдесят рублей (высшая ставка), Госторгу хватит, вероятно, еще на год работы по выкупу своих собственных песцов с уплатой по гривеннику за затраченный рубль.

\* \* \*

Мы никак не можем уйти с Колгуева: шхуна, пришедшая за нами, восьмой день все разгружает товары для фактории. Собственно товаров-то всего на несколько часов разгрузки, но, пользуясь полой водой, удается только раз в сутки забросить на берег карбас с грузом на буксире у моторного катера. Пока из карбаса матросы перетаскивают кладь на берег, бродя по колено, а иногда и по пояс в воде, катер успевае обсохнуть. Ждут следующей воды, чтобы вернуться к боту.

Пользуясь нашим вынужденным гостеприимством, к нам продолжают приезжать самоеды.

Вчера они приехали целой гурьбой. После двух часов сидения, когда за волнами сизого дыма «Пушки» их лица стали казаться неверными призраками и в ушах начало стучать, как при подъеме на большую высоту, — выступил один из самоедов от имени всех гостей.

— На карточку сниматься мозна?

— Отчего не можно, можно.

Мы решили, что они хотят получить на память группу. Черепанов старательно наладил на крыльце фотографический аппарат, долго рассаживал самоедов в группу и сделал два снимка. Через час гостям была продемонстрирована готовая фотография. Эффект получился совершенно неожиданный. Фотография быстро обошла весь круг гостей, при чем некоторые самоеды едва удостоили ее своим вниманием. Через несколько минут она вернулась к оторопевшему Черепанову.

— Что, разве карточка нехороша?

— Задем не хороса? Хороса... хороса. Хороса картоцка. Ты, парень, картоцку с собой сабирай, показы больсому начальнику, какой самоетька народ.

— А вам не надо карточку? Я для вас сделать могу.

— Наса картоцка не нада... наса...

Не дослушав, я ушел к себе в комнату. Через десять минут к нам пришел бедняга Черепанов.

— Слушайте граждане, до чего ж это дойдет, если дальше так пойдет, — ведь они вместо карточки...

Блужштейн не дал ему договорить:

— Пошлите их ко всем чертям — кумки не будет, — он повернулся к стенке на куче оленьих постелей, оставив Черепанова в положении железа между молотом и наковальней.

\* \* \*

Глубокая ночь; почти утро. Мы не спим потому, что спать не на чем. Скоро сутки, как все наши вещи сложены в ожидании отъезда на судно. Фансбот со шхуны давно пришел, но лежит обсохший на песке. Вода отошла от него по крайней мере на 10 метров.

Самоеды ушли. За столом один только седой, согбенный Прокопий. Я делаю запись в дневник, Прокопий молча колупает ногтем этикетку круглой жестянки из-под кофе. За работой я совершенно забыл о Прокопии. Только когда глаза устали от неверного серого предрассветного освещения, я оторвался от тетради и увидел сидящего против меня старика. Часы показывают 4 утра — почти два часа как я сел за дневник.

— Прокопий, ты все еще здесь?

— Тесь.

— Чего же ты не едешь? Небось, твоих никого уже давно нет?

— Нет.

— Так чего же ты сидишь-то?

— Мне эта нада, — протянул он мне пустую жестянку, — твоя подари.

— Бери, сделай милость.

Он нерешительно повертел в руках банку.

— А закрыська нет?

На банке не было крышки. Кажется, ее пустили вместо блюдечка для воды

привезенному нами с материка котенку, первому котенку на Колгуеве.

— Не знаю, Прокопий, у меня крышки нет.

— Мозна поискать?

— Ищи, если хочешь.

Глотнув холодного чая, я снова уселся за дневник. Поднимая глаза от тетради, я каждый раз видел фигуру ползущего на короточках старого самоедина. Он облазил все углы в наших комнатах, перетряхнул все вещи, разгреб кучу мусора, в изобилии накопленного во всех углах. Два часа Прокопий мозолил мне глаза из-за дрянной жестянки, а теперь еще не дает покоя с крышкой. Это начинало меня раздражать.

— Слушай, Прокопий, брось, пожалуйста, шарить, ты мне мешаешь.

— Какой месай?.. закрыська нада.

— Да на что тебе крышка-то?

— Я сюда банка каминь класть стану, ребятка играть даю.

Чтобы привести ребятам в чум погрешку, старик, не жалея колен, лазит по всем углам! Я снял крышку с другой банки, наполненной кофе, и отдал крышку Прокопию.

— Пасиба, парень, ребятка многа смеяться будут. У мой анцы ебцана мьяла ацкы<sup>1)</sup> есь, играца нада.

Заскорюзлые пальцы Прокопия с исковерканными ревматизмом суставами с трудом справляются с крышкой. Ногти на пальцах темно-синие, почти черные, выпучены как большие круглые пуговицы.

По неприветливому, всегда насупленному, скуластому лицу пробегает усмешка и застревает где-то в глубоких морщинах, бесчисленными рубцами избородивших щеки и лоб.

Мне хочется воспользоваться хорошим настроением старика и выяснить у него то, чего мне не хотели сказать в тундре.

— Слышь, Прокопий, скажи-ка мне правду, есть у вас боги?

— Есть, парень.

— Какие?

— Микола есь, Егорь есь, Спаса есь, богородыся Марья есь.

1) У моего сына ребенок в люльке есь

— Нет, а ваши самоедские. Вашей работы, изображающие духов: Нума, Аа там?..

— Есь, парень, и васа тозе есь. Только нас негодные с советскими равнянца. Васа советка богородыся куды как ладна сработана, а насы плеха. Мы сам и делал... ну какой мы мастер икона делать. Наса икона худой есь. Васа икона куда как хороша. Наса общества парень агента и Сидельника просить будя самоетька икон нам у центру уделать, стобы такой же хорошой был, как васа, советка богородыся.

Я не смог дослушать Прокопия. На крыльце послышался стук тяжелых морских сапог и дверь с треском и грохотом распахнулась, ударив со всего размаха об стенку.

Пришел фансбот, чтобы снять нас с острова Колгуева.

Я в последний раз вышел на заднее крыльцо больницы, глядящее в коричневые просторы колгуевской тундры. От крыльца, направляясь вглубь острова, удаляется хан.

Там далеко, за прикрытыми серой мутой постоянных туманов синими холмами, укрылись темные конусы чумов.

Передо мной пропитанные дымным смрадом и запахом дымящейся крови проходят образы этого осколка тундры, заброшенного в холодные волны Ледовитого моря: спящие с собаками дети, истекающие кровью олени; старые гурманы, едящие яички бьющихся перед

ними в путах животных, и юные лакомки, скоблящие ножами истекающие кровью бархатные рога; медное блюдо на животе хабинэ Варвары, и надо всем этим одно несносное слово «кумба».

Хан Прокопия исчез в овраге. За пазухой у него побрякивает кофейная банка и в голове его копошится мысль о том, что если большевику поручить делать богов, он делает их так же красиво, как делает деву Марию. А с богами не так уже плохо жить. Боги делают так, что Сидельник и агент поссорятся еще больше, тогда можно будет еще поднять поденную плату и, набравши побольше товару в долг, попросить, чтобы долг списали. И, может быть, придет на остров еще один начальник, самый большой из самого что ни на есть большого исполкома, больше агента и больше Сидельника, а может быть, сам большевик и тогда... Прокопий не знает, что будет тогда. Надо спросить у шамана.

Никто на Колгуеве не знает, что будет тогда, когда придет большевик. Большевик еще не был на острове. Ни Прокопий, ни шаман, ни агент, ни даже сам большой начальник из большого исполкома Сидельник не может сказать ни того, что будет с островом, ни того, что будет с ними самими, когда придет большевик.

Баренцево море.

Моторно-парусное судно «Новая Земля»  
Август — сентябрь 29 г.

### 3. КАК РОЖДАЕТСЯ КОЛХОЗ

Мих. Досов

#### Кусочек истории

Совсем недавно пустоваловские, отрожинские, кутулукские, подгорновские крестьяне (Самарского округа) мотались на трехполке. Веками каждый год всей деревней выезжали в поля. Там, вымеряя палками-саженями землю, делили ее. Каждый двор боялся получить кусок неудобной или худшей земли — супеси, суглинка. Зевластые мужики колыями отстаивали каждый клочок...

Вот и кроили землю на полосы, клинья — на махонькие заплатки...

Их здесь, этих крошечных клиньев и полосок, на каждом поле было великое множество — от 3 до 10. Загоны по 20—30 метр. Расстояние между полосами и полями было от 1 до 15 км. Примерно на 100 дворов было до 1.000 меж. Если мы возьмем в среднем 8—10 полосок, то это означает, что крестьянин должен был десять раз переехать с полоски на полоску, десять раз перевезти плуг, борону, теле-



гу, фуру. Вот на такие пустые поездки у многих крестьян уходило до 4 часов в день...

А у подгорновских поля были за 15 километров от поселка... Месяцами жили в поле, залененные грязью, голодные, усталые.

\* \* \*

Не у всех крестьян поля шумели рожью, пшеницей, просом и овсами... Приблизительно 30 процентов бедноты не могли обрабатывать свою землю — у многих не было лошадей, нехватало сил и средств.

Тогда заброшенная земля зарастала сорной травой. А беднота голодала. Одна часть шла на отхожие заработки, другая в батраки, третья попадала в лапы кулаку.

Так и жили по-дедовски: кос-как вспахивали землю. Из 2 гектаров засеивали осьминники. Бросали в землю тощее, засоренное зерно и глушили поля овсяком, куколом, пыреем...

Межники еще уменьшали урожай — они были рассадниками сорных трав и глушителями хлебов.

Молотили цепами.

Косили косой...

### «Н о т»

В 1925 году в Пустовалове появился трактор. 11 середнячко-бедняцких дворов организовали маленький колхоз. Назвали себя «НОТ», что означало «Научная организация труда».

Трактор дался с кровью.

Чтобы его получить, надо было внести рублей 800 денег. Собирали их так: кто продал последнюю корову, кто лошадь. А один ружье с патронташем... Сложились, и в 1926 году получили трактор. До этого послушали агронома — о землеустройстве, о шестиполье, о глубокой вспашке, чистосортных семенах, машинах и коллективизации.

И вот «нотовцы» въехали в поле на тракторе.

Народ бросился за железным конем.

— Посмотрим, что будет...

А конь фыркал, вздрагивал, тутукал

и... упирался... «Нотовцы» еще не научились управлять машиной...

Кулаков обжигала радость:

— Не идет трактор! Слава богу...

Укали, гоготали. Поддерживали их и остальные — те, что ходили в тяжелые годы к кулакам за хлебом...

Еще хуже стало на пашне... Там, на крошечных неземлеустроенных полосках трактору не повернуться — все равно, что океанскому пароходу в озере или паровозу на игрушечной дороге... То и дело поворачивается, переезжает с клочка на клочок, терлет зря много горючего... Наконец — встал...

Ржут крестьяне:

— А вы кнутом ее по бокам-то, кнутом! Ха-ха!

— Ха-ха-ха!

— С машиной, конечно, хорошо: ни пить, ни кормить ее — работает...

— Ха-ха-ха!

— Народ! Разойдись, Христа ради, а то выстрелит еще.

Это намек на проданное ружье...

Опешили «нотовцы», чуть не плачут...

Некоторые храбрятся:

— Подождите, подождите...

— Можно и подождать, — поддевали крестьяне. — Как бы без посева с машиной-то не остаться...

Долго трогали «нотовцы» у трактора руль, рычажки, вертели ручку. Так ничего и не вышло — насилу трактор довели до села.

В селе их встречали.

— Ну, как: корова-то много надоила молока?

— Го-го-го!

— А вы за рога его, за рога!

Это опять намек на проданную корову.

Потом к председателю «Нота» пришел брат и со слезами уговаривал его:

— Что ты связался с этой железкой, пропадете с ней. Бросайте ее скорей!

Некоторые «нотовцы» собирались бежать.

Другие упирались, не сдавались:

— Потерпим немного. Может, что-нибудь и выйдет. Не может же быть. У других же выходит.

Выехали опять в поле. Трактор работал, но на малых полосках неуклю-

же крутился, жрал уйму горячего, перееждал с поля на поле, с загона на загон.

— Выгорит дело, — успокаивали себя «нотовцы». — Дело пойдет. Только на таких полосках могила будет нам.

«Нотовцы» поняли, что надо земле устроиться — перейти на шестиполье, и мелкие раздробленные клочки свести в одно поле и в одно место.

Раскидывали в голове планы своей работы, подсчитывали урожай. Думали, что очень просто сделается.

А когда стали просить крестьян дать «нотовцам» в одном месте землю, те уперлись:

— Ни за что! Никто у нас никогда не жил так, а вы хотите? Нам в разных полях, а вы в одном? Мы на трехполке, а вы на шести? Ни за что!

Так и не дали.

Так «нотовцы» и пахали трактором свои полоски. Когда трактор ломался — кулаки радовались. Чуть ли не празднество хотели открыть всем селом. Молебствие хотели заказать.

Они туго знали свое дело.

Понимали, что трактор и колхозы подрезают могущество кулака и вышибают у него экономическую базу.

Если земля уйдет в колхозы — что же будет арендовать кулак?

Если вся беднота уйдет в колхозы — кого же будет эксплуатировать кулак?

Если не будет пустых бедняцких полосок — как же их кулак будет засеивать?

— Если колхоз будет достаточно снабжать бедноту хлебом, — как же кулак будет кабалять бедноту и за проценты заставлял отработывать десятину.

Чуял кулак свою гибель и действовал с двух концов: с одной стороны, создавал свои колхозы, в роде «Стандарта», с другой — вел агитацию против колхозов.

А темная беднота не знала, что делать. С одной стороны, еще велик авторитет кулака. С другой — не видя ре-

альных результатов от колхоза, не решаются идти в него или поддерживать его. И поддерживали кулаков: вместе с ними смеялись над колхозниками. Вместе с кулачем не давали «нотовцам» нарезать землю. Вместе с ними орали против колхозов.

\* \* \*

На будущий год весной «нотовцы» подняли пар. Это было новое дело — ранний пар.

Насмешки стали утихать: вспашка оказалась глубокой и хорошей — лучше кулацких единоличников. И вспахали гораздо раньше всех.

Приходили кулаки и хмурились — хорошо обработана пашня.

А в августе началось удивление.

«Нотовцы» получили в кредит сложную молотилку. Живо обмолотили свой хлеб.

Приходили крестьяне и удивлялись:

— Вот это дела. Это тебе не цеп.

Год тот был мокрый, непрерывно хлестали дожди. У крестьян вставала мольба — ждали по нескольку дней, пока просохнет ток. А там опять дождь... И опять стояли крестьяне и дрожали — созреет хлеб.

А молотилка жарила во-всю: тут же после дождя гудела и молотила — ей не надо ждать, пока просохнет ток.

Тогда и пустоваловские и крестьяне окрестных деревень повалили к «нотовцам»:

— Сделайте милость, смолотите и наш хлеб, а то погниет весь.

День и ночь заработала «нотовская» машина. Давала она по 17 тонн в день.

В обмолотный сезон заработала чистых 2.000 рублей.

Для крестьян это было убийственное доказательство.

Дело окончательно решилось: трактор и молотилка завоевали право и заслужили уважение крестьян.

Но не совсем — 2 года крестьяне не давали «нотовцам» земле устроиться. Два года пахали каждый свою полоску — по полгектара...

Кулачье еще сопротивлялось:

— Пусть их потопчут, поломают трактор — не жалко.

«Нотовцы» теперь не унывали. Беднячко-средняя часть потянулась к колхозникам со всех сторон. Приезжали за десятки километров, приглашали к себе молотить.

Так начался раскол среди крестьян: одна часть потянула в одну сторону, другая — в другую.

### «П о б е д а»

Одиннадцать пустоваловских бедняцких дворов. 65 душ. На всех восемь лошадей и восемь коров.

Машин никаких.

Даже плугов нет.

Все это бывшие рабы.

Все они были в работниках, в пастихах, в кулацкой кабале. В «Победу» вошли те, у кого пустовала незасеянная земля, а хозяева ходили в работниках или были в кабале у кулаков.

Они тоже по несознательности поддерживали кулаков против «Нота» и тоже ржали над ними и радовались поломке и каждой неудаче трактора.

Потом перестали смеяться. В пюне ходили на «нотовские» поля, срывали колос и считали зерна — сравнивали со своими колосьями: у них 15—20 зерен, у «нотовцев» 40—50.

— Другой коленикор. Пожалуй, бросать надо ковырялку да трехполку и итти в колхоз.

— Трактор и нам бы...

Уходили домой, рассказывали. Все знали свои урожаи. Они и тогда, в 26—27 годах, были такие: кое-как ковыряли землю, сеяли осьминники и собирали колос-выродок — в 15—20 зерен.

Знали, а не поддавались: дело новое, непонятное.

Спорят, чужие слова разносят:

— Иди, иди в колхоз — без штанов и останешься...

— Хлеб по карточкам будешь получать.

Потом поняли — трудно в одиночку подняться... Снизят налог... Тогда можно наладить свое хозяйство... подняться...

Откололись одиннадцать дворов, 65 голодных душ.

В 1927 году организовали колхоз и назвали «Победа». 11 дырявых хозяйств.

Пахать — горе.

Жать — горе.

Молотить — горе.

Отвели им кусок в 68 гектаров.

Раздобыли «побединцы» два старых плуга.

Поехали на своих клячонках пахать.

И не осилили даже своей наделной земли. Трудно было от осьминников перейти к гектарам. Вместо 68 гектаров осилили... 34.

А рядом «нотовцы» с треском продают трактором землю. Они успели всахать не только свои наделы, но осилили даже арендованный кусок.

Встают у «побединцев» клячонки. Не поднять им на восьми лошадях 68 гектаров.

Крестьяне и тут смеются. И зовут не «Победа», а «Беда».

Вскоре в Пустовалове организовалась еще артель — «Красный Пахарь». 13 дворов, 68 едоков. Состав середнячко-бедняцкий.

В 1928 году обе артели получили в кредит по трактору.

В этом же году «Нот», «Победа» и «Красный Пахарь» переходили на новое землеустройство — ввели шестипольный севооборот.

Вскоре было создано кустовое объединение.

### М о т н я

В 1929 году было уже 7 колхозников. Из них-то и начали создавать один большой колхоз — «Вперед».

В колхоз предполагалось втянуть окружные села: Больше-Мальшевку, Куртудук, Куртамак, Грачевку, Беловку, Тростянку.

Агитировали колхозники. Не спали и кулаки: они стращали барщиной, пуркой и пр.

И пошла мотня по селам: ругаются, спорят крестьяне — итти или не итти в колхоз?

Каждый выкладывает свое:

— Иди, у тебя и отберут все: и лошадей, и корову, и избу.

— Нынче я молоко-то сколько хочу пью, а тогда стаканами будут выдавать. Вот и жди, когда поднесут, всех детей сморят.

— Вам хорошо, чертям, орать: у вас по три лошади, по две коровы, и плуги.

сеялки, а у меня — бык начхал. Чего я голыми руками сделаю?

— Факт! В колхоз надо итти.

— В колхоз!

Больше всего кричали женщины:

— В колхоз? Это штоб земля обшая была, общие коровы? Ну, и иди, чорт с тобой, а я не пойду! Истинный бог, не пойду! Разведусь лучше!

Орал и Кутулук.

Он в 3 километра от Пустовалова.

Кутулукцы хорошо видели поля колхозников: здорово обработали. Знали: колхозам дают машины, кредиты.

Много раз правленцы колхоза ездили в Кутулук. До глубокой ночи до хрипоты спорили крестьяне между собой:

— Итти! — не итти!

— Итти! — не итти!

Мотня началась и среди самих колхозников.

К маленьким артелям-колхозникам они уже привыкли. А вот крупные формы колхоза их дугали. Здесь артели должны потерять свое лицо, свой инвентарь, свои артельные участки. Все должно быть ничье.

И тут в первых рядах женщины.

— Не надо нам этого! Раньше хоть осьминник, да свой был, а теперь десятины, а чорт их знат чьи. По-старому хотим жить.

Крепче всех держится Куртамак. Его уже с трех сторон обняли колхозные поля. Желтыми морями подкатили к самым избам куртамакским, а он не сдается. С одной стороны, колхоз «Сила стали» и Софьевская тракторная коконна. С другой — кротовский колхоз «Ленинский путь». С третьей — поля пустоваловского колхоза «Вперед».

Двадцать — тридцать тысяч обобщественных землеустроенных полей. Как в тиски, зажали они Куртамак — некуда ему податься. А он, как зверок, выглядывает из норки и прячется.

Не идет Куртамак в колхоз.

Село — крепкохозяйственное.

После больших споров в мае 1929 г. колхозники слились. Образовали гигант «Вперед». Вскоре влился и Кутулук — 95 дворов и остатки Пустоваловских единоличников — 31 двор. После слияния колхозникам прирезали бес-

платно 1.475 гектаров госфондовой земли. Таким образом, «Вперед» имеет 6.000 гектаров земли.

На карте куски колхозников разной величины прислонялись один к другому.

В 1929 году артели наполовину жили своей жизнью, наполовину колхозной. Урожай каждой артелью собирался отдельно в свою пользу, хотя машины уже общие, и работают они по нарядам правления «Вперед».

В то же время артельцы, как члены колхоза, уже выполняют и «Впередовскую» общественную работу.

Весенняя запашка — пар и осенняя вспашка — зябь производятся общими силами колхоза «Вперед».

Колхозники объединили весь сельскохозяйственный инвентарь, тракторы.

Колхоз имеет: 15 тракторов, 4 сенокосилки, 19 жнеек, 9 молотилок, 89 борон, 42 плуга, 30 лушильников, 10 сеялок, 2 мельницы, 2 кузницы, 5 триеров и проч.

Дворов около 300. Едоков — около 1.400.

Весь инвентарь оценивался и вносился в колхоз в виде пая.

Находятся в личном пользовании колхозников: дома, коровы, птица, овцы, огороды.

### Генеральное землеустройство

В колхозе «Вперед» новая конфигурация — новая форма полей.

Вот карта землеустройства.

Здесь нарезаны участки первых — карликовых артелей. Каждая артель отделена линией. При землеустройстве стремились к тому, чтобы колхозные поля были наиболее округлены, — то есть чтобы у них не было вклиниваний, ответвлений, загибов, чтобы не было раздробленности и удаленности от поселков. Чтобы земля была разбита на многополье.

В этом заключается землеустройство.

Кроме этого, стремились к тому, чтобы сами колхозы не разбрасывались по полям, а собирались в одно место.

На карте они прилеплены один к другому.

Снова шагают землеустроители по колхозным полям. Опять переустраивают землю. Теперь надо произвести генеральное землеустройство, — объединить земли всех артелей и разбить на новые поля.

Спрямяются границы полей. Самы поля округляются и приближаются к поселку. С этой целью у Куртамака отрезано 400 гектаров земли и передано колхозу. Куртамаку же дают дальнюю от колхоза, но ближнюю от Куртамака землю.

Таким образом земля собирается в одном месте.

До спрямления границ дальнейшее расстояние колхозных полей от хозяйственной базы было в 8—9 километрах. После спрямления стало в пяти с половиной километрах.

Разбивка на экономии, на хозяйственные участки производится для того, чтобы удобнее и полезнее обрабатывать землю и лучше использовать рабочую силу.

Что хорошо было при 100 гектарах в карликовых колхозиках, то не годится на площади в 6 тысяч гектаров.

Там площадь разбивалась на поля по 16 гектаров. Работал один трактор. Теперь при громадной площади нет смысла оставлять 16-гектарные поля и гонять по ним трактор. Лучше нарезать новые, более крупные поля и пустить по ним сразу несколько тракторов.

Кроме этого некоторые колхозные поля находятся от селений в 9 километрах.

Очень нерационально разбрасывать на такое расстояние рабочую силу.

По этим соображениям весь шеститысячный массив делится на несколько экономий с таким расчетом, чтобы земельная площадь и рабочая сила распределялись наиболее равномерно и выгодно между населенными пунктами.

Шесть тысяч гектаров — это такой массив, которым трудно управлять из одного центра. Хозяйство настолько обширное, что его надо разбивать на хозяйственные базы. Эти базы и будут называться экономиями. Их будет 3.

У каждой экономии будет своя разбивка полей и свои севообороты.

Массивы общей площади каждой экономии будут в полторы-две тысячи гектаров в каждой. Они в свою очередь разбиваются на поля в 100—300 гектаров.

Севооборот будет шести- и двенадцатипольный.

Разбивка на хозяйственные базы дает большую экономию — сбережет труд и увеличит производительность.

На маленькой площади при 2-3 тракторах должен быть один старший тракторист. На большой площади старший будет не при 2-3, а при большем количестве тракторов. При малой площади и многочисленности полей надо возить горячее, масло, воду на несколько полей. А при теперешней разбивке полей — на одно более крупное поле.

При малых полях по пашне пойдет один трактор. Он будет то и дело переезжать с поля на поле. При крупной площади пойдет колонна тракторов и значительно сокращаются переезды. Для одного трактора не будешь строить ремонтную мастерскую на поле, — трактор повезут в село, в мастерскую. При колонне тракторов в поле можно поставить мастерскую и не гонять трактор из-за каждого пустяка в кузницу.

Осенью колонна тракторов подняла 2300 гектаров зяби. Перережут старые границы колхозиков и единоличников и смешают всю землю. Вскоре маленькие отдельные островки пропадут на карте — они утонут в шеститысячной, вновь устроенной площади колхоза «Вперед».

### Колхозные порядки

В колхозе такой распорядок. Вступающие крестьяне вносят пай — 100 руб. с человека и 10 руб. вступительных.

Паи могут вноситься деньгами, сельскохозяйственным инвентарем, лошадьми и прочее.

Это — первоначальные средства колхозов.

Дальнейшие средства — кредиты, подсобные предприятия и реализация урожая.

Доход (урожай) распределяется следующим образом: часть идет в запасный капитал, часть в неделимый. 30

проц. от условно-чистого дохода идет на нетрудоспособных едоков и 70 проц. на заработную плату.

Размер платы зависит от будущего урожая. Поэтому плата в этом году выражается не в определенной сумме, а в условных единицах. Например, колхозники условно получают 1, 1½, 1½ единицы — в зависимости от квалификации.

Но на руки ничего не получают.

Какую сумму содержат эти единицы, будет известно в конце будущего года... Когда подсчитают урожай и рабочие дни. Из урожая высчитывают расходы — на едоков, разные отчисления, и чистый доход делят на число проработанных дней. Полученное от деления и будет трудовая единица, то-есть заработная плата.

На постоянном жалованьи находятся: счетовод, агроном, мельник и сторож. Счетовод получает 80 рублей в месяц. Агроном — 150 руб. Председатель правления и его зам получают полторы трудединицы. Но сейчас до будущего урожая живут на авансах в 50 и 80 рублей в месяц.

Труд, норма выработки раскидывается по дворам. Допустим, что пришлось на каждый двор сто трудовых единиц, — их надо выполнить за положенное время. Сто трудовых единиц накладываются одинаково, независимо от количества работников в семье.

Хотя бы у одних было на 6 человек 4 работника, а у других один. Они должны и выработать и заработать одинаково...

Колхоз предполагает, что при таком распределении не будет обогащения одних и обеднения других.

Этот вопрос на собрании совета вызвал горячие и долгие споры. Одни доказывали, что у шести человек семьи при четырех работниках естественно понижается норма выработки и понижается заработок. Они должны жить впроголодь и будет пропадать рабочая сила. От этого будет падать производительность труда.

Другие доказывали, что один работник из семьи в шесть человек никогда не справится с такой нормой, которую должны выполнить четыре человека.

Поэтому одному работнику в семье из 6 человек норма должна быть не сто, а 25 единиц. Иначе работник замотается на-смерть или не будет выполнять нормы, и таким образом его семья будет жить на много хуже той, где имеет-ся четыре работника.

— А кто обязан обрабатывать твоих детей? — отвечали таким.

— А мы — двужильные что ли? — возражали эти.

Вопрос несколько раз переголосовывался и хотя принят, но остался для многих неясным. Едва ли это постановление приведет к хорошим результатам. Работу необходимо раскладывать не по дворам, а по работникам.

Недавно приняты нормы выработки.

Определено, сколько в день надо вспахать, сбороновать и засеять, сжать, свозить копен, обмолотить и прочее.

Нормы принимали туго. Даже актив-совет — и тот боялся, как бы не пере-работать на колхоз... Старались сделать нормы маленькими...

Долго спорили о роженицах.

В правилах внутреннего распорядка предполагается крестьянку освобождать до родов месяц и после родов месяц...

Крестьяне вытаращили глаза и долго не понимали: всерьез предполагают члены правления этот пункт или шутя.

— Два месяца родить?! — восклицали колхозники. — Да вы что? У нас через три дня идут жать, а вы — два месяца... Другая еще лучше — родит и тут же за работу...

Приняли неохотно, с натугой, и то после того, когда доказали, что это полагается по кодексу законов о труде...

Самый труд распределяется так: рабочая сила разбита на группы. При каждой группе имеется уполномоченный — староста. Он сам работает на поле и следит за работой. Старосты подают ежедневно правлению сведения — куда сколько и какой силы требуется. По этим требованиям агроном совместно с завхозом каждый вечер составляет наряды: туда, таких-то, столько-то. Старосты же подают сведения — кто явился на работу, кто нет, где что выполнено и т. д.

### Строительство

На устроенной земле колхоз предполагает развернуть строительство. Делают запрудку плотины для мельницы. Самую мельницу переоборудуют. Вместо жерновов будут ставить валцы.

Будут строить тракторные ремонтные мастерские, сараи для машин, общественный свинарник. Уже куплены породистые английские свиньи. Надо сейчас же спешно строить общественные конюшни. Лошади уже обобществлены — их надо переводить в колхоз.

Еще более спешно надо строить дома для коммунаров. Им положительно негде жить. Для домов уже свозится лес. Дома для коммунаров — это только начало большого дела. У колхозников уже разработан проект колхозного Городка-сада.

Недавно неподалеку от Пустовалова землеустроители и техник отводили под городок площадь — промеряли ее, разбивали на участки.

В Пустовалове будет только индустриальная база — тракторы, мастерские, сарай, склады горючего, весь сельскохозяйственный инвентарь и проч. А жилые здания перенесутся в Городок-сад.

Строиться он будет в одном километре от теперешнего центра.

Размер площади городка 16×18 гектаров. Застраиваться будет восьмиквартирными домами. Рассчитаны они на 300 семей. Всех домов будет 42. В них поместится все население колхоза. Даже останется избыток на прирост.

Вокруг домов по всей площади будут улицы с древесными насаждениями. Внутренняя часть площади разобьется на пять участков. Средний участок займет форму квадрата в 2 гектара. Здесь, в центре, должны быть клуб, окруженный сквером, по углам сквера четыре здания — столовая, кооператив, школа и правление колхоза.

Вся эта часть будет окружена улицей шириной в 30 метров с древесными насаждениями по бокам. Перпендикулярно к улице идут другие. Они разбивают жилищный массив на четыре части. Каждая часть будет похожа на букву Г. На этих массивах и будут жи-

лые дома 16×30 метров, то-есть каждый дом в 8 квартир будет иметь 480 квадратных метров с усадебным участком на (40×50) 2.000 квадратных метров.

Фасады домов будут обращены к улицам.

Разрыв дома от дома (прогал между домами) по фасаду должен быть 21 погонный метр. Прогал заднего фасада дома от рядом расположенной усадьбы и заднего фасада дома этой усадьбы будет 58 погонных метров.

Таких усадебных мест будет — 42, то-есть 42 квартирки с усадьбами.

Дома будут одноэтажные с площадью квартир от 32 до 52 квадратных метров для одного семейства.

Перед домом и сзади его должен быть садик. Сзади будут — погреб, дровяник, помойка и уборная.

В углах жилых усадеб остаются четыре жидких участка. Их можно использовать под ясли, детские площадки.

В городке будут общественные бани, прачечная и хлебопекарня.

Строительство рассчитано на 10—15 лет.

Главная задержка строительства из-за денег.

Средств колхозникам надо очень много.

На строительство только одного городка надо полтора миллиона рублей.

А ведь предполагается еще строить подсобные предприятия — кирпично-черепичный завод, масло-сыроваренный завод, электростанцию и проч.

Сюда будет переливаться излишняя рабочая сила, которая освободится благодаря машинам.

Строительство очень большое, а средств в колхозе нет.

В общем сейчас колхозники переживают трудный период.

### Муки колхозные

Когда в газетах дают голые цифры роста колхозов, подучается очень хорошо: площадь увеличилась на столько-то, дворов стало столько-то, обработка — машинная, строят то-то и то-то, все гладко, все хорошо. Между тем это совсем не так.

В муках рождаются колхозы.

В их внутренней жизни много недостатков, беспокойства, трений.

Колоссальный размах колхоза «Вперед» создает массу трудностей. 300 дворов, 1.400 едоков, 6.000 гектаров земли, 15 тракторов, 360 лошадей, громадное количество сельскохозяйственного инвентаря, новая форма обработки земли и проч., все это совершенно ново и незнакомо.

Такой размах требует новых методов работы, нужны точные производственные планы, четкое регулирование рабочей силы, технические знания, городская поворотливость, ясные перспективы и большой политический такт.

Крестьянам, — руководителям колхоза, — привыкшим к своей полоске, избушке, коровке, личному карликовому хозяйству, трудно сразу перестроиться и приспособиться к коллективному широкому хозяйству, к новому машинному способу производства и новому управлению.

А в колхозе почти нет опытных организаторов и руководителей. Со времени организации колхоза прошло несколько месяцев и еще не было производственного плана.

Главная беда колхоза «Вперед» — нет денег.

К колхозу при его организации должны были перейти от кустового управления четыре тысячи рублей паевых взносов. Но так как куст задолжал, то из 4 тысяч 2.700 рублей удержали по векселям. И перешли к колхозу только 1.300 рублей. Они выдохлись моментально: нужно было на сельскохозяйственный инвентарь не менее 2.000 рублей, нужны запасные машинные части. Нужны деньги на оплату необходимых срочных работ. Надо строить тракторные мастерские, сарай, общественный свинарник. Сейчас надо неотложно строить общественные конюшни. На них требуется тысяч пять рублей.

Колхоз имеет одну доходную статью — мельницу. Она с августа по январь месяц должна дать до 5 тысяч дохода. Но на ее ремонт и запруду плотины надо затратить тоже пять тысяч рублей. Мельница может давать еще больше дохода, если ее переоборудовать, переделать на вальцевую. Тогда она будет давать в год не менее

25 тысяч дохода. Но на переоборудование также нужны большие деньги. Поэтому колхозники переход на вальцы оставляют до будущего года.

Таким образом, у них пропадает самая доходная статья.

Получили они 3 тысячи под контрактацию. Отпускают им 27 тысяч под строительство двух жилых домов. А только два этих дома обойдутся в... 80 тысяч рублей.

Нужно расширять ясли — не на что. Из 35 пустоваловских детей только 20 находятся в яслях. Теперь прибавились Кутулук, Отроги, Подгорный. Их детей некуда девать.

Перехватывают колхозники рублей по 50, 100, 150 денег и маются с ними.

День и ночь не спят: ломают головы — как и откуда достать денег...

У них из-за денег частые перебои. Особенно — недоразумения с крестьянами.

Дело в том, что крестьяне-колхозники за свою работу в этом году ничего не получают. Они работают за условные единицы под будущий урожай. Каков будет урожай, каковы остатки, — такова и расплата.

Эта злосчастная единица значительно губит дело. Крестьяне считают, что они «задаром» работают. Поэтому многие всячески стараются увильнуть от общественной работы.

Здесь дело осложняется еще следующим обстоятельством. В этом году колхозники — юридически единое общество с единой землей, машинами, с единой работой и единым урожаем. На практике оно раскалывается на двое и живет двойной жизнью — и колхозной и единоличной. Ведь до 1929 года, т. е. до того, как крестьяне объединились в колхоз, они жили мелкими артелями и единоличными хозяйствами. Уборка нынешнего урожая и распределение его пока еще производится артельно, то есть не сообща всеми, а каждая артель обрабатывает свой участок. Отсюда — каждая артель стремится поскорей собрать и обмолотить свой урожай.

Между тем строительство колхоза уже требует рабочих рук. Получается жесткий передел: с одной стороны, на-



до убрать свой урожай, а с другой — работать на колхоз. Здесь-то и начинаются недоразумения. Агроном и завхозьяством требуют ежедневно по нарядам выставлять рабочую силу на колхозную работу, а артельщики стремятся на свой участок и неохотно дают членов своих артелей.

Каждое утро в правлении при назначении работ спорят.

Бывает хуже: крестьяне по нарядам колхоза просто не являются. Там, на его участке крестьяне могут не убрать его долю хлеба. Или будут упрекать его, что он не вышел на работу и за него приходится работать другим. Расплатная же единица в колхозе не привлекает его. И все время так колхоз бьетса из-за рабочей силы.

Труддисциплина вообще в колхозе хромает. Крестьян никак не загонишь на запруду плотины для общественной мельницы, — подавай сейчас денежки. Лошади юридически обществлены, но фактически находятся временно у крестьян: нет общей конюшни.

И лошадишки неохотно едут на плотину. Не хотят работать за пустую «единицу».

На плотине был такой случай. Работали вообще плохо — нехотя. Только бы день прошел.

— А куда торопиться-то, — спокойно говорили крестьяне, — единица все равно идет.

Но вот правление раздобыло денег и предложило крестьянам работать сдельно — 5 копеек с тачки. Разница оказалась такая: за единицу они возили 40 тачек, а сдельно по 80!

Поденная плата — и та двинула работу: когда стали платить 1 руб. 25 к. в день, норма выработки сразу увеличилась.

Когда крестьян наряжают на работу, они прежде всего спрашивают:

— А как платить будешь? Единицу? Ну и работай сам за нее.

Торгуются, как-будто едут не в свой колхоз, а к частнику.

Индивидуальное чувство еще крепко сидит в крестьянине. Оно будет долго и постепенно вытесняться колхозом.

Местнические, артельные чувства часто проявляются не только из-за единицы и своего урожая. До мая месяца тракторы принадлежали артелям. Теперь они перешли в собственность колхоза. Но до сих пор из-за тракторов идут споры:

— На кой чорт ты мне даешь этот, не наш, трактор! Ты давай, который у нас был.

— Почему наш трактор пошел раньше в другую артель, а не к нам?

До сих пор на полях происходят скандалы и даже драки из-за неявки на работу. Каждый боится, как бы он не переработал за другого. Если не вышел на работу — заключит или оставят его часть не убранный. Если кто запоздает на работу — ждут его:

— Айда, скорей! А то работай тут за тебя!

Если тебя нарядили на колхозную работу — ты обязан оставить вместо себя кого-нибудь из членов своей семьи.

Из-за единиц была канитель и с трактористами.

Они совершенно оторваны от полевых работ своих артелей. Рискуют потерять там долю своего урожая. Здесь, в колхозе, они получают единицу, т. е. условную плату в счет будущего урожая. Другими словами, они теряют урожай в артели и ничего не получают в колхозе. Трактористы потребовали ежемесячных денежных авансов. Им выдали по 10—15 рублей авансом. Обещали выдавать ежемесячно, но едва ли правление колхоза сумеет выполнить свое обещание, — денег у их нет.

Многие артели против своей воли влились в гигант. Они хотели жить маленькой ячейкой. В большом коллективном хозяйстве их пугает огромный размах, новая организация труда, боязнь скандалов и организационных неувязок.

А, например, артель «Победа» влилась в гигант, хотя на деле была против этого слияния.

Это самая отсталая, самая боязливая часть колхоза.

«Побединцы» больше всех недовольны, больше всех консервативны и больше всех ругают правление колхоза, своих уполномоченных. Ругаются сами и даже дерутся...

Недавно избили одного члена своей артели за то, что им показалось, будто тот отлынивает от работы.

Не нравится им дисциплина — распределение работ из правления. Не нравится и само правление.

Я разговорился с одной крестьянкой в поле. Она кляла всех на свете, а меня посулила «огреть граблями вдоль спины». Меня заинтересовала причина такой озлобленности.

— Сколько вы раньше работали? — спросил я. — Часов восемнадцать?

— Ну и что же! — резко ответила она. — И лучше было!.. ургучила, как лошадь, недосыпала, а знала: хоть осьминник посею, а он мой.

— Значит раньше сеяли осьминник? А сколько земли полагалось на душу? Десятины две? Остальное не могли запахивать?

— Ну, и чорт с ней!

— Но ведь теперь запахиваете не осьминник, а всю землю.

Она ничего не могла возразить против моих доводов, но ругалась. В ней настолько сильно сидело собственническое чувство, что казалось, будто у ней все отберут и она останется без своей земли, без своего хозяйства — как без рук. Ей казалось, что ее ограбили и она становится нищей.

Из-под ее ног уходит старая почва единоличника, а на новой она еще не утвердилась.

Некоторые правленцы иногда падают духом и готовы все бросить и бежать. Жалуются:

— Хуже каторги. Того нет, другого нет, а с тебя все требуют, тебя лают. Хозяйство вон какое огромное, а сил пехватает, да и управлять еще не научились. Главное — денег нет. Надо чинить, надо покупать, надо расплачиваться, надо переоборудовать, а денег ни копейки. Все тебя рвут на части, все требуют и угрожают.

...Вот член правления по полеводной части. На нем лежит наблюдение за тракторами и их распределением. Он не техник и не организатор, — не рассчитал времени и до срока снял с поля трактор и молотилку. И за это они в горячее время простояли день без нужды. За это трактористы ополчились на члена правления.

В этом отношении дисциплина среди трактористов очень хромает. Один из них обзывал члена правления самыми скверными словами. Нарочно орал на всю улицу, чтобы слышали, как он обращается с членами правления... Даже пригрозил:

— Кишки тебе надо выпустить!

Член правления молчал. Даже председатель правления не принял никаких мер против этой грубой выходки. Вместо того, чтобы одернуть парня и взять твердый курс, председатель правления добродушно посмеялся над этой выходкой.

Вообще недостатков и затруднений в колхозе «Вперед» очень много.

Один из главных недостатков — плохой учет. До сих пор не налажен учет расхода горючего. До сих пор колхозники не знают, во сколько им обходится гектар пашни. До сих пор не знают, насколько их урожай выше урожая окрестных деревень.

А собраниями прямо-таки губят себя: они бывают по два-три раза в неделю и тянутся с 9 утра и до 9 вечера.

Колхоз рождается в больших муках. Организация колхоза — это упорная, тяжелая, мучительная борьба за землеустройство, за механизацию, за колхозы, за перестройку всего крестьянского хозяйства, за ломку общественной и крестьянской психологии и за рождение нового человека — общественника.

### Новые безработные

В этом году на устроенной колхозной земле в первый раз за тысячелетие случилось необычное: в самую горячую пору, в пахоту, 360 лошадей крестьян-колхозников стояли дома и ели даром корм.

Им нечего было делать, они оказались безработными. За них выехали 13 тракторов с прицепами и плугами. Рвали тугую залежь лемехами — такую, которая никогда не поднималась и которую не возьмут никакие, даже кулачкие лошади.

А тракторы брали! Высоко ползли по лемехам широкие зеленые пласты, за-

гибались и, опрокидываясь, непрерывной широкой спиралью падали обратно — черным кверху.

Мертвое поле готовилось к жизни.

13 тракторов заменили собой 360 лошадей. Они простояли всю пашню в конюшне и поедали «задаром» хозяйские корма.

В этот год был неурожай трав, и крестьянам корм скота влетел в копеечку.

У лошадиных хозяев сердце надрывалось: зря лошадь кормить приходится и расставаться с ней — отдавать колхозникам — не хочется. А дальше выяснилось, что сотня лошадей теперь вообще будет лишних. Кому-то они повиснут на шее.

Дальше крестьяне рассуждали так:

-- Если твою лошадь продадут, а моя останется, то почему она должна обрабатывать тебя, безлошадного? Пускай колхозные лошади работают. Сколько надо их, столько и будут держать.

Эти соображения и даровой корм скоро выжали из крестьян любовь к лошади: весной колхозники вынесли постановление:

Всех лошадей — 360 штук — обобществить и передать колхозу.

Но так как сотня лошадей на круглый год сказывается совершенно безработными, постановлено их продать.

Избрали оценочную комиссию. Она расценит каждую лошадь. Нужных передаст в виде паев в колхоз, а остальные будут проданы колхозам, и деньги также будут внесены в колхоз в качестве пая.

Юридически теперь все лошади колхозные. Фактически они еще находятся в единоличном владении крестьян.

Для того, чтобы обобществление лошадей провести на деле, нужны ответственные конюшники.

Так машина производит революцию: сначала объединяет землю, потом лошадей, потом конюшники.

Обнаружились в этом году еще безработные: это цепь. И ему нечего стало делать. На 300 дворов оказалось до полутора тысяч безработных цепов. Их сели трактор и молотилка.

С 1929 года цепам больше нечего делать в Пустовалове, Кутулукке, Подгорном, Отрогах, — здесь машина утверждает свои права и безжалостно оттесняет кустарные, допотопные стародовские орудия производства.

Присходит коренная ломка, реорганизация сельского хозяйства.

Меняется лицо земли, меняются способы обработки, меняются формы труда.

Меняется вся жизнь

# За рубежом

1. С. ГАЛЬПЕРИН. По всему свету. — 2. И. ТАЙГИН. Японские силуэты.

## ПО ВСЕМУ СВЕТУ

(Очерки международной политики)

### 1. С. Гальперин

Партия газетных пэров. — Унылая конференция. — «В стране Вольтера и Декарта». — Вина Альфонса XIII. — Доктор Ирригойен и его «персоналисты». — Соглашение за счет СССР. — День шестого марта.

#### Партия газетных пэров

Мировой экономический кризис, сказавшийся в массовой безработице и застое в торговле и промышленности, уже породил в ряде стран и политические осложнения. Министерская чехарда во Франции, падение диктатуры Примо ди Ривера в Испании, неустойчивость германского правительства — все эти явления непосредственно связаны с теми потрясениями, которые характеризуют экономическую жизнь этих стран.

В неустойчивом положении находится и правительство Макдональда, — при голосовании одного пункта угольного закона оно оказалось даже в меньшинстве, — но в его неустойчивости мировой экономический кризис играет роль привходящего фактора.

Более характерной с точки зрения политических осложнений, вызываемых экономическим кризисом, является та шумиха, которая была поднята в феврале и марте в политических кругах Англии лордом Нотермиром и лордом Бивербруком в связи с затеянной ими кампанией по образованию «партии едичной империи». Кампания эта была основной злобой дня в Англии, поскольку представляла собой серьезную угро-

зу для консервативной партии, за счет которой почтенные лорды собирались строить свою партию.

Партию эту «Times» зло окрестил партией «газетных пэров». И в самом деле, вся сила новой партии состояла в том, что ее основателями явились воротилы английского газетного мира: лорд Нотермир — брат и наследник знаменитого лорда Нортклиффа, владельца «Daily Mail», и лорд Бивербрук — делец из Канады, получивший звание пэра Англии за свою финансовую изворотливость и являющийся сейчас хозяином «Daily Express», «Sunday Express», «Evening Standard» и некоторых других газет. Ежедневный тираж прессы обоих лордов достигает 5,5 миллионов экземпляров. И хотя принадлежащие почтенным лордам газеты не являются политическими органами печати, а имеют резко выраженный бульварный характер, все же они оказывают значительное влияние на формирование политических взглядов своих читателей.

Появление новой партии на политической арене сопровождалось необычным газетным шумом. Лорд Нотермир заявил с торжеством, что к 1 марта им было уже собрано 100.000 фунтов стерлингов. А в беседе с корреспондентом «Matin», известным француз-

ским журналистом Зоарвенном, Ротермир прихвастнул, что в его партию записывается ежедневно чуть ли не 20.000 членов.

Основная идея новой партии несложна. Она сводится к установлению свободной торговли между всеми частями Британской империи и высоких таможенных тарифов на ввоз в империю как промышленных, так и с.-х. товаров из других стран. По мнению обоих газетных лордов, эта система обеспечит сбыт английских товаров в доминионы и колонии, выведет английскую промышленность из кризисного состояния, приведет к уничтожению безработицы и укрепит сельское хозяйство Англии. А для того, чтобы эта система не привела к повышению цен на хлеб и другие продовольственные продукты, партия «объединенной империи» проектирует субсидирование сельского хозяйства, продукция которого будет продаваться по ценам, не выше существующих.

У невзыскательной обывательской публики, на которую собственно и рассчитывают издатели «Daily Mail» и «Daily Express», эта программа могла рассчитывать на некоторый успех. «В Англии, — заявил лорд Ротермир, — 1.523.000 безработных. Наш торговый баланс — пассивен, наш бюджет — неуравновешен, империя поглощает 45 проц. нашего экспорта, и в эту сторону должно быть направлено наше внимание. Бояться же репрессий со стороны других государств не приходится — их тарифы так высоки, что повышать их дальше нет возможности».

В подтверждение той же мысли лорд Бивербрук указывает, что владения Британской империи в Азии, Африке и Америке ввезли в 1927 г. товаров на 252 млн. фунтов стерлингов, в том числе лишь на  $\frac{1}{4}$  из метрополии. Как расцвела бы английская промышленность, если бы их ввоз полностью обслуживала английская промышленность.

Сколько-нибудь серьезные английские экономисты как из консервативной, так и из либеральной партий отнеслись, однако, к этой имперской идиллии лордов Ротермира и Бивербрука, как к заведомому блефу. Ее сла-

бость состоит прежде всего в том, что ни доминионы, ни колонии никогда не согласятся на превращение Британской империи в единый таможенный союз. Таможенная комиссия австралийского парламента определенно заявила в июле прошлого года, что отмена пошлин на ввозимые в Австралию английские товары означала бы для Австралии катастрофу, ибо убила бы ее нарождающуюся промышленность. Такие же настроения господствуют и в Канаде. В газете «Morning Post» от 26 февраля были приведены отзывы целого ряда представителей канадских торговых и финансовых кругов, директоров банков, председателей торговых палат и т. д., которые все отнеслись в той или иной мере отрицательно к кампании, которую ведет их соотечественник лорд Бивербрук. Наконец, и в Индии в самое последнее время национальное собрание в Дели постановило повысить пошлины на хлопчатобумажные изделия с 11 до 15 проц., что прямо направлено против английского импорта в Индию.

Против затеи лордов Ротермира и Бивербрука высказались и английские аграрии. От их имени известный агро-специалист Фордхам заявил на конгрессе по реконструкции сельского хозяйства, что программа газетных лордов не может излечить сельского хозяйства Англии. Настоящая политика с.-х. ассоциаций, — заявил Фордхам, — состоит в уничтожении свободной торговли и отмене беспошлинного ввоза с.-х. продуктов не только из других стран, но и из Британской империи.

Решительную кампанию против платформы «единой империи» повел Болдуин. Его основные аргументы: во-первых, доминионы не хотят таможенного союза с Англией; во-вторых, коронные колонии Англии также не могут обойтись без таможенной защиты своей промышленности; в-третьих, вся затея газетных лордов есть блеф, единственной целью которого является разрушение консервативной партии.

За Болдуином идут все политические лидеры консервативной партии. Они слишком хорошо помнят, что два раза уже консервативная партия пробовала ввести пошлины на хлеб, — в

1907 году при Джоз Чемберлене и в 1923 году — и оба раза терпела поражение на выборах. Даже такие завязтые империалисты колонизаторского типа, как Эмери и лорд Ллойд, поспешили отмежеваться от солидарности с шумихой, поднятой газетными лордами.

И все же заявления Ротермира о том, что создаваемая им партия будет оспаривать на ближайших выборах половину мандатов в палату общин и что он лично при поддержке читателей «Daily Mail» намерен собрать денежный фонд и выдвинуть кандидатов в 50 «отборных» округах Лондона и Южной Англии, заставили Болдуина искать путей примирения с мятежными газетными лордами. В произнесенной им в начале марта речи Болдуин указал, что «растущая безработица и наплыв на наш внутренний рынок иностранных товаров» ставят на очередь проблему таможенной защиты национальной промышленности, но лишь в тех пределах, в которых она действительно нуждается в защите. Что касается пошлин на продовольственные припасы, то, поскольку этот вопрос не фигурировал на прошлых выборах, то он, Болдуин, считал бы необходимым — в случае, если ему будет поручено образование нового консервативного правительства, — поставить этот вопрос на референдум избирателей. Наконец, что касается установления свободной торговли внутри империи, то вопрос этот не может быть разрешен без обсуждения его на конференции с представителями доминионов.

Заявления Болдуина были встречены газетными лордами как их победа. Лорд Бивербрук уже заявил, что свободная торговля внутри империи может быть установлена лишь в взаимоотношениях между метрополией и коронными колониями. Что касается доминионов, то без их согласия эта проблема не может быть разрешена. Согласно же Болдуина на переход к протекционистской политике, даже поставленное в зависимость от результатов референдума, является удовлетворением их требований. По последним сведениям, оба лорда готовятся прекратить начатую ими кампанию по образованию новой пар-

тии и уже возвращают ее членам взносов в денежный фонд партии.

И все же эта авантюра лордов Ротермира и Бивербрука не прошла бесследно. Расценивая ее результаты, «Economist» пишет, что кампания лорда Ротермира, оставляя в стороне явную утопическую затею о свободной торговле внутри империи, окажет влияние на рост реакции в отношениях между метрополией и Индией, между метрополией и Палестиной и усилит позицию крайне правого крыла консервативной партии.

Есть все основания думать, что на ближайших выборах, — а Макдональд несомненно распустит палату, как только она выразит ему недоверие, — в Англии произойдет поляризация политических сил. Значительная часть рабочих, разочарованная явной несостоятельностью рабочей партии в борьбе с безработицей, отдаст свои голоса коммунистам, а консервативная партия сделает шаг в сторону фашизма. Беспощадное подавление революционного движения в колониях, протекционизм и проведение рационализации за счет беззащитного угнетения рабочего класса, угнетения не только экономического, но и политического, — вот тот путь, на который станет английская буржуазия по мере углубления разедающего английский капитализм безысходного кризиса.

#### Унылая конференция

Пока в Англии «Daily Mail», «Daily Express» и их знатные издатели и редактора вели шумную кампанию за обнесение всей Британской империи забором из таможенных пошлин, в Женеве заседала созванная по инициативе английского министра торговли Грэхема международная конференция по организации таможенного перемирия.

Свою инициативу Грэхем проявил еще прошлым летом, когда новоиспеченное «рабочее» правительство Макдональда стремилось поразить пролетариат всего мира своим пацифизмом, — таможенное перемирие являлось экономическим дополнением к морскому «разоружению», во славу которого Макдональд готовил тогда поездку в Вашингтон. Оба эти начинания правитель-

ства Макдональда осуществились в 1930 г.: 21 января в Лондоне открылась конференция пяти морских держав, а 17 февраля в Женеве начала свою деятельность так называемая «конференция согласованного экономического действия», которую, впрочем, все обычно называют попеременно конференцией таможенного перемирия.

Впрочем, оба эти названия звучат как своего рода насмешка над экономическим пацифизмом, во имя которого созвана была эта конференция. Представлено на конференции 30 государств, но из внеевропейских государств только Япония, Турция, Перу и Колумбия. Кроме того, присутствуют так называемые «наблюдатели» от САСШ, Китая, Бразилии, Кубы, Сан-Доминго и Персии. По существу это — конференция европейских государств.

Общий тон на конференции был самый пессимистический. Даже те круги, которые еще являются сторонниками таможенного перемирия, говорят лишь об «экономической организации Европы», косвенно противопоставляя ее Америке, Британской империи и Советскому Союзу. Но даже и это ограниченное континентом Европы (без европейской части Советского Союза) таможенное перемирие оказывается несуществующим.

За тот промежуток времени, который прошел между предложением Грэхема и созывом конференции, во всех почти странах шло бешеное повышение таможенных тарифов. Протекционистская волна захватила Францию, Германию, Италию, Португалию, Финляндию, Австралию. Резко выявилось противоречие интересов между индустриальными и с. х. странами.

Инициатор конференции Грэхем начал поэтому свою речь на открытии конференции с указания на то, что таможенное перемирие не может означать стабилизации существующих тарифов, — произведенные в последние полгода повышения тарифов должны быть отменены, чтобы можно было говорить об «экономическом сотрудничестве народов». Ибо из 27 европейских государств лишь 13 не повысили своих тарифов после июля 1929 года, но и из этих 13 государств 6 собираются их повысить.

Итальянский министр торговли Боттан откровенно высказал свое скептическое отношение к самой задаче конференции, подчеркнув, что не только снижение тарифов, но даже стабилизация их на существующем уровне была бы невыгодна для тех государств, которые «находятся в процессе создания экономической структуры, соответствующей их нуждам».

Еще более любопытное заявление сделал представитель французской делегации Серрюю. Он заявил, что в настоящий момент Франция не может принять принципа таможенной передышки и должна сохранить за собой свободу действий. «С сентября 1929 г., когда Франция решила принять участие в конференции, — сказал Серрюю, — обстоятельства изменились. Франция могла думать тогда, что экономическая стабилизация, наконец, завершилась, но уже через несколько недель после этого решения великая финансовая драма в Нью-Йорке показала, что, несмотря на все усилия, финансовые основы поколеблены и что экономические последствия этой финансовой драмы будут весьма тяжелыми. Кроме того, Франция столкнулась с фактом сельскохозяйственного кризиса и должна была принять меры к защите своего сельского хозяйства» («Matin», 1 марта).

Решительный отказ Франции пойти на какое-либо ограничение свободы действия в своей таможенной политике заранее обрекает конференцию на полную неудачу. Ибо таможенное перемирие могло бы быть проведено лишь при условии его всеобщности, иначе государства, не подписавшие соглашения, получили бы своего рода премию: они пользовались бы таможенными льготами в других странах, не допуская в то же время ввоза в свою страну целого ряда товаров из конкурирующих государств. Ограничить же таможенные льготы лишь кругом государств, подписавших соглашение, невозможно без отмены всех существующих сейчас международных торговых договоров, ибо во всех этих договорах имеется пункт о так называемом «наибольшем благоприятствовании», предусматривающий автоматическое распространение таможенных льгот, представляемых од-

пой стране, и на страну, подписавшую торговый договор.

Французский еженедельник «Europe Nouvelle», подводя первые итоги заключения конференции, пишет: «Идея перемирия не может ни отодвинуть на второй план, ни помешать образованию экономических единиц, выходящих за рамки отдельных государств, и экономическим соглашениям, вытекающим из географического положения европейских государств. В конечном итоге направление операций зависит не от техники, а от политики, ибо техника может лишь противопоставить друг другу частные интересы, политика же может видоизменить самые интересы» («Europe Nouvelle» 1 марта).

В переводе на обыкновенный язык это значит, что вместо «таможенного перемирия», «согласованной экономической политики всех государств мира» и т. п. формул экономического пацифизма в настоящее время предстоит эпоха создания экономических блоков нескольких государств, которые под руководством «политики» превратятся в военные империалистические коалиции, соперничающие друг с другом.

Необходимо обратить при этом внимание на слова Грэхема о том, что «неудача конференции заставила бы и страны, придерживавшиеся до сих пор принципов свободной торговли, вступить на путь соревнования в области таможенных тарифов». Это значит, что и лебористское правительство Англии готовится отказаться от традиционной фритредерской политики и сделать шаг в сторону протекционизма, сторонниками которого — да и то в ограниченной степени — были лишь консерваторы.

Женевская конференция «согласованного экономического действия» превратилась в демонстрацию резкого столкновения интересов империалистических стран, свидетельствуя о крахе еще одной пацифистско-стабилизационной иллюзии.

#### «В стране Вольтера и Декарта»

«Нельзя безнаказанно нарушать правила здравого смысла в стране Вольтера и указания разума в стране Декарта» — так писал «Temps» (от 26 фе-

враля) по поводу неудавшейся попытки радикала Шотана образовать «левый» кабинет. Лейборган Тардьё был возмущен попыткой использовать случайное голосование палаты для того, чтобы создать кабинет из противников министерства, которое достаточное число раз получало выражение доверия со стороны парламента.

Мы уже указывали в нашем прошлом обзоре, что хотя падение Тардьё и произошло действительно вследствие случайного голосования, но и то большинство, на которое оно опиралось (и на которое опирается и министерство Тардьё № 2), менее всего может претендовать на прочность и длительность своего существования. При чем неустойчивость эта зависит не только от состава палаты депутатов, при котором судьба любого кабинета зависит от случайного голосования некоторых промежуточных групп, но и от общего положения в стране.

До конца 1929 года Франция пользовалась репутацией единственной страны в Европе, которая переживает период если не процветания, то во всяком случае полного экономического благополучия. Страна в течение ряда лет совершенно не знала безработицы. Франк стал одной из прочнейших валют в мире. Банк де-Франс накопил необычайное количество золота и иностранной валюты. Пассивность торгового баланса компенсировалась огромными поступлениями от туристов (7,5 миллиардов франков в 1929 году), от репараций (5,8 млрд. фр. в 1929 г.), от инвестированных за границей французских капиталов (3,5 млрд. франков) и т. д.

Промышленность обнаруживала неизменный рост. По данным английского «Economist» (от 21 декабря) общая сумма промышленной продукции превышала в конце 1929 года уровень 1913 г. на 41 проц. При этом особенно развилась тяжелая индустрия: металлургия, угольная промышленность, машиностроение и автомобильная промышленность за счет легкой и особенно текстильной промышленности, которая обнаружила симптомы падения (уровень 1913 года был достигнут по текстилю лишь на 90 проц.).



Но уже с декабря 1929 года это капиталистическое процветание дает трещину. Как меланхолично указал промышленный орган «Journée Industrielle», «не бывает, к сожалению, экономических кризисов, которые, охватив экономику ряда промышленных стран, оставили бы незадетыми другие страны». Уже одно сокращение притока американских туристов во Францию поколебало расчетный баланс Франции. В промышленности и торговле обнаружались симптомы застоя. Парижский корреспондент английского «Economist» констатирует, что, несмотря на непрерывающийся выпуск нового акционерного капитала, «количество капитала, ищущего помещения, необычайно велико. Значительная часть сделок заключается из 1¼ проц. После того как сельское хозяйство, реализовав значительную долю своей продукции, погасило задолженность банкам, последние располагают огромными суммами для краткосрочного кредита, но не находят им применения. В значительной степени эти свободные суммы направляются на внешний рынок, в результате чего курс доллара и фунта поднялся выше золотого паритета» («Economist») от 22 февраля).

Французская газета «Homme Libre» пишет: «Развитие французского хозяйства попало в заколдованный круг. Для сохранения позиций на внутреннем и мировом рынках усиленно проводится рационализация промышленности, но связанное с этой рационализацией снижение зарплаты рабочих вместе с аграрным кризисом приводит лишь к сужению внутреннего рынка. Это сужение не может компенсироваться за счет мирового рынка, который глубоко расшатан. Правительственный кризис — ничто по сравнению с надвигающимся экономическим кризисом».

Учитывая эти грозные признаки ухудшения экономического положения, Тардьё сделал осью своей правительственной декларации вопросы экономики и даже создал в своем новом кабинете должность статс-секретаря по вопросам народного хозяйства. Но дальше обещаний некоторого снижения налогов, падающих на торговлю и промышленность, и увеличения ассигнований

на капитальные вложения декларация Тардьё не идет. Вместе с тем Тардьё не намерен делать никаких скидок по расходам на военно-морское строительство в соответствии с той программой увеличения французского флота более, чем в 1½ раза, которую он выдвинул на лондонской конференции.

В то же самое время заостряется антисоветский курс внешней политики Франции. Парижский суд накладывает арест на имущество нашего торгпредства на основании претензии одного кредитора бывшего Доброфлота; о вздорности этой претензии лучше всего говорит тот факт, что истец, выигравший первоначально эту претензию в английском суде, не решился обратиться в ее на имущество нашего торгпредства в Англии, зная, что там его требование было бы отвергнуто. И в то же время Пуанкаре, полностью солидаризирующийся с политикой Тардьё, открыто пишет о том, что на румынской границе возникает опасность войны с СССР, к которой должно быть приковано внимание Франции.

Эта антисоветская свистопляска и усиление реакции в стране были предметом обсуждения на открывшейся 9 марта конференции французской коммунистической партии. В обращении секретариата ЦК французской компартии было указано, что небывалая мобилизация всех сил и средств реакции рассматривается буржуазией, как метод обеспечения рационализации и подавления революционного рабочего движения и в то же время подготовки нападения на СССР. Обращение подчеркивает, что кутеповщина является типичным проявлением психологической подготовки антисоветского вмешательства и идет параллельно с усиливающимися военными приготовлениями.

Франция стала страной воинствующего империализма и неслыханного мракобесия, от которых несомненно перевернулись бы в гробу Вольтер и Декарт, так некстати вспомнутые французским официозом.

### Вина Альфонса XIII

«Если в Испании сложится революционная ситуация, то лишь по вине короля» — так писал во французской со-

циалистической газете «Populaire» (от 2 марта) небезызвестный слесч «по русскому вопросу» Розенфельд, сражающийся на правах совместительства не только с большевизмом, но и с фашистской диктатурой в Испании.

Опасения Розенфельда насчет возможности возникновения в Испании революционной ситуации разделяются целым рядом буржуазных и с.-д. публицистов Европы. Если в первый момент после крушения личной диктатуры Primo ди Ривера буржуазные газеты подчеркивали мирный характер этого крушения и выражали свое удовлетворение по поводу того, что «народ безмолствовал», то уже очень скоро на страницах консервативной печати стали появляться тревожные статьи насчет того, что Испания может стать новым очагом революционных смут в Европе.

Страхи буржуазных и «социалистических» публицистов не лишены основания. Действительно, сдача дел генералом Primo ди Ривера генералу Беренгеру произошла без всякого участия народа, т. е. трудящихся масс Испании. Смена диктаторов была превентивной мерой привилегированных классов Испании против создания революционной ситуации. Primo ди Ривера ушел потому, что этого требовало офицерство, консервативная буржуазия и сам Альфонс XIII, не хотевший связывать судьбу своей короны с судьбой обанкротившегося диктатора.

А банкротство Primo ди Ривера к концу 1929 года стало совершенно очевидным. Попытка диктатора восстановить золотой курс пезеты безнадежно провалилась. Если в начале 1928 года за фунт стерлингов давали 28,20 пезет (при золотом паритете в 25¼ пезет), то к концу 1929 г. курс испанской пезеты упал до 36 пезет за 1 фунт стерлингов. Самая попытка искусственно поднять биржевой курс пезеты была безнадежна, поскольку за годы правления Primo ди Ривера дефицит торгового баланса составил 8 миллиардов пезет (по данным «Temps» от 5 февраля), и ни поступления от испанского капитала за границей, ни денежные суммы, пересылавшиеся в Испанию эмигрантами из других стран, не могли компенсировать этого дефицита.

Однако, смена Primo ди Ривера генералом Беренгером, который известен в Испании лишь своими поражениями в Марокко и личной близостью к королю, не могла оказать последнему большой пользы. Несмотря на то, что Беренгер начал с заявлений об отказе от диктаторских методов управления и с призыва ко всем политическим направлениям участвовать в восстановлении нормального конституционно-монархического режима, значительная часть буржуазной интеллигенции отнеслась к «конституционной весне» Беренгера с недоверием. Среди мелкой буржуазии давали себя чувствовать республиканские настроения.

Республиканизм интеллигенции и мелкой буржуазии объясняется тем, что она естественно относится к счет монархии политику диктатора, который был главной опорой престола. Мелкая буржуазия не может простить монархии, что за время правления Primo ди Ривера тяжесть налогового бремени увеличилась на 1,295 млн. пезет, при чем в огромной доле новые налоги шли на армию и прочие расходы «великодержавного» характера, в роде устройства давших огромный дефицит международных выставок в Барселоне и Мадриде. В огромной доле возросли и муниципальные сборы. За все эти излишества диктаторского режима мелкая буржуазия считает ответственной монархию.

Своего рода сенсацией явилась поддержка, оказанная республиканскому движению лидером консервативной партии Санчес Гверра, реакционная физиономия которого достаточно определяется тем фактом, что он был членом правительства Маура, организовавшего в 1907 г. убийство Феррера и кровавую неделю в Барселоне. Республиканское выступление Санчес Гверра вывело из равновесия правительство Беренгера, которое поспешило выпустить специальное правительственное сообщение о том, что «оно не может допустить, чтобы те люди, влияние которых основано на их принадлежности к социальным кругам, которые желают развиваться в условиях нормального режима, мешали бы умиротворению страны выступлениями с призывом к насильственному

действиям. Правительство не допустит никаких покушений на принцип конституционной монархии».

Несмотря на этот твердый тон придворного генерала Беренгера, ему вряд ли удастся осуществить свою программу спуска на тормозах от диктатуры Примо ди Ривера к конституционной монархии. Ибо рабочие демонстрации в Барселоне и Мадриде показали, что испанский народ не собирается «безмолвствовать».

Учитывая эту опасность, мелкая буржуазия полагает, что превентивной мерой против революционных выступлений трудящихся не может быть конституционная монархия, а объявление Испании республикой. В этом ее вполне поддерживает социалистическая партия. Вождь «левого» крыла этой партии Индалесно Прието заявил: «Наши отношения с левой буржуазией должны быть вполне сердечными, — это желательно при всех обстоятельствах, а в настоящий момент я считаю это обязательным» («Humanité» 4 марта).

Французский социалистический орган «Populaire» с восторгом смакует возможность наступления этой испанской керенщины и негодует на Альфонса, который своим упорством способствует размаху революционной стихии. Эта революционная стихия менее всего по сердцу партиям Второго Интернационала, которые имеют все основания бояться, что трудящиеся массы Испании, руководимые компартией, сумеют не только уничтожить монархию, но и покончить с керенщиной, поставив на ее место рабоче-крестьянское правительство.

#### Доктор Ирригойен и его „персоналисты“

Более прочным, чем в Испании, оказывается диктаторский режим в бывших испанских владениях — южно-американских республиках. Почти во всех этих «республиках» президент фактически является диктатором, и «мена его равносильна маленькой революции, которая, впрочем, приводит лишь к победе нового президента диктатора. Объясняется это малочисленностью пролетариата в Южной Америке и слабостью рабочего движения, которое

лишь со времени образования в прошлом году примыкающего к Профинтерну Латино-Американского секретариата профсоюзов вышло на дорогу революционного развития.

Среди всех стран Южной Америки наибольший интерес представляет Аргентина, как потому, что она является наиболее индустриализованной страной на этом континенте, так и потому, что она ревнивей других южно-американских республик старается сохранить свою независимость от панамериканских претензий Соединенных Штатов Северной Америки. Она проводит свою собственную внешнюю линию внешней политики и вопреки желанию САСШ активно участвует в работах Лиги Наций.

Политическая жизнь в Аргентине более развита, чем в других республиках, но и там в основе управления лежит диктаторская власть «избираемого» президента. Носителем этой диктатуры является властный старик доктор Ипполит Ирригойен, два раза под ряд избираемый на пост президента. Хотя поддерживающая его радикальная партия разделилась на два лагеря, большинство принадлежит к фракции его личных сторонников, которые так и называются в Аргентине «персоналистами». О полноте его власти говорит хотя бы тот факт, что, несмотря на отсутствие формального согласия со стороны парламента, 4 высшие провинции Аргентины — Мендоса, Санта-Фе, Оан Жуан и Корриентес — управляются его личными эмиссарами, так называемыми «интервентами», которые являются полновластными правителями провинций и ответственны лично перед президентом.

Радикальная партия, от имени которой Ирригойен выступал кандидатом на выборах, объединяет вокруг себя разношерстные круги мелкой буржуазии, инстинктам которой умеет льстить этот диктатор. Его популярность держится на псевдо-демократической демагогии и патриотических фразах. Но патриотизм доктора Ирригойена сводится к соглашению с английским капиталом для борьбы с империализмом САСШ.

Как и в других республиках Латинской Америки, борьба партий в Арген-

тине является замаскированной формой борьбы между английским и американским капиталом. Как известно, после войны в этой борьбе Америка одержала почти полную победу. Не избежала этой судьбы и Аргентина. Хотя ввоз английских товаров в Аргентину после войны почти не уменьшился (23.789 тыс. фунтов стерлингов в 1912 г. и 23.649 тыс. фунтов в 1926 г.), но ввоз американских товаров за это время вырос с 11.823 тыс. фунт. стерлингов до 28.145 тыс. фунтов стерлингов, т. е. немалого юбонгал английский импорт.

Все же в Аргентине английский капитал еще в состоянии соперничать с северо-американским. И англичане всячески стараются поддержать свои позиции. «Times» (от 4 марта) с торжеством указывает на «великолепный прием, оказанный Ирригойеном английской торговой миссии», по предложению которой палата депутатов уже утвердила договор о взаимных кредитных льготах Англии и Аргентины по торговым операциям (договор этот находится в настоящее время на утверждении аргентинского сената). Но поддержка, оказанная правительством Ирригойена английскому капиталу, не может помешать победному шествию империализма САСШ. Как пишет «Times», «проникновение американского капитала в Аргентину ведется очень умело под руководством торговых агентов САСШ, работающих в самом тесном контакте с министерством торговли в Вашингтоне».

А вместе с проникновением американского капитала несколько меркнет и популярность придерживающегося английской ориентации президента Ирригойена. К тому же Аргентина переживает сейчас период с.-х. кризиса. Вследствие засухи и нашествия головни урожай пшеницы в этом году ожидается на 5 млн. тонн меньше, чем в прошлом. И в то же время наличие огромных запасов непроданного хлеба в Канаде не дает аргентинским землевладельцам надежды на поднятие стоящих сейчас необычайно низких цен на хлеб на мировом рынке.

Обострилось и рабочее движение. Целый ряд стачек имел место в прошлые несколько месяцев на телефонных, во-

дпроводных, электрических и трамвайных предприятиях в провинциях Розарио, Санта Фе и Бахиа Бланка. Классовая борьба принимает все более резкие формы, в связи с чем и самовластие Ирригойена получает более резко выраженный чисто фашистский характер.

Предстоящие выборы половины состава аргентинской палаты депутатов должны показать, в состоянии ли еще «персоналисты» удерживать власть в Аргентине.

В марте состоялись выборы в ряде других латино-американских республик. Недостаток места не позволяет нам подробно остановиться на социально-политической жизни этих стран, и мы отметим лишь результаты выборов.

На президентских выборах в Бразилии победа досталась правительственному кандидату Джулио Престес, ставленнику выходящего в отставку нынешнего президента. (По бразильской конституции президент не может быть переизбран, и потому каждый президент по истечении срока, на который он избран, сам намечает своего преемника.) На президентских выборах в Колумбии победил кандидат либеральной партии д-р Олайя, что явилось полной неожиданностью, так как в течение 45 лет власть в этой республике принадлежала консерваторам. «Неожиданность» эта объясняется поддержкой, оказанной либеральному кандидату Соединенными Штатами, где он провел последние несколько лет.

Оригинально прошли «выборы» в палату депутатов и сенат в Чили. «Во избежание потрясений, связанных с выборами», партии по взаимному согласию поделили между собою места в этих «представительных» органах. Диктатор полковник Ибанец остался очень доволен этой своеобразной формой «парламентаризма».

### Соглашение за счет СССР

Из экскурсии в Южную Америку приходится вернуться в Европу, политическая жизнь которой в 1930 г. отличается особой напряженностью. Почти все европейские государства переживают период правительственного кризиса и непрекращающейся кампании по

созданию антисоветского фронта. Оба эти явления тесно связаны между собой. Ибо отсутствие устойчивого правительства и сопутствующее ему (вернее, порождающее его) развитие экономического кризиса хотя и ставят огромные трудности перед всяким решительным выступлением на внешнем фронте, но в то же время являются и стимулом для антисоветской авантюры, которая временно восстановила бы мирное сотрудничество соперничающих буржуазных групп в каждой отдельной стране.

В мартовской книге «Нового Мира» мы обрисовали общие контуры этой антисоветской кампании. В настоящем обзоре приходится остановиться главным образом на Польше и Германии, где все определеннее и определеннее ведется подготовка к дипломатической (Германия) и военной (Польша) поддержке планов наступления на Советский Союз.

С этой точки зрения одним из наиболее значительных событий истекшего месяца надо признать заключение польско-германского торгового соглашения.

Как известно, в Германии оппозиция против этого соглашения была очень сильна. Да это и немудрено, — за повышение пошлин на рожь, выгоды от которого получают лишь германские аграрии, Германия отказывается от всяких прав на германское имущество, захваченное в эпоху войны в Польше. Невыгодное с хозяйственной точки зрения соглашение это имеет то политическое значение, что вместе с планом Юнга оно так или иначе создаст «нормальные» отношения между Германией и ее версальскими победителями.

Вопрос о польско-германском торговом договоре обсуждался германским рейхстагом одновременно с планом Юнга, при чем оба они после длительных закулисных переговоров между партиями прошли в рейхстаге незначительным большинством. Правительственная коалиция (социал-демократы, демократы, центр, народная партия) была накануне краха. Народная партия ставила условием своего голосования за план Юнга и польско-германское торговое соглашение принятие полно-

стью ее финансовой программы, сводящееся по существу к покрытию бюджетного дефицита за счет сокращения расходов по социальному страхованию. Социал-демократы же внесли по демагогическим соображениям предложение о том, чтобы прорыв по линии социального страхования был покрыт за счет единовременного удержания из жалованья правительственных чиновников. Как и следовало ожидать, с.д. пошли на компромисс, предложенный министром финансов, членом народной партии Мольденгауэром. Но фракция народной партии в рейхстаге высказалась и против этого компромисса.

С величайшим трудом коалиционному правительству удалось все же провести в рейхстаге утверждение плана Юнга и польско-германского соглашения, но это не уничтожило трений внутри правительственной коалиции. Положение германского коалиционного правительства продолжает оставаться очень неустойчивым.

Тем характернее тот факт, что в этот трудный момент правительственные партии берут определенный курс против Советского Союза. Запрос демократической партии по поводу директив Коминтерна германским коммунистам в связи с днем 6 марта по своему характеру (проводится теория об ответственности советского правительства за действия Коминтерна) составлен совершенно в духе английских твердолобых. Этот факт приходится сопоставить и с той враждебной позицией, которую занимает в вопросе германо-советских отношений «демократический» «Berliner Tageblatt». На страницах этой газеты бывший ее корреспондент в СССР Пауль Шеффер выдвигает вопрос о необходимости пересмотреть «рапальские» отношения между СССР и Германией, ибо уничтожение нэпа в СССР подрывает, по мнению Шеффера, самые основы соглашения в Рапалло, положившего начало дружественным отношениям между обеими странами. Нелепость этого рассуждения с чисто хозяйственной точки зрения бьет в глаза, ибо именно социалистическая реконструкция Советского Союза повышает его значение как экономического «партнера» Германии.

У Пауля Шеффера, как и у других проповедников антисоветского фронта в Германии, на первый план выступают классово-политические соображения: победа социализма в СССР — настолько большая угроза для всех буржуазных стран, что для отведения этой угрозы стоит пойти и на экономические невыгоды.

Такое же антисоветское значение имеет польско-германское соглашение и в Польше. Одним из моментов, сдерживающих агрессивную антисоветскую политику пилсудчиков, была всегда необходимость с опаской оглядываться на Германию. Эта опасность сейчас отпадает: в случае войны с СССР Польша может рассчитывать на дружественный по отношению к ней нейтралитет Германии.

До последнего времени мечты Пилсудского о создании «Федеративной польско-литовско-белорусско-украинской республики», сиречь о захвате Советской Украины и Белоруссии, наталкивались на оппозицию со стороны центральных партий во главе с «народовыми демократами», указывавших на авантюристический характер этой антисоветской ориентации и на необходимость мирного проникновения польской промышленности на советский рынок, с которым она связана всем своим историческим прошлым.

Сейчас среди польской буржуазии намечается тяга к сближению с пилсудчиками и к замене политики экономического сближения с СССР политической активной роли в вооруженной интервенции держав. Хотя народные демократы (эндэки) и близкая к ним «Газета Варшавска» высказываются против этой ориентации, указывая, что полякам не-зачем таскать из огня каштаны для других, но и эти возражения по существу сводятся лишь к указанию на то, что за участие в интервенции, в которой Польше неизбежно пришлось бы играть наиболее ответственную роль, Польша должна заранее говорить себе соответствующую компенсацию. К тому же статья «Газеты Варшавской» встретила самую резкую критику со стороны всей польской правительственной прессы. В штыки при-

нимаются и предупреждения некоторых депутатов в сейме против интервенционистской политики правительства.

Не останавливаясь сейчас детально на последних проявлениях антисоветской кампании в Польше (запрос в сенате по поводу «религиозных преследований» в СССР, кампания по поводу беженцев из Советского Союза и т. д.), — они достаточно полно освещены в нашей ежедневной печати, — необходимо лишь указать, что все эти выступления имеют уже не только подготовительный, но и непосредственно «предвоенный» характер. Такой же характер носила и дискуссия на заседании конституционной комиссии сейма 12 марта о правах президента и сейма во время войны. Эндэки внесли предложение о замене на это время сейма военной комиссией, в которую не должны быть допущены представители антигосударственных фракций в сейме, т. е. национальных меньшинств и левых рабоче-крестьянских депутатов. Предложение это подало повод к манифестации милитаристических настроений всех партий сейма (кроме, разумеется, коммунистов и близких к ним партий).

Если прибавить к этому сообщение буржуазной бессарабской газеты «Глазуль Бессарабии» о том, что командир 3-го корпуса румынской армии ген. Драгу открыто заявил о неизбежности «в очень непродолжительном времени» войны с СССР, если сопоставить с этим слова Пуанкаре о тучах, скапливающихся на польско-советской и румынско-советской границах, то следует признать, что угроза интервенции представляется сейчас более реальной, чем когда-либо.

#### День шестого марта

Мы уже указывали, что угроза эта, основной причиной которой является стремление сорвать наше социалистическое строительство в тот момент, когда на рельсы социализма переходит советская деревня, стимулируется в то же время желанием империалистических правительств найти в войне против СССР своеобразный выход из тех политических и экономических

трудностей, в которые они поставлены развитием мирового экономического кризиса и сопутствующей ему массовой безработицей.

Чтобы дать общее представление о международной обстановке, порождающей угрозу военного нападения на СССР, необходимо подчеркнуть, что на ряду с подготовительной работой организаторов интервенции в капиталистических странах организуются и противодействующие силы, ставящие своей задачей не только борьбу за защиту Советского Союза, но и наступление на самые основы капиталистического строя.

Для рабочих масс мировой кризис и массовая безработица являются палящими доказательствами внутренней несостоятельности капитализма, как экономической системы, и в то же время стимулами для организованного похода за революционное низвержение этой системы.

Организованы и по постановлению конференции западно-европейских компартий международный день борьбы с безработицей (6 марта) явился своего рода боевым смотром революционных сил пролетариата.

Этот смотр показал воочию, что утверждения коминтерна о росте революционных настроений в широких рабочих массах полностью соответствуют действительности. Уже один тот факт, что малочисленной американской компартии удалось в этот день вывести на улицы Нью-Йорка десятки тысяч рабочих, свидетельствует о том, что революционизирование рабочих масс принимает сейчас размеры, подчас обгоняющие организационные возможности коммунистических партий. А подлинные сражения, которые выдерживал в этот день пролетариат Германии, сумевший завоевать улицу, несмотря на террор с.-д. полиции, показывают, что боевая энергия рабочих масс оказывается сильнее, чем военная техника и реакционная решительность охранителей буржуазного порядка.

День 6 марта показал также, что та революционная тактика, которая усвоена Коминтерном вопреки критикам правых и левых ликвидаторов, не только не отталкивает массы от коммунистических организаций, а, наоборот, повышает престиж и влияние последних даже в отсталых слоях пролетариата. Практической задачей компартий становится организационное закрепление своего влияния в массах, создание массовой базы для коммунистической работы на предприятиях, в муниципалитетах, в рабочих кооперативах и в профсоюзных организациях.

Подводя итоги дню 6 марта, орган германской компартии «Rote Fahne» пишет: «Боевой поход, вогнавший вчера буржуазию в ужас, будет продолжен на фабриках, в шахтах и верфях. Голодный поход, начавшийся 1 февраля и достигший значительного подъема в день 6 марта, должен стать пролетарской лавиной. Укрепление революционной профопозиции, экономические забастовки, борьба с капиталистической рационализацией, подготовка массовых политических забастовок — вот ближайшие этапы движения» («Rote Fahne» 7 марта).

Необходимо отметить, что на ряду с этими лозунгами, вытекающими из созданных для рабочего класса в большинстве капиталистических стран невыносимых экономических условий, повсюду фигурировал и лозунг защиты Советского Союза от готовящегося против него нападения. И сочетание этих лозунгов не было механическим соединением отдельных пунктов коммунистической программы, а отражало ту связь, которая установилась в умах революционных пролетариев капиталистических стран между успешной борьбой против капитализма в своей стране и социалистическим процветанием Советского Союза. Защита Советского Союза является для них не только естественным актом международной солидарности пролетариата, но и орудием самозащиты против «отечественной» буржуазии.

2. ЯПОНСКИЕ СИЛУЭТЫ <sup>1)</sup>

## И. Тайгин

## Г о р о д

Три основные вещи приходят мне на память, когда я думаю об японском городе. Три основные вещи, которые определяют собой его лицо.

Первая вещь — это серые, бесцветные тона, которыми японский город смотрит на мир. Восток нам всегда рисуется в пестрых красках и ярких переливах. Восток нам всегда представляется потрясающей симфонией цветов. Какое глубокое разочарование испытываешь, когда попадаешь на улицы Токио или Осака!.. Дома — каменно-серые или деревянно-серые. Японцы домов обыкновенно не красят, а предоставляют времени и погоде делать с их внешностью свое извечное дело. Крыши домов тоже серые, из грубой некрашеной черепицы. Люди на улицах тоже серые. Мужчины носят либо плохо сшитые и плохо сидящие на них европейские костюмы темных тонов, либо длинные кимоно из серой, коричневой и черной материи. Женщины носят почти исключительно кимоно, — европейские платья попадают лишь в виде исключения, но и их цвета совсем не отличаются яркостью. Существует целая гамма тонов, дозволенных модой и обычаем для женских кимоно, — каждому возрасту соответствует свой тон, и чем старше возраст, тем темнее тон. Но пестроты, веселости, солнечности и тут мало. Только дети носят розовые, желтые и зеленые халатики с яркими узорами и цветами. Только молодые девушки позволяют себе волюность сравнительно светлых тонов. Подавляющее большинство женщин, которых встречаешь на улицах, в магазинах, ресторанах и парках, — темные и серые фигуры, прекрасно гармонирующие с темными стенами и серыми крышами города. Даже в театре видишь ту же самую картину. Партер и ложи переполнены зажиточно-интеллигентной толпой, но нигде ни ярких,

костюмов, ни пестрых тонов. Все серо, коричнево, черно. Лишь изредка мелькнет светлый халатик ребенка; должно быть, матери некуда девать малыша, и она взяла его с собой на представление. И так как в японских городах земля и мостовая (где она есть) серые, и так как в японских городах очень мало монументальных, выдающихся зданий, храмов и палат, но зато очень много пыли, грязи и зловония, то когда в минуты тишины и раздумья я пытаюсь уловить сокровенную сущность японского города, пред моим умственным взором встает какой-то странный, своеобразный образ, имя которому «Нечто в сером»... Серая земля, серые дома, серые люди...

Вторая вещь, которая определяет собой лицо японского города, — это «гетá». «Гетá» — японская разновидность деревянных сандалий. «Гета» — национальная обувь Японии. Конечно, сейчас уже многие японцы носят европейские ботинки. Но ведь Япония — не Европа (прав был мой спутник, немецкий профессор!), и потому... Мужчины японцы, идя на службу в министерства, конторы, магазины, редакции, одевают европейскую обувь, которую они так же не умеют носить, как и европейское платье. Однако, вернувшись со службы домой, они сбрасывают с себя сразу и чуждую обувь и чуждое платье. Они мгновенно становятся коренными, черноземными японцами, и облакаются в кимоно, надевают «гетá». Женщины японки поступают проще и последовательнее, — они всегда, за малыми исключениями, носят кимоно и ходят в «гетá».

Но что же такое «гетá»?

«Гетá» состоит из деревянной подошвы и двух подбитых снизу поперечных пластинок из дерева. Получается нечто в роде маленькой скамеечки. Высота пластинок бывает разная — от дюйма до четырех дюймов. От того места подошвы, где приходится провал между большим и указательным пальцами ноги, идут два рас-

<sup>1)</sup> См. «Новый Мир» кн. 2 с. г.



ходящихся ремешка или чаще два обшитых бархатом шнура, укрепленных своими концами по обоим продольным сторонам подошвы. Образуются две под углом друг к другу расположенных петли, в которые всовывается ступня с таким расчетом, чтобы исходное скрещение шнурков попадало в пространство между большим и указательным пальцами. На этих бархатных петлях «гета» и держится на ноге. Обычно японцы ходят в «гета» босиком. Но если кто-нибудь хочет пофрантить, он надевает на ноги еще белые или черные «таби» — низенькие, по щиколотку, носки из материи, скроенные так, что между большим и указательным пальцами остается свободное пространство.

Я провал ходить на «гета», — можно, но все время чувствуешь себя, как на низких ходулях. Боишься сделать резкое движение, боишься при крутом повороте упасть или вывихнуть ступню. А японцы чувствуют себя в «гета», как жеребенок на лугу. Дети в них прыгают, играют, кувыркаются и взапуски гоняются друг за другом. Дамы и девицы в «гета» кокетничают и даже танцуют. Мужчины в «гета» ходят, работают, таскают тяжести, ездят на велосипедах. Да, «гета» — национальная японская обувь, столь же неотделимая от представления о типичном японце, как седло неотделимо от представления о монголе или лапти неотделимы от представления о старом русском мужике...

«Гета»!.. Никогда все их своеобразие и очарование (ибо в «гета» есть свое скрытое, непередаваемое очарование) не ощущаешь так ярко, как в сумерки, когда начинают зажигаться вечерние огни, или ближе к ночи, когда воздух свежеет, улицы еще полны огней, но город уже затихает перед отходом ко сну. Тогда в напоенном ночной прохладой воздухе рождается и крепнет и растет звук... Особый, ни с чем не сравнимый, неповторяемый звук... Звук, который нельзя услышать ни в какой другой стране мира, — стук «гета» о каменную мостовую города. И когда в тихие вечерние часы чутко прислушаешься к этому странному звуку, так

ярко воплощающему противоречивую сущность современной Японии, с необычайной остротой ощущаешь, до какой степени эта современная Япония — не Европа, совсем, совсем не Европа...

И третья вещь, которая определяет собой лицо японского города, это торговля. Конечно, в каждом городе на свете есть торговля, — от Лондона до Шанхая и от Вальпарайзо до Саратова. Но в японском городе торговля — нечто совсем особенное. Это торговля в квадрате и в кубе, это какая-то вакханалия торговли, это какое-то всеобщее и повсеместное бешенство торговли. Чеховский учитель когда-то говорил: «Итальянцы — народ бедный, они тем только и живут, что друг у друга занимают». Когда ходишь по улицам японского города, невольно хочется воскликнуть: «Японцы — народ странный, они тем только и живут, что друг с другом торгуют». Положительно непонятно, как ухитряются существовать те тысячи и десятки тысяч лавок, которые длинной пестрой вереницей наполняют улицы японского города. В одном Токио перепись 1928 г. насчитала свыше 50.000 торговых предприятий. Это составляет в среднем 1 лавку на каждые 40 жителей, включая сюда и грудных детей. Куда же дальше?

В европейском городе есть торговые улицы, но есть и такие, на которых вовсе не встретишь лавок. В японском городе нет улицы без торговли. В какой бы дальний уголок вы ни забрели, к какому бы пустынному району вы ни под'ехали, — везде и всегда вы найдете лавку, везде и всегда вы увидите маленького, юркого и продувного «купца». Капитала у этого «купца» обыкновенно на грош, товару — на два миниатюрных лоточка, но энергии и пробойности хватает на три универсальных магазина. Вот где люди действительно умеют торговать!

А какую поразительную картину представляет бойкая японская улица в вечерние часы! Справа и слева сплошной вереницей тянутся бесчисленные лавки. В них стекол нет, и витрины совершенно открыты. На прилавках разложены самые разнообразные товары — осьминоги и каракатицы, детские иг-

рушки и книги, самурайские мечи и материи, радиоаппараты и буддийские кадилашницы. Вся улица ярко залита колеблющимися волнами света. Внутри каждой лавки — электрические огни, снаружи — огромные, расписные бумажные фонари, изнутри освещаемые свечами и светильниками. Фонари качаются при каждом порыве ветра и бросают неровный свет на улицу, на товары и на темные мириады продавцов и покупателей, которые двигаются, говорят, шумят, спорят, торгуются, наполняя воздух нестерпимым гулом голосов. Мелькают велосипеды с такими же расписными бумажными фонарями у колеса. С гулом проносятся автомобили, каким-то чудом не давя и не калеча людей. Пряный, непривычный запах или, точнее, целый букет таких запахов подымается к небу и от этих лавок, и от этих товаров, и от этих людей, и от этой напоенной потом и зловонием земли... И опять вы с необыкновенной остротой чувствуете, до какой степени Япония — не Европа, до какой степени здесь дышит и живет и трепещет старый Восток...

Или пройдите поздно вечером по знаменитой Гинзе — главной торговой артерии Токио. Громадные многоэтажные здания крупных банков и универсальных магазинов. Сверкающие огни ресторанов и кафе. Звон трамвая и рев автомобильных гудков. Ярко освещенные витрины лучших магазинов города. Шелк, бархат, драгоценные камни, редкие фрукты, заморские меха, расшитые золотом мундиры. Бесчисленные световые рекламы. Волны огня от огромных дуговых фонарей. Видно, как днем, или даже еще лучше, чем днем. Пестрая толпа сплошь заполняет широкие тротуары улицы. Смеются, разговаривают, ухаживают, кокетничают, торопятся, планируют. Чем не Европа?

И тут же рядом... Вдоль тротуаров бесконечно длинной улицы с обеих сторон теснятся непрерывной вереницей сотни и тысячи, буквально тысячи мелких палаток и ларьков. В каждой палатке маленький юркий продавец или продавщица, а около них группы людей, — стоящих, глазющих, торгующихся, покупающих. Какой-то сплошной,

вытянувшийся длинной лентой человеческий водоворот. И чего-чего тут только нет! Красные, зеленые и фиолетовые японские сладости, при взгляде на которые легкий мороз проходит по коже; дымящиеся пирожки с каштановой начинкой, тут же изготовляемые на примитивной жаровне; платяные щетки и лак для ботинок; дешевые зеркала и лучшие бритвы; изображение богов и дамские панталоны; предметы старины и электрические фонарики; женские верера и детские игрушки; лики Христа и портреты Ленина; дивные куклы и точильные камни; прекрасные «какемоно»<sup>1)</sup> и кухонные принадлежности; книги о коммунизме и ладан для кадилашниц. Все есть, все можно найти на вечерней Гинзе, — были бы только время и охота. И все это точно по мановению волшебного жезла появляется на Гинзе в 6 часов вечера, когда раскидываются палатки, и исчезает к 1 часу ночи, когда сворачиваются палатки, исчезает бесследно и бесшумно, как привидение. Днем Гинза — улица, как улица. Ничто не напоминает здесь о вечернем нашествии ларьков. Я видел старые российские ярмарки, я знаю парижские бульвары, но нигде, решительно нигде я не встречал такого потрясающего воплощения тысячерукого и тысячеглазого духа торговли, как на вечерней Гинзе.

Этот дух накладывает свою неизгладимую печать не только на Гинзу, не только на Токио, но и на каждый японский город.

### Микадо

Кто такой микадо?

Сказать просто, что микадо, — японский император, было бы не совсем правильно, ибо это звучало бы слишком по-европейски. Но ведь Япония не Европа, и потому для ответа на поставленный вопрос мне придется быть несколько более многословным...

В центре Токио, за высокими стенами из дикого серого камня прячутся темнозеленые рощи. Только верхушки деревьев видны снаружи. А над густой зеленью рощ грациозно подымаются,

<sup>1)</sup> «Какемоно» — японская картина, нарисованная на шелку.

точно пагоды, легкие белые башни китайской архитектуры. Стены отделены от остального города глубокими рвами с водой, а на мостах, перекинутых через воду, стоят часовые императорской стражи. В этом старинном феодальном замке, окутанном легендарно-мистической дымкой прошлого, живет микадо — «полубожественный» глава японской нации.

В прозаической натуре этот глава представляет собой 29-летнего молодого человека невысокого роста, с интеллигентным, но бесхарактерным лицом и с вечно трясающейся нижней губой — последствие покушения на жизнь микадо, произведенного в 1923 году. Зовут нынешнего императора Хирохито. Отец его Тайсе был сумасшедший. «Странности» у Тайсе замечались давно, но решающую роль сыграли два инцидента. Однажды на торжественном приеме император подошел к иностранному дипломату и вместо того, чтобы пожать ему руку, вдруг стал дергать дипломата за бороду. В другой раз Тайсе должен был открывать сессию парламента. В назначенный час он явился в зал нижней палаты, поднялся на трон, принял, как полагается по этикету, из рук премьер-министра свернутый в трубку текст тронной речи, но не развернул его для прочтения, как ожидали, а вместо того... приложил свиток на подобие подзорной трубы к глазам и, переводя его справа налево, с странной улыбкой стал рассматривать физиономии остолбеневших депутатов. После этого замечательного парламентского дебюта было окончательно решено, что микадо больше неспособен к выполнению официальных функций, и последние 7 лет своей жизни он провел в затворничестве, нигде и никогда не появляясь. Заместителем Тайсе все это время выступал молодой Хирохито, пока, наконец, в конце 1926 г., после смерти отца, он сам не стал императором.

Такова прозаическая правда о нынешнем микадо, но не такова та творимая легенда, которая окружает имя Хирохито и которая тщательно культивируется всеми государственными и общественными силами буржуазной Японии.

Легенда эта гласит, что первый японский император Джимму Тенно происходил от богини солнца Аматерасу и, как подобает существу, имеющему столь знатное родство, он сидел на троне целых 75 лет — с 660 по 585 г. до Р. Х. Легенда далее заверяет, что Джимму Тенно положил начало великой династии японских императоров, которая, не прерываясь, просуществовала вплоть до наших дней. Нынешний микадо Хирохито является по этому исчислению 124-м императором из династии Джимму Тенно. Почтенный возраст! Учитывая древность рода и семейную наследственность, придется, пожалуй, признать, что, несмотря на многочисленные симптомы явного вырождения, Хирохито «сохранился» еще сравнительно хорошо.

Но легенда о микадо является не просто легендой, о которой спорят ученые этнографы. Она сейчас играет роль официальной религии, поддерживаемой всей мощью принудительного аппарата государства. Особа микадо согласно конституции «священна и неприкосновенна» (ст. 3), и род его поставлен править Японией «на вечные времена» (ст. 1). Всякий замысел на жизнь императора карается смертью, а всякое самовольное приближение к нему считается святотатством. Даже непосредственная передача императору прошения или ходатайства является преступлением, за совершение которого виновный наказывается тюрьмой. Всякий портрет императора священен, и в случае пожара он должен быть прежде всего спасен из горящего дома. Никто не может стоять выше императора, — поэтому на торжественных банкетах микадо всегда сидит на особом возвышении, господствующем над залом, а когда микадо едет по улицам города, полицейские строго следят за тем, чтобы кто-нибудь из любопытных не смотрел на кортеж из второго этажа дома, находясь таким образом выше императора. Непокорные арестуются, а «опасные» окна закрываются темными шторами. Никто не может перейти дорогу, по которой должен проследовать император. Никто не может быстро ехать мимо императорского дворца.

Никто не имеет права называть своего сына именем императора. Эти и многие другие законы и обычаи имеют целью поддержать вокруг особы микадо ореол «божественности» и «священности», как правнука златокудрой и всемогущей Аmaterасу.

Той же цели служит и необычайно пышный придворный ритуал, причудливо сочетающий в себе противоречивые влияния Востока и Запада.

В день 1 января, которое празднуется в Японии по европейскому календарю, император принимает в своем дворце высших сановников государства и иностранных дипломатов. Какая это своеобразная и красочная церемония! Император с императрицей в ярко расшитых золотом одеядах стоят в тронном зале на возвышении. Вокруг них также расшитые золотом принцы, принцессы, министры и придворные. Мимо них непрерывной цепью проходят гуськом те, кто приносят поздравления. Мужчины в парадных костюмах, а женщины в светлых платьях и непременно с пышными шлейфами, не меньше 2 метров длиной, которые в критические моменты на поворотах ловко управляют мальчики-пажи. Но сановники и дипломаты не только проходят, — они кланяются. Каждый из поздравляющих, проходя через тронный зал, должен сделать четыре низких поклона, дамы же сверх того еще низко приседают, как в «доброе старое время» приседали гимназистки младших классов. Особо усердные почти припадают к полу. Однако, никому из проходящих не дозволяется ни пожать руку, ни произнести хотя бы одно слово приветствия императорской паре. Такой поступок считался бы почти святотатством.

Или большой банкет, который микадо устраивает ежегодно 5 января! К 12 часам дня в императорском дворце собирается до тысячи человек всякой раззолоченной японской знати плюс главы всех посольств, аккредитованных при дворе микадо. В огромном деревянном зале, дивно расписанном в старо-японском стиле, за длинными лакированными столами располагаются сановные гости, украшенные лентами и орденами всех цветов радуги. На особом воз-

вышении в полном одиночестве сидит император с зеленой лентой через плечо. Ступенькой ниже, но выше всех остальных гостей, за отдельным столиком, также с зеленой лентой через плечо, сидит японский Нельсон — знаменитый адмирал Того. Он уже и стар, и дряхл, и почти слеп, но еще пытается гордо держать голову. Только у этих двух лиц во всем зале — у микадо и Того — имеются зеленые ленты! Ни у кого больше!.. Ниже Того, на широком ровном полу стоят уже столы для всех прочих смертных. Справа от императора в первом ряду — дипломаты, слева в первом ряду — члены правительства.

Сидят за столами по-европейски, т. е. на стульях. Но кушанья на столах сервированы по-японски, т. е. на двух маленьких изящных подносиках из черного лакированного дерева. И самые кушанья японские, и обычаи, связанные с ними, тоже японские... Встает император и громко по бумажке прочитывает краткое приветствие собравшимся. Затем встает старшина дипломатического корпуса и точно так же громко, по бумажке, прочитывает краткий стереотипный ответ. Дальше подымается премьер-министр, и в третий раз по бумажке прочитываются давно затасканные слова о счастье, благоденствии и могуществе микадо. Пока происходит обмен речами, все стоят. Но вот последняя пышная фраза главы правительства замолкла под высокими сводами зала, все садятся, и начинается пир! На первом черном подносике — сырая семга, вареный угорь, японская соя, рис с осьминогом и еще несколько оригинальных кушаний такой же марки. Тут же маленькая фарфоровая чашечка с хризантемой — для «саке» (рисовая водка). Все это можно и должно есть на самом банкете. И все едят, а сверх того пьют «саке». На втором подносике — прекрасно сделанная фарфоровая сосна с двумя смешными цаплями по бокам, а под сенью сосны — разноцветные японские сладости: пастила из бобовой муки, апельсин в желе, пирожки с каштановой начинкой да еще круто зажареная рыба «тайо»

(нечто в роде карпа), перевязанная цветными ленточками и с остро выгнутом хвостом, в который искусно вставлены красно-золотые нити. Этот второй подносик на банкете трогать нельзя. На него здесь можно только смотреть. Его очередь приходит диозже.

Снова встает император. Он поднимает фарфоровую чашечку с «саке» и что-то тихо говорит. Весь зал на ногах, тоже с поднятыми чашечками. Еще мгновение,—чашечки опрокидываются в рот, гости крикают, утираются, а опустошенные чашечки преспокойно прячутся в карман. Таков обычай: каждый гость уносит с собой чашечку в качестве императорского подарка.

Банкет кончен. Он продолжался всего лишь 45 минут. Гости шумно встают. Император подымается и уходит. Но что это?.. Расшитые золотом генералы и адмиралы вдруг, точно по команде, засовывают руки в задние карманы мундиров и вытаскивают оттуда «фурусики» — пестрые шелковые платки, заменяющие японцам портфели. Они расстилают «фурусики» на столах, складывают в них содержимое вторых, «неприкосновенных» подноси-ков, связывают узелки и с узелками в руках торжественно удаляются. Дипломаты поступают иначе: они всовывают в зубастый рот «тайю» свой визитные карточки и уходят. Ровно через полчаса все содержимое второго подносика, вместе с сосной и цаплями, доставляется им на специальном автомобиле домой..

Где, в какой другой стране, кроме разве Китая, можно еще наблюдать подобную картину!..

Да что этикет! Даже в наиболее официальном документе нынешней Японской империи, в документе, который, казалось бы, сам по себе должен знаменовать приобщение ее к началам европейской культуры, — в современной японской конституции личности микадо отведено такое место и обеспечены такие права, что на память невольно приходит его происхождение от божественной прародительницы Аматерасу.

Мало того, что в этой конституции род нынешнего императора объявляется царствующим и управляющим Япо-

нией «на вечные времена», мало того, что особа императора признается «священной и неприкосновенной», — микадо предоставлен еще целый ряд уже совершенно прозаических земных полномочий, превращающих его почти во всемогущего самодержца. Так, он созывает и распускает парламент, назначает и увольняет министров, командует армией и флотом, объявляет войну, заключает мир и подписывает договоры с иностранными державами, вводит в стране осадное положение, жалует чины, ордена и ранги. А в периоды, когда парламент не заседает (т. е. в среднем в течение 9 месяцев в году), микадо имеет право в случае «неотложной» необходимости издавать законы и финансовые распоряжения в порядке императорского декрета. Куда же дальше? Какой из современных монархов имеет такие привилегии и права?..

И все-таки!.. И все-таки реальная власть японского императора едва ли больше реальной власти английского короля.

Как это возможно?

Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, надо бросить беглый взгляд назад и вспомнить об одной оригинальной особенности японской истории, — о том вековом двоевластии, которое красной нитью проходит через все ее прошлое.

Японские императоры гордятся более чем двухтысячелетней древностью своего рода. Однако, на протяжении последних 750 лет они вынуждены были делить свою власть над страной с другими элементами, да при том так делить, что от собственной власти у них оставались только рожки да ножки. Кто же эти «другие элементы»?

С 1180 по 1867 год, т. е. в течение 687 лет соперниками императоров выступали всемогущие «сегуны». «Сегуны» в начале были собственно императорские главнокомандующие, которые имели своей главной задачей держать в покорности многочисленных феодальных владык старой Японии. Однако, постепенно «сегуны» развились в совершенно самостоятельный институт, фактически лишивший императора всякой реальной власти. По правилу «се-

гун» назначался из числа крупнейших феодалов и при удаче делал это звание наследственным в пределах своего рода. На ряду с династией императоров возникла династия «сегунов». Таких «сегунских» династий история Японии знает три: Минамото (1180—1219), Асикага (1334—1573) и Токугава (1603—1867). И две последние, как видим, насчитывают свыше двух веков жизни каждая. Постепенно «сегуны», имевшие в своих руках войско, отрывали у императора один кусок власти за другим, пока, наконец, они не стали настоящим реальным правительством Японии, действовавшим от имени императора, которого они держали в раззолоченном плену. О соотношении сил между императором и «сегуном» дают прекрасное представление следующие цифры. В XVII в. все национальное богатство Японии определялось в 28 млн. коку риса<sup>1)</sup>, из них на долю «сегуна» приходилось 8 млн., а на долю императора только 40 тысяч! Для того, чтобы еще резче подчеркнуть свое реальное могущество, «сегуны» покинули древнюю столицу Японии Киото и создали свою собственную столицу в центральной части страны — сначала Камакуру, а затем Иедо (теперь Токио). В эпоху Токугава подлинная, неоспоримая власть в Японии находилась в Иедо, а в Киото жалко прозябала лишь тень власти, правда, окруженная внешним почетом, но лишенная всяких внешних точек опоры. Основатель династии Токугава «великий сегун» Иэясу в своих «Восемнадцати законах» так определяет права императора и «сегуна»:

«Ст. 1. Согласно древнему учению страны богов боги являются божествами неба, а императоры — божествами земли. По той же причине, по которой солнце и луна совершают свой путь, император обязан сохранять свое сердце нетронутым. Поэтому он обитает во дворце, как на небе, ибо дворец его называется, соответственно девяти небесам, девятиярусным жилищем, имеет 12 ворот и 80 палат... Возвышенная

<sup>1)</sup> Коку риса равняется приблизительно 163 килограммам.

добродетель императора обнаруживается тогда, когда на лицах подданных не появляется цвет горя, и когда повсюду, среди четырех морей, царит спокойствие и мир».

Описав в столь возвышенных выражениях весь блеск и все величие императора, Иэясу, однако, в следующем параграфе весьма прозаически замечает:

«Ст. 2. Сегун указывает все государственные повинности и не нуждается при отправлении правительственных дел в разрешении императора. Когда земля среди четырех морей неспокойна, — это вина сегуна».

Одних политических прав, однако, Иэясу кажется мало. Отныне «сегун» должен располагать не только всеми земными, но и всеми небесными привилегиями императора. Поэтому закон далее определяет:

«Ст. 3. Храм на горе Ёйдзан служит стражем для «Ворот Духов» императорского дворца... Когда тело дракона (т. е. императора) недобросовестно охраняется, тогда гnevаются божества неба, море проникает в императорскую столицу и преследует жителей болезнями и горем. В настоящее время, однако, когда управление государством император доверил сегуну, бог горы Ёйдзан должен быть богом-хранителем сегуна».

А чтобы все могущество сегуна оставалось неизменным во веки веков, Иэясу предусмотрительно определяет, что «царствующий император никогда не должен оставлять своего дворца» (ст. 4) и что никто из феодальных князей Японии не имеет права сноситься с императором:

«Ст. 8. Князьям Японии не разрешается отправляться в императорский дворец даже по повелению самого императора. В особенности князья западных провинций по пути в Иедо не должны проезжать через императорскую резиденцию в Киото. В случае, если бы, несмотря на это, какой-либо князь тайком проехал через Киото и если бы это было доказано, то весь род его должен быть истреблен, не взирая ни на какие его богатства» (разрядка моя. И. Т.).

Так вот каково было реальное соотношение сил между императором и «сегуном» в XVII и XVIII столетиях! «Сегун» окончательно с'ел императора.

Невольно возникает вопрос, как это случилось, что «сегуны» на протяжении этих долгих столетий все-таки терпели хоть имя, хоть тень императорской власти? Почему они не уничтожили ее совсем?

Более вдумчивые японские историки дают такое объяснение этой видимой странности. Династия императоров сохранилась только потому, что даже самые могущественные из «сегунов» никогда не чувствовали себя окончательно упрочившимися. В обстановке непрерывной то открытой, то скрытой борьбы между феодальными князьями они всегда опасались за свое будущее и, чтобы повысить свои шансы, считали необходимым иметь на своей стороне императора, своим «божественным» ореолом легализовавшего в глазах широких масс жесткую диктатуру сегуната...

Так было в прошлом, а сейчас?

Сейчас то же, что и раньше. Изменились формы, но сущность осталась прежняя.

Переворот 1868 г., с которого ведет свое начало пореформенная Япония, социально-исторически был восстанием более развитых экономически, никогда окончательно не замиренных токугавским режимом южных и юго-западных феодальных княжеств (Сатсума, Цесю, Тога, Хидзен) против более отсталых экономически феодальных княжеств Центральной и Северной Японии, являвшихся подлинной опорой «сегуната». Повстанцы были связаны с нарождавшейся японской буржуазией и сумели прекрасно использовать то громадное падение престижа, которое нанесло авторитету «сегуната» насильственное «открытие дверей» Японии иностранцами в середине прошлого века. Знаменитая экспедиция американского командора Пири (в 1854 г.) сыграла в Японии примерно ту же роль, что Крымская кампания в царской России. Сгнивший режим «сегуната», не хотевший и не умевший учитывать потребностей начинавшегося капиталистического раз-

вития, был явно обречен на гибель и ждал только рокового толчка. Историческая обстановка для бунтовщически настроенных южных и юго-западных кланов складывалась таким образом очень благоприятно...

И все-таки они не решились прямо и открыто выступить против «сегуната» во имя начал буржуазного господства. Наоборот, они поступили так, как поступали все японские бунтовщики минувших семи столетий, — они «подняли икону» императора! Они объявили себя врагами «сегунов» — узурпаторов и борцами за «реставрацию» императорской власти в ее былом величии. И под этим знаменем они победили.

Но император... император выиграл от происшедшей перемены очень мало. Его правда перевезли из Киото в Токио. Ему разрешили покидать дворец и ездить по стране. Ему дали немножко денег и оказали чрезвычайно много почестей. Его наделили в конституции почти автократическими правами. Но реальная власть, которой восемьсот лет назад пользовались предки микадо, снова, как тень, выскользнула из его рук. Ибо реальная власть и в пореформенной Японии крепко находится в руках «других»... В чьих же именно?

### Танака

Однажды в Токио мне пришлось видеть пьесу молодого японского писателя Кадзуо Китамура «Современная карьера». Пьесу ставил театр, основанный покойным Осанаи и жадно стремившийся подражать великим московским образцам. Вся пьеса была разбита на 19 эпизодов. Отдельные сцены своим характером и конструкцией напоминали то Мейерхольда, то Таирова, то Станиславского — единого стиля выдержано не было. По содержанию же пьеса была общественно-обличительной. Ее с полным правом можно было называть политической сатирой, и в этом смысле она опять-таки невольно приводила на память Россию... далекую Россию 1905 года.

Суть «Современной карьеры» вкратце сводилась к следующему.

Молодой и неимущий студент оканчивает философский факультет университета. У него нет ни связей, ни богатства, но зато он обладает сердцем змеи и клыками волка, а также «дворянским» происхождением из одного обедневшего самурайского рода. Свое жизненное восхождение наш герой начинает с маленького переодевания. Богатая графиня с дочерью ежедневно проходят мимо Храма Милосердия и подают нищим милостыню. Накамура (таково имя главного действующего лица пьесы) за несколько грошей откупает себе у одного из нищих место у церкви, становится в ряд, знакомится с графиней и очаровывает ее. Настолько очаровывает, что графиня устраивает Накамуру в качестве личного секретаря у своего мужа. Накамура полон восторга и преклонения пред своими хозяевами, кланяется до земли графу, разбивается в лепешку пред графиней и одновременно... бросает алчные взоры на их красавицу-дочь. Но дочь влюблена в сына богача Фудзисима, близкого друга графа, и не обращает на секретаря никакого внимания.

Распущен парламент, назначены новые выборы. Граф является лидером большой политической партии и собирается стать премьером. Для проведения избирательной кампании ему нужны деньги. Фудзисима дает графу 2 млн. иен, позаимствованных им из фондов крупной бумажной компании, председателем которой он является. Накамура выкрадывает деньги у графа и начинает на них скупать акции компании Фудзисима. Благодаря исчезновению 2 млн. иен партия графа терпит поражение на выборах, сам граф оказывается обвиненным в присвоении партийных средств и в отчаянии кончает жизнь самоубийством. Одновременно Накамура переходит на сторону Фудзисима, льстит ему, униженно кланяется ему и добивается того, что богатый капиталист усыновляет проходимца. Мало того, Фудзисима, пользуясь беспомощностью графской семьи, заставляет дочь графа выйти замуж за Накамуру. Получив деньги и жену, Накамура переходит теперь в наступление против своего благодетеля и прием-

ного отца Фудзисима. На собрании акционеров бумажной компании Накамура заявляет о растрате председателем 2 млн. иен, добивается исключения последнего из общества и становится сам главой крупнейшего капиталистического предприятия. Вслед затем Накамура избирается лидером той самой политической партии, которой руководил покойный граф. Последняя сцена изображает свадебный пир Накамуры. Сидит триумфатор-герой, сидит бледная и трепещущая невеста, сидят родные и гости... А пьяный профессор философии, у которого когда-то учился Накамура, произносит пламенную обличительную речь:

«Господа! Жених — умный и великий человек. Вспомните его карьеру. Он прикинулся нищим у Храма Милосердия, стал фаворитом графини, сделался личным секретарем графа, очаровал богача Фудзисиму, обоих надул, с обоих выжал деньги, обоих столкнул с своей дороги, получил красивую жену, добился места президента «Всеяпонской бумажной компании», поднялся до положения лидера крупнейшей политической партии... Господа! Разве же он не умен? Разве же он не велик?.. О, этот джентльмен — лучший представитель нашей современной политической культуры! Он призван руководить нашей страной. Он достоин настоящего преклонения!»

И затем, обращаясь к публике, пьяный философ восклицает:

«Всех согласных со мной прошу сюда, ко мне, на сцену!.. Скорее, скорее!.. Вы не идете? Никто не идет?.. Что же, вы не согласны со мной?.. ...Ай-ай! Как это не хорошо! Вы не понимаете философии! Вы не понимаете жизни!.. Так вы окончательно не идете ко мне?! О, глупцы, глупцы! Разве вы не видите, что только такие люди, как наш глубокоуважаемый герой, способны преуспевать в современной Японии?.. Ха-ха-ха!... Ха-ха-ха!»..

Хорошая пьеса, интересная пьеса! Я с величайшим наслаждением смотрел ее с начала до конца. Но при этом меня невольно поразило, что главное действующее лицо, мошенник Накамура, явно играл под... Танаку, премьеру Та-



наку (умершего совсем недавно, в конце 1929 г.). Тот же высокий, необычно высокий для японца рост, та же надменная осанка, тот же ежик не совсем темных волос на голове и тот же громкий, точно грохочущий голос. Совсем Танака, да и только! Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что и автор пьесы и главный актер били своим выступлением в одну вполне определенную цель, и что мишенью их был вождь партии сейюкай и глава правительства генерал-барон Танака.

Я не знаю, полностью ли соблюдал Китамура «историческую истину», когда писал свою пьесу. Думаю, что нет. Вероятнее всего, что как по соображениям цензурного, так и по соображениям художественного порядка он создал своеобразную амальгаму из «правды» и «вымысла». Но это неважно, важно то, что по существу писатель дал тип, ярким воплощением которого был покойный японский премьер.

Танака происходил из древнего самурайского рода, но начал свою карьеру почти без копейки денег. Зато он обладал целым рядом весьма важных для жизненного успеха достоинств: энергией, решительностью, бесцеремонностью, хищным честолюбием. И еще, — Танака был членом знаменитого клана Цесю, а это значит очень много. Клан Цесю сыграл крупнейшую роль при низвержении сегуната, и в награду получил в свое полное и бесконтрольное владение японскую армию. Все офицеры этой армии — члены клана Цесю. Ни один выходец из другого клана не принимается в состав этой властно-привилегированной касты!

Но Танака был одним из клана Цесю и потому дорога к «командным высотам» в армии ему была открыта. Однако, дорога эта была длинная, и шагать по ней честолюбивому самураю пришлось почти целых 30 лет. В самом деле, первый офицерский чин Танака получил 17-летним мальчиком в 1886 г., а настоящих «высот» ему удалось достигнуть только в самом начале мировой войны, когда в 1915 г. он был назначен помощником начальника генерального штаба. События жизни Танаки за эти три десятилетия сравнитель-

но мало известны, но есть все основания полагать, что всегда и везде он умел постоять за себя. Иначе ведь генеральские погоны не зарабатываются. Отмечу одну любопытную деталь: Танака по собственному желанию был командирован в Россию и провел несколько лет в рядах царской армии, знакомясь с ней и изучая русский язык. До конца дней своих он сохранил любовь к блинам с икрой, восторженные воспоминания о «Яре» и «Дононе», а также некоторый загасчи-более употребительных русских слов, с которыми умел довольно ловко обращаться.

Однако, с 1915 г. звезда Танаки стала быстро и круто подыматься вверх. В 1918 г. он вошел в качестве военного министра в кабинет Хара, а в 1921 г. — в том же качестве в кабинет Такахаши. В 1925 г. Танака стал лидером партии сейюкай, а в 1927 г., после большого банковского краха, сведшего в могилу кенсейкайское правительство Вакасуки, он был назначен премьер-министром с одновременным управлением министерством иностранных дел. Два года Танака оставался во главе Японской империи, а затем звезда его быстро полетела вниз и спустя полгода после падения его кабинета окончательно и бесповоротно угасла в обстоятельствах, дающих материал для всякого рода вопросов и сомнений...

Такова внешняя сторона жизни Танаки. А внутренняя?

О, она очень своеобразна и в высшей степени характерна для отношений современной Японии. Танака — это не просто генерал, не просто барон, не просто премьер-министр. Танака — это яркое воплощение одной из важнейших сил, которые имеют сейчас в руках реальную власть над Японской империей. Это совершенно законченный представитель той «военной партии», которая, опираясь на армию, вносит в ряды японской олигархии пережитки военно-феодалных навыков и традиций.

По всему своему духовному облику Танака — это прежде всего грубый и прямолинейный солдат, который действительно верит лишь во всеспасаю-

щую силу кулака. Он глубокий реакционер в вопросах внутренней политики и в любой момент готов послать «лейтенанта с десятком солдат» для того, чтобы разогнать даже куцый японский парламент и раз навсегда ликвидировать даже дырявые вольности японской «демократии». Он — бешеный японский «патриот», способный придти в настоящее неистовство при виде императорского знамени. В душе он, конечно, фашист, хотя по фактическим соображениям официально отгораживается от этого «почетного звания». Не даром как раз в эпоху министерства Танаки преследования «коммунистов» в Японии приняли совершенно беспримерные размеры и отличались совершенно беспримерной жестокостью.

Вместе с тем в области внешней политики Танака — яркий и надменный империалист. Конечно, все руководящие японские политики — империалисты, но среди них есть различные оттенки и школы, на практике дающие не совсем одинаковые преломления империалистического спектра. Танака принадлежит к тому крылу японского империализма, которое сосредоточивает свое главное внимание на сухопутной экспансии в сторону Азиатского континента (т. е. конкретно в сторону Сибири и Китая), которое плуце зеницы ока стережет Манчжурию и которое будет «драться до последнего» за сохранение своих привилегий в Великой Серединой Республике. И это неудивительно. Танака воплощает армию, а не флот. Японский флот больше мечтает об экспансии морской — в сторону Тихого океана. Армия же, наоборот, больше думает о суше. При этом Танака, как настоящий солдат, понимает экспансию очень грубо и примитивно, и в формах, где открыто-бронированный кулак играет решающую роль. Нисколько не удивительно поэтому, что на совести Танаки имеются две военных интервенции — сибирская 1918—22 гг. и китайская 1927—28 гг.

Но Танака не только черный реакционер внутри и агрессивный империалист во вне. Он — и тут невольно приходится вспомнить о пьесе «Современ-

ная карьера» — один из самых беззастенчивых, продажных и преступных японских политиков, хотя в «Стране Восходящего Солнца» на этот счет побить рекорд не так-то легко. Каждый шаг Танаки вверх по иерархической лестнице успеха сопровождался интригами, подкупам, насилиями. Однако, эти приемы его политики особенно опасный характер стали принимать в последние 10—15 лет, когда честолюбивый самурай начал подбираться к «командным высотам» власти.

Политика в Японии стоит денег, больших денег, а особенно, когда речь идет о руководстве крупной политической партией и об управлении 90-миллионной империей. Танака это прекрасно понимал и потому своевременно стал заготовлять «порох» для своей атаки на «командные высоты». Клан Цесю располагал крупными капиталами для использования их с политическими целями, — Танака с помощью лести, хитрости, интриг открыл себе доступ к этому сокровищу и сделал из него примерное употребление. Этого, однако, надолго не хватило. Тогда Танака, ничтоже сумяшася, глубоко залустил руку в государственный карман. Будучи военным министром в эпоху сибирской интервенции, он «позаимствовал» из секретных фондов своего ведомства, не много, не мало 3 млн. иен. В этой генеральской «экспроприации» Танаке верно помогал его друг и соратник Яманаси, занимавший в то время пост товарища военного министра. Когда в 1928 г. оппозиция в парламенте открыто обвинила премьера в том, что с помощью денег, украденных у государства, он стал вождем сейюкайской партии, Танака даже бровью не моргнул. Он не нашел нужным даже опровергать! Танака, барон Танака выше таких мелочей!..

Однако, и казенным деньгам имеется предел, а политика в Японии чертовски дорогая штука! Поэтому Танаке вечно приходилось изыскивать все новые и новые источники доходов. Таким чрезвычайно важным источником для него стали кошельки крупнейших капиталистических фирм и концернов. Танака брал с них оптом и в розницу, но боль-

ше все-таки оптом и при том по высокой расценке. Ему платили шахтовладельцы, металлурги, текстильные бароны, пароходовладельцы, рыбопромышленники, банкиры и прочая, и прочая, и прочая. Конечно, платили не даром, не ради его прекрасных черных глаз. Совсем напротив! Для предпринимателей каждый взнос «дани» Танаке являлся в сущности весьма выгодным помещением капитала. Когда Танака достиг «командных высот», он с лихвой отблагодарил всех своих «данников» — кого государственной субсидией, кого выгодной поставкой, кого теплым местечком, кого концессией, кого членством в палате паров, кого орденом или титулом. Так, верного своего «личарду» генерала Яманаси Танака, несмотря на бурную оппозицию со стороны общественного мнения страны, назначил ге-

нерал-губернатором Кореи. Другого своего поклонника и друга, «медного короля» Кухару, вложившего в Танакину карьеру, как утверждают, не менее 3 млн. иен, он пожаловал званием министра путей сообщения. Третьего своего подручного Киносита Танака отправил «владеть и править» Квантунгом. И так далее, и так далее до бесконечности. Ибо Танака — это утверждают решительно все японские политики — всегда был «верным другом» и никогда не забывал своими милостями людей, когда-либо оказавших ему «услугу»...

Так вот каков политический и моральный облик Танаки! А ведь Танака — повторяю еще раз — не просто Танака. Танака — это тип, Танака — это часть, и при том очень важная часть той олигархии, которая сейчас реально правит Японией.

# Из прошлого

## ЗАБЫТОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ ПУШКИНА „ИСПОВЕДЬ СТИХОТВОРЦА“

М. Цявловский

Священник. Кто ты, мой сын?

Стихотворец. Отец, я бедный однодворец.

Сперва подьячий был, а ныне стихотворец.  
Довольно в целый год бумаги исчертил;  
Пришел покаяться — я много нагрешил.

Священник. Поближе. Наперед скажи мне откровенно,  
Намерец ли себя исправить непременно?

Стихотворец. Отец, я духом слаб, не смею слова дать.

Священник. Старался ль ты закон господний соблюдать  
И, кроме вышнего, не чтить другого бога?

Стихотворец. Ах, с этой стороны я грешен очень много:  
Мне богом было — я, любви предметом — я,  
В я заключались и братья и друзья,  
Лишь я был мой и царь, закон и обладатель;  
А что всего тошней, лишь я был мой читатель.

Священник. Вторую заповедь исполнил ли, мой сын?

Стихотворец. Кумиров у меня бывало не один:  
Любил я золото и знатным преклонялся,  
Во всякой песенке Глафирами пленялся,  
Которых от роду, хотя и не видал,  
Но тем не менее безбожно обожал.

Священник. А имя божие?

Стихотворец. Когда не доставало  
Иль рифмы иль стопы, то, признаюсь, бывало,  
И имя божие вклею в упрямый стих.

Священник. А часто-ль?

Стихотворец. Да во всех элегиях моих;  
Там можешь, батюшка, прочесть на каждой строчке  
«Увы!» и «се!» и «ах!», «мой бог!» тире да точки.

Священник. Не хорошо, мой сын! А чтить ли ты родных?

Стихотворец. Не много! Да к тому ж не знаю вовсе их, —  
Зато своих я чад люблю и чту душою.

Священник. Как время проводил?

И кроме вышнего не чтить другого бога?

Стихотворец.

Я летом и зимою

Пять дней пишу, пишу, — печатаю в шестой,  
Чтоб с горем пополам насытиться в седьмой  
А в церковь некогда: в передней Глазунова  
Я по три жду часа с лакеями Графова.

Священник. Убийцей не был ли?

Стихотворец.

Ах, этому греху

Отец, причастен я; покаюсь на духу.  
Приятель мой Дамон лежал при смерти болен.  
Я навестил его; он очень был доволен;  
Желая бедному страдальцу угодить,  
Я оду стал ему торжественно твердить.  
И что же? Бедный друг! Он со строфы начал.  
Поморщился, кряхтел и.... умер.

Священник.

Не похвально.

Но вот уж грех прямой: ведь ты прелюбодей!  
Твои стихи...

Стихотворец.

Всё лгут, а на душе моей

Ей-богу, я греха такого не имею;  
По моде лишний грех взвалил себе на шею.  
А правду вымолвить — я сущий Эпиктет,  
Воды не замутить, предобренький поэт.

Священник. Да, лгать не хорошо. Скажи мне бога ради:

Соблюл-ли заповедь хоть эту: не укради?

Стихотворец.

Ах, батюшка, грешон! Я краду иногда!  
(К тому приучены все наши господа)  
Словцо из Коцебу, стих целый из Вольтера,  
И даже у своих; не надобно примера.  
Да как же без того беднякам нам писать?  
Как мало своего — придется занимать.

Священник. Не хорошо, мой сын, на счет чужой лениться,

Советую тебе скорее отучиться  
От этого греха. На друга своего  
Не доносил ли ты и ложного чего?

Стихотворец. Лукавый соблазнил. Я малый не богатый —

За деньги написал посланье длинногато,  
В котором Мевия усердно утешал —  
Он, батюшка, жену недавно потерял —  
Я публике донес, что бедный горько тужит,  
А он от радости молебны богу служит.

Священник. Вперед не затевай, мой сын, таких проказ.

Завидовал ли ты?

Стихотворец.

Завидовал не раз,

Греха не утаю, — богатому соседу,  
Хоть не ослу его, но жирному обеду  
И бронзе, деревням и рыжей четверне,  
Которых не иметь мне даже и во сне.  
Завидовал купцу, беспечному монаху,  
Глушцу, заснувшему без мыслей и без страху  
И, словом, всякому, кто только не поэт.

Священник. Худого за собой не знаешь больше?

Стихотворец.

Нет.

Во всем покаяться; греха не вспомню боле,  
Я вечно трезво жил, постился поневоле  
И ближним выгоду не раз я доставлял:  
Частенько одами несчастных усыплял.

Священник. Послушай же теперь полезного совета:

Будь добрый человек из грешного поэта.

Среди многочисленных стихотворений, ходивших в рукописных сборниках в качестве произведений Пушкина, имеется выше напечатанное стихотворение, чаще называемое «Исповедь бедного стихотворца». Впервые как стихотворение Пушкина оно было напечатано А. И. Герценом в «Полярной звезде» на 1859 год. Затем через 22 года гр. Е. А. Салиас снова напечатал стихотворение в своем журнале, тоже называвшемся «Полярная звезда» (1881 г., № 1). Здесь в заметке «От редакции» сказано, что текст этот взят «из альбома, переполненного стихами и прозой многих русских литераторов. Альбом этот наполнился в пятидесятых годах литератором-дилетантом».

Некто, скрывшийся под псевдонимом А. С—кий, подвергнув разбору в «Историческом вестнике» (1881 г., № 4) это стихотворение, доказывал, что оно не может принадлежать Пушкину, как слишком для него слабая вещь. Доказательства С—кого чрезвычайно наивны. Так, например, он утверждал, что «сколько известно, Пушкин никогда не употреблял прилагательных и причастий в усеченной форме». Это более чем странное заявление как-то даже неловко опровергать. Кто же из читавших Пушкина не знает, что не только в лицейский период его творчества, но и позднее усеченные формы прилагательных — обычное явление в стихах Пушкина? И тем не менее аргументы С—кого против авторства Пушкина показались столь убедительными, что ни один из редакторов сочинений Пушкина не ввел этого стихотворения в собрание его сочинений.

Для нас решающим моментом в вопросе, Пушкин ли автор этого стихотворения, является тот факт, что текст стихотворения записан С. А. Соболевским среди других четырнадцати несомненных стихотворений Пушкина, в свое

время не напечатанных. Товарищ в 1818—1821 гг. брата поэта Льва Сергеевича по «Благородному пансиону» при петербургском Педагогическом институте, тогда же подружившийся и с А. С. Пушкиным, С. А. Соболевский, принимавший участие в затевавшемся в 1818 г. поэтом издании сборника его стихотворений, хорошо мог знать творчество Пушкина лицейского периода<sup>1)</sup>.

Тема стихотворения — сатирическое изображение бездарного поэта — одна из излюбленных тем Пушкина-лицеиста. Будучи весьма старым литературного происхождения, тема эта могла быть подсказана и окружавшей юного поэта обстановкой. Многие из его товарищей (Илличевский, Дельвиг, Кюхельбекер, Яковлев, Корсаков, Юдин) писали стихами и прозой; в лицее издавались рукописные журналы, составлялись рукописные сборники, и вообще атмосфера этого учебного заведения, как никогда и нигде, была насыщена литературными интересами. Среди лиценстов-писателей особое место занимал Кюхельбекер — предмет постоянных насмешек товарищей. Предание говорит, что именно Кюхельбекер выведен в лице поэта в стихотворении «К другу-стихотворцу». Это первым появившееся в печати стихотворение Пушкина как раз и является самым близким и по теме и по форме к «Исповеди стихотворца». Оба стихотворения написаны шестистопным ямбом. Этим размером, кроме «К другу-стихотворцу», написано еще шесть лицейских стихотворений Пушкина: «Осгар», «Лицинию», «На возвращение государя», «Безверие», «К ней», «К Жуковскому».

<sup>1)</sup> Кроме текста Соболевского и текстов в двух журналах «Полярная звезда», нам известны еще списки руки П. И. Бартечева, П. А. Ефремова и неизвестного в рукописном сборнике стихотворений Пушкина в Дашковском собрании. Указанные тексты имеют варианты, но мы их здесь не приводим.

Традиционную диалогическую форму стихотворения «К другу-стихотворцу» мы имеем и в «Исповеди», при чем в последнем стихотворении она подчеркивается обозначением собеседников. Мы легко допускаем, что пародия на исповедь в грехах против десяти заповедей — французского происхождения.

Пародия эта увеличивает число «вольтерьянских» высказываний Пушкина-лицеиста. Припомним признание Пушкина в «Городке»:

Но, боже, виноват.  
Я каюсь пред тобою:  
Служителей твоих,  
Полов я городских  
Боюсь, боюсь беседы;  
И свадебны обеды  
Затем лишь не терплю.  
Что сельских иереев,  
Как папа иудеев,  
Я вовсе не люблю,

или уверенно его, что будто бы он «век не мог выучить «Отче наш» и «Богородицу», или, наконец, комическую фигуру Панкратия в «Монахе».

Образ бездарного поэта то и дело мелькает в стихах Пушкина-лицеиста. Прототипами образа обычно являлись «беседисты» и особенно пресловутый гр. Д. И. Хвостов, под именем Свистова и Графова постоянная мишень для эпиграмм и пародий. У Пушкина Хвостов осмеян в целом ряде лицейских стихотворений<sup>1)</sup>: «К другу-стихотворцу», «Городке», «Тени Баркова», «Моему Аристарху», «К Дельвигу».

Стихи «Исповеди»:

В передней Глазунова

Я по три часа жду с лакеями Графова намекают на то, как Хвостов, издававший на собственный счет свои сочинения, будто бы посылал своих лакеев покупать их в лавке Глазунова. Безотносительно к Хвостову тема бездарного поэта развивается в ряде стихотворений. Не говоря уже об эпиграммах, в стихотворении «К другу-стихотворцу» говорится, что

Не тот поэт, кто рифмы плести умеет,

И перьями скрипя, бумаги не жалеет,  
кто своими одами «тягичит журналы» и неделями сидит над экспромптами. В

1) И в позднейшие годы Пушкин не оставял своим вниманием Хвостова. Вспомним хотя бы пародийную «Оду» 1825 г.

стихотворении «Батюшкову» («Философ резвый и пинт») Клит в своих одах

Здравый смысл вверх дном поставил;  
в стих. «А. И. Галичу»

Угрюмый рифмотор,  
Повитый маком и крапивой,  
Холодных од творец ретивый  
На скучный лад сплетая вздор...

в «Городке» —

Кладбище обреши  
На самой нижней полке  
Все школьнически толки,  
Лежащие в пыли:  
Визгова сочиненья,  
Глупова псалмопенья,  
Известные творенья,  
Увы, одним мышам;

в стихах «К Жуковскому» «беседисты»

Прозу и стихи отважно все куют...  
Те слогом Никона печатают поэму,  
Один славянских од громады громоз-  
дят.

Другие в бешеных трагедиях хрипят.

Их

Творенья смех уму,  
И в тьме возникшие низвергнутся во  
тьму.

В том же стихотворении Пушкин так характеризует Тредьяковского и Сумарокова:

Один на груди сел и прозы и стихов,  
Тяжелые плоды полуночных трудов,  
Усопших од, поэм забвенные могилы!  
С улыбкой внемлет вой стопосложитель-  
хилый:

Пред ним растерзанный стонет Телемах,  
Железное перо скрипит в его перстах  
И тянет за собой гексаметры сухие,  
Спондеи жесткие и дактилы тугие.  
Ретивый музою прославленный певец,  
Гордись ты — Мевия надугый образец.  
Но кто другой, в дыму безумного куренья  
Стоит среди толпы друзей непросвещенья.  
Торжественной хвалы к нему несется шум:  
Он, он под рифмою поспрал и вкус и ум.  
Ты ль это, слабое дитя чужих уроков,  
Завистливый гордец, холодный Сумароков.  
Без силы, без огня, с посредственным умом,  
Предрассуждением обязанный венцом  
И с Пинда сброшенный и проклятый  
Расинном.

Из стихотворений послелицейских нельзя не отметить «Первого послания к цензору», где опять говорится о поэтах, которые сочиняют оду, «потечя да крихтя». Слова: «Лишь я был мой читатель» в «Исповеди» созвучны со стихом: «Хвостова, Буниной единственный читатель» в «Первом послании».

Кроме сходства тем, диалогической формы и одинакового размера, «Исповедь стихотворца» имеет со стихотворе-

нием «К другу стихотворцу» ряд сходных мотивов, выражений, рифм. «Мораль» обоих стихотворений — одна и та же, — бесполезность трудов бездарного поэта и противопоставление последнему «доброего» человека.

В «К другу-стихотворцу» читаем:

Счастлив, кто, ко стихам не чувствуя  
охоты,

Проводит тихий век без горя, без заботы,  
Своими одами журналы не тягчит.

«Исповедь стихотворца» кончается так:

Послушай же теперь полезного совета:  
Будь добрый человек из грешного поэта.

Ту же мысль встречаем в стихотворении «К Батюшкову»:

Что Клит был добрый человек,  
Тихонько проводил свой век,  
Своим домком тихонько правил  
И жил без горя, без забот,  
Покамест не печатал од.

Мотив — бездарный поэт только портит бумагу — находим в обоих стихотворениях. В стихотворении «К другу-стихотворцу»:

Мой друг, не тот поэт, кто рифмы плестъ  
умеет  
И, перьями скрывя, бумаги не жалеет.

В «Исповеди»:

Довольно в целый год бумаги исчертил.

Мотив — бедность поэта: «К другу-стихотворцу»:

Не так, любезный друг, писатели богаты,  
Судьбой им не даны ни мраморны палаты,  
Ни чистым золотом набиты сундуки;  
Лачужка под землей, высоки чердаки. —  
Вот пышны их дворцы, великолепны  
залы...

Родился наг и наг ступает в гроб Руссо:  
Камюэнс с нищими постелью разделяет.

«Исповедь»:

Я летом и зимою  
Пять дней пишу, пишу, печатаю в шестой,  
Чтоб с горем пополам насытиться в  
седьмой.

В обоих стихотворениях фигурирует священник; и, наконец, находим две пары одинаковых рифм:

«К другу-стихотворцу»:

Творенья громкие Рифматова, Графова  
С тяжелым Вибрусом гниют у Глазунова.

«Исповедь»:

А в церковь некогда: в передней Глазунова  
Я по три жду часа с лакеями Графова.

«К другу-стихотворцу»:

Постойте, скажешь мне, — ведь я не од-  
нодворец,  
Могу я быть богат, хотя и стихотворец.<sup>1)</sup>

«Исповедь»:

Кто ты, мой сын?  
Отец, я бедный ододворец,  
Сперва подъячий был, а ныне стихотворец.

Отметим еще ряд общих мотивов в «Исповеди стихотворца» и в лицейской поэзии Пушкина: таков мотив признания в версификационной беспомощности начинающего поэта.

«Моему Аристарху»:

Я знаю сам свои пороки,  
Не нужны мне твои уроки.  
Конечно, беден гений мой;  
За рифмой часто холостой,  
На зло законам сочетанья,  
Бегут трехстопные толпой  
На аю, ает и на юй.  
Еще немногие признанья:  
Я ставлю (кто же без греха?)  
Пустые часто восклицанья  
И сряду плоских три стиха.

«Исповедь»:

Когда не доставало  
Иль рифмы, иль стопы, то, признаюсь, бывало  
И имя божие вклею в упрямый стих.  
А часто ль?

Да во всех элегиях моих;  
Там можешь, батюшка, прочесть на каждой  
строчке  
Увы! и се! и ах! мой бог! тире да  
точка.

Мотив — усыпление и умерщвление чтением стихов — встречаем в «Гордке»:

Захочет — сладко спит на Рифмова скло-  
нясь;

В «Пирующих студентах»:

Вильгельм, прочти свои стихи,  
Чтоб мне уснуть скорее.

В „Couplets“:

„Quand un poète en son extase  
Vous lit son ode ou son bouquet  
.....  
On dort, on baille en son mouchoir“<sup>2)</sup>.

«К Батюшкову»:

Скажи по милости Графону,  
Ползком ползущу к Гелликону  
Чтоб перестал совсем писать  
И бедных нас морить со скуки.

<sup>1)</sup> Стихи взяты из обнаруженного в архиве Горчакова автографа стихотворения «К другу-стихотворцу».

<sup>2)</sup> «Когда поэт, горя экстазом,  
Читает оду или сонет,  
.....  
Мы спим, зеваем мы в платок».



## «Исповедь»:

Я оду стал ему торжественно твердить,  
И что же? Бедный друг! Он со строфы  
начальной

Поморщился, кряхтел и умер.

и дальше:

Частенько одами несчастных усыплял.

## «К Шишкову»:

Мечтательных Дорид и славил и бранил,  
Иль дружбе плел венок, а дружество  
зевало

И сонные стихи в просонках величало.

## «Первое послание к цензору»:

Тот оду сочинит, потев да кряхтя,  
Иной трагедию напишет нам шутя, —  
До них нам дела нет, а ты читай, бесися,  
Зевай, сто раз засни, а после подпишися.

Очень характерно для Пушкина-лицеиста упоминание Вольтера («Словцо из Коцебу, стих целый из Вольтера»<sup>1)</sup>). «Всех боле перечитанный, всех более любимый», он очень часто встречается в стихах Пушкина. Многократно цитированные строки о Вольтере в лицейских стихотворениях с открытием в архиве Горчакова новых текстов пополнились обращением к Вольтеру в «Монахе» и большой тирадой о нем в стихотворении «К другу-стихотворцу».

Не менее характерно и упоминание Коцебу, пьесы которого в начале XIX в. пользовались огромной популярностью: о «коцебятине» пишет Пушкин А. А. Бестужеву 30 ноября 1825 г.

Стихи на тему о несоответствии действительности поэтическим вымыслам:

1) В тексте, напечатанном Салиасом, за этим стихом идет:

«А мысль у Байрона, а шутку из Мольера»  
Не может быть никакого сомнения, что стих этот — подвешенная вставка переписчика. В лицейском стихотворении еще не может быть речи о Байроне.

Во всякой песенке Глафирами плевался,  
Которых от роду, хотя и не видал,  
Но тем не менее безбожно обожал.

и еще:

Ведь ты прелободей.

Твои стихи...

Всё лгут, а на душе моей,  
Ей-богу, я греха такого не имею.  
По моде лишний грех звалил себе на шею.

А правду вымолвить — я сущий Эпиктет.

близки к стихам:

В холодных песенках любовью не пылал.  
(«К другу-стихотворцу»)

и

Угодник Бахуса, я трезвый меж друзьями,  
Бывало пел вино водяными стихами.  
(«К Шишкову»).

Эпиктет упоминается Пушкиным в стих. 1819 г. «Стансы Толстому»:

И на лампаду Эпиктета  
Златой Горадиев фиал.

Стихотворение, вероятно, 1820-х гг. «Десятая заповедь» является как бы развертыванием стихов «Исповеди»:

Завидовал не раз,

Греха не утаю, богатому соседу,  
Хоть не ослу его, но жирному обеду...

«Рыжая четверня», которой завидует стихотворец, сродни «бешеной четверке лошадей» в стих. «Сон» и «четверке вятских лошадок» в куплетах на слова: «Никак нельзя — ну, так и быть», текст которых имеется в архиве Горчакова. Условные собственные имена в «Исповеди» не одиноки в лицейском творчестве Пушкина — Мевий встречается в стих. «К Жуковскому», Дамон — в названных уже куплетах. Наконец, отметим слово «подъячий», встречающееся в «Тени Баркова» и в «Городке» — («подъяческий народ»).

Всего этого, нам кажется, более чем достаточно, чтобы утверждать, что в «Исповеди стихотворца» мы имеем несомненное стихотворение Пушкина, написанное им, вероятнее всего, в 1814 г.

9 марта 1930.

# Литература и искусство

1. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. Проблемы марксистского литературоведения. — 2. Арк. ГЛАГОЛЕВ. Неосуществленный замысел. — 3. Я. ФРИД. «Пятое сословье». — 4. Открытое письмо А. И. Елизаровой-Ульяновой. — 5. Ответ редакции «Нового Мира»

## 1. ПРОБЛЕМЫ МАРКСИСТСКОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

Вяч. Полонский

Статья первая

Споры вокруг школы В. Ф. Перверзева свидетельствуют, что марксистская литературная наука вплотную подошла к разрешению основных своих проблем. Перетираются «с песочком» почти все «системы», выдававшие себя за марксистские или обособлявшие от марксизма. Происходит плодотворнейшая проверка. Разрушаются старые авторитеты, рассыпаются в прах постройки, еще недавно казавшиеся незыблемыми. Пользуясь аналогией, есть основание утверждать, что мы вступили в «реконструктивный» период литературной науки.

Мы не знаем другого примера, когда литературоведческое учение привлекло бы такое широкое общественное внимание. Диспут, длившийся в Коммунистической Академии несколько месяцев под ряд; бесконечный список выступавших; споры в аудиториях вузов, писательских организациях, кружках, на съездах и конференциях; поток статей, исследований, заметок, начиная от академических изданий и кончая «Правдой», центральным органом нашей партии.

Предмет кабинетных размышлений и университетского преподавания, наука о литературе ставится на обсуждение широких масс: это свидетельствует о больших успехах нашей советской культуры. Точка зрения читателя отлича-

лась до последнего времени «потребительским» характером. Повышение теоретического интереса означает если не вытеснение «потребительской» установки, то по крайней мере повышение качественных требований, с какими так наз. широкий читатель подходит к литературе. Именно неприязнительностью «потребительского» подхода («было бы занято!») объяснялась жизнеспособность халтурной прозы и всевозможных подделок.

Причина существования эстетической и псевдореволюционной дешевки заключена не только в низких вкусах писателя, но и в низких вкусах читателя. Когда читатель научится отличать искусство от суррогата, мешанскую подделку от подлинной революционной прозы, он перестанет потреблять ее. А научится он делать это лишь тогда, когда «практика» потребления литературы будет освещена теорией. Надо учиться не только искусству писать книги, но также искусству читать книги. Последним умением не часто обладает наш читатель. Это именно обстоятельство нередко обезоруживает его перед наполированным ловкачем, фальшивки которого он в простоте душевной принимает за чистую монету. Знание искусства, законов его развития, его природы, его особенностей становится одним из не-

обходимейших знаний в эпоху величайшего социалистического строительства, когда искусство, подлинное революционное искусство, призвано играть одну из виднейших ролей.

Вот почему споры вокруг марксистского литературоведения, делаясь достоянием широкого читателя, имеют, кроме узко теоретического, еще и общественный смысл. Настоящие очерки и ставят своей задачей привлечь внимание читателя к литературным проблемам, выдвинутым нашими теоретическими исканиями.

«Школа» В. Ф. Переверзева более других завоевала влияние и распространение. Она выступала, как последнее слово марксистской науки о литературе. Но, выступая так, целый ряд основных проблем школа эта разрешала не только не убедительно, но в высшей степени ошибочно именно с точки зрения диалектического материализма. Потому-то она не могла не быть атакованной с разных сторон.

Сам В. Ф. Переверзев заметил однажды, что у него «системы», т. е. стройного учения, всесторонне охватывающего предмет, еще нет. Это в самом деле так. «Системой» мы учение В. Переверзева называем в условном смысле. И если его «учением» не охвачены и не рассмотрены все без исключения проблемы, выдвигаемые марксистским изучением литературы, можно все-таки утверждать, что некоторые и притом основные проблемы им разработаны. Они суть следующие:

Во-первых, проблема специфичности литературы, как искусства, и связанный с нею вопрос о задачах литературной науки;

во-вторых, проблема социального детерминизма в искусстве и связанные с нею теории факторов и взаимодействия;

в-третьих, проблема личности автора и связанные с нею вопросы о биографическом методе в истории литературы;

в-четвертых, ряд проблем, связанных с предыдущими, как то: роль психологических и идеологических элементов в искусстве, роль в художественном твор-

честве сознательного и подсознательного и ряд частных проблем, которые отчасти сопутствуют названным выше, отчасти из них вытекают.

Наконец, укажем на проблему социальной функции литературы, одну из самых важных, нашедшую минимальное освещение в системе Переверзева.

Наше изложение мы будем вести в той последовательности проблем и связей, в какой, примерно, они должны были бы следовать в «системе», если бы она была законченной, и в какой, вообще говоря, хотя бы в отрывках, ее намечает в своих трудах В. Ф. Переверзев. На первом месте должна стоять проблема специфичности художественной литературы. С рассмотрения этой проблемы мы и начнем наши очерки.

## 1. ПРОБЛЕМА СПЕЦИФИЧНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«... У нас с вами речь пойдет об искусстве. Но во всяком сколько-нибудь точном исследовании, каков бы ни был его предмет, необходимо держаться строго определенной терминологии. Поэтому мы прежде всего должны сказать, какое именно понятие мы связываем со словом искусство».

Г. Плеханов. «Письма без адреса».

### 1. Что есть литература и как на вопрос этот отвечает В. Ф. Переверзев

#### 1

Первая задача, которая возникает перед всяким исследователем, заключается в определении предмета его исследования. Какова сущность предмета, его объем, содержание, его социальная роль, его отличительные, отграничивающие особенности? Другими словами: при создании системы литературоведения первым вопросом оказывается:

что есть литература?

Определить «предмет» — значит выяснить его существенный признак, указать специфические особенности, выяснить его природу. «Вся система» и сводится в сущности к тому, чтобы обосновать и развернуть определение, поставленное во главу угла.

Особенно высокие требования приходится предъявлять научной теории, имеющей дело с искусством. Именно

эта область в наше время все еще продолжает быть областью широчайшего произвола. Марксизм пока не создал такой общепризнанной системы «эстетических» воззрений, которая методом диалектического материализма разрешила бы все неразрешенные вопросы искусствознания. Потому-то найти «определение» литературы с точки зрения марксистского метода есть основная задача марксиста, изучающего литературу как искусство. В определении должна быть отражена специфика предмета и социальная функция его, и тот угол зрения, какой отличает марксистскую методологию от всякой иной. Как же определяет предмет своей науки В. Ф. Переверзев?

## 2

«Литература,—читаем мы,—это игра в жизнь, а социальный смысл игры — подготовка, воспитание для жизненной борьбы».

«Художественное творчество есть игра в жизнь,—развивает он свою мысль,—но чтобы играть, надо в жизни испытать то, чем собираешься играть в искусстве»<sup>1)</sup>.

В основе искусства, как воспроизводящей, конструктивной деятельности человека, лежит, таким образом, социальный опыт. С социологической точки зрения литературное произведение — продукт социальной действительности, проявление классового бытия, выраженные специфическим языком жизнь и сознание определенной общественной группы. Иначе: литература — идеологическая надстройка над определенным экономическим базисом.

Надстройка эта обладает индивидуальными, ей одной присущими чертами в ряду других идеологических надстроек, развивающихся на том же экономическом базисе. Поэтому литературе, как и всякую другую идеологическую надстройку, необходимо изучать в ее специфическом бытии. Отсюда и возникает потребность в спецификации литературы, как предмета изучения. В чем же спецификум литературы?

Вот как отвечает на этот вопрос В. Ф. Переверзев.

## 3

«...Этот спецификум с марксистской точки зрения заключается в том, что литература, будучи произведением слова,

не является системой мыслей,  
не является логической системой,  
не относится к разряду логических систем,—

она всегда является системой образов, и только системой образов.

В этом — специфика литературного факта, обязывающего нас к тому, чтобы изучать и делать объектом своего изучения именно образ. Образ и система образов должны стоять в центре внимания того, кто подходит к изучению литературно-художественных произведений.

Не дело историков литературы разговаривать о философии и философских течениях и направлениях,

не дело историка толковать о течениях в области публицистики и общественной мысли,

не его дело рассуждать даже о критике и критиках.

Это все лежит за пределами литературоведения. Объектом литературоведения, повторяю, является только сфера образного творчества. Только там, где люди создают в словесной ткани системы образов, только там мы имеем дело с литературными фактами, и только эти литературные факты подлежат нашему исследованию»<sup>2)</sup>.

Такова специфика. Она — в образе, в системе образов.

## 4

Но что такое образ? Раскрывая это понятие, В. Ф. Переверзев говорит о психологии, о характере, о системе поведения.

«Воспроизведенная система поведения, или, что то же самое, воспроизведенный характер,—это и есть образ. Нельзя воспроизводить поведение, нельзя играть, не давая образа. Образ составляет сущность игры. Игра без образа, без воспроизведения системы поведения, характера, просто немыслима, невозможна».

1) Примечания см. после текста.

Понятие образа, как специфического признака искусства, по Переверзеву, тесно связано с понятием игры. «Игра — всегда действие, она сводится к воспроизведению свойственного данной форме жизни поведения, которое иначе называется психологией, характером. Когда данная форма вне непосредственной борьбы за жизнь воспроизводит соответственную ей систему поведения, свойственный ей характер, она играет»<sup>3</sup>).

«Искусство — игра, искусство — образ, в сущности, адекватные формулы, — говорит В. Переверзев, — потому что игра реализуется только в образе, потому что играть — значит давать образ. В игре образ слит с играющим организмом, не имеет существования вне организма. Образ кошки, охотящейся за мышью, есть кошка, играющая с клубком. В искусстве образ отделяется от играющего, объективируется, ведет самостоятельное существование. в виде статуи, картины, пьесы. В этой объективизации и заключается акт художественного творчества. Об'ективируя свою игру, закрепляя ее в материи внешнего мира, художник и создает образ. В искусстве социальный характер, являющийся суб'ектом игры, становится об'ектом, который называется образом».

Остановимся на этих положениях.

Итак: искусство — игра, иначе — образ. Полемицируя с формалистами, В. Переверзев даже противопоставляет формуле В. Шкловского «искусство, как прием» свою формулу «искусство, как образ», или иначе «искусство, как игра».

Того, что сказано В. Ф. Переверзевым, для начала совершенно достаточно, чтобы, прекратив дальнейшее изложение его взглядов, критически проанализировать сказанное.

## II. Искусство, как игра

### 1

Определение «литературы», как игры, звучит в наши дни необычно. Такое определение способно даже вызвать некоторое недоумение.

Нельзя, разумеется, выбросить «игру»

за борт искусствоведения. Она связана с искусством. Но быть (генетически) связанной с искусством, не значит быть искусством. Искусство — не игра. «Игра» и «искусство» — понятия не совпадающие.

На этом вопросе нас заставляет остановиться следующее обстоятельство. Приписав литературе в частности, искусству вообще, такое определение, В. Ф. Переверзев утверждает, что определение это — «пехановское». Возражая Л. Тимофееву, он настаивает на том, что с Пехановым по этому поводу у него, В. Переверзева, нет ни малейших разногласий<sup>4</sup>). Будет поэтому не безынтересно и полезно выяснить, действительно ли Пеханов дал «искусству» вообще, литературе «в частности» то самое определение, какое принято В. Переверзевым?

Другими словами, совпадает ли специфика искусства, как ее понимал Пеханов, с спецификой в понимании Переверзева?

Такую экскурсию следует совершить еще и потому, что «эстетические» взгляды Г. В. Пеханова подвергаются всевозможным интерпретациям, в результате которых основоположнику марксистского метода в литературоведении приписываются мнения, каких он на деле не высказывал. Так, например, молодой искусствовед А. Андрусский в недавно вышедшей книжке своей «Эстетика Пеханова» уверяет нас, будто по Пеханову «сущностью искусства является красота». Л. Аксельрод в статьях своих, напечатанных в «Красной Нови» в 1926 г., приписывает Пеханову взгляд, будто «отличительным свойством и целью искусства является удовлетворение эстетической потребности человека». Можно было бы привести еще ряд высказываний, по-иному формулирующих взгляды Г. В. Пеханова на специфику искусства. Каково же было мнение автора «Монистического взгляда» на вопросы, которые нас сейчас занимают?

### 2

В. Переверзев заблуждается, когда говорит о совпадении своего определения с пехановским. На первый

взгляд, основание для такого утверждения, пожалуй, могли дать те места в книге о Чернышевском<sup>6</sup>), где Плеханов брал под защиту от Чернышевского «теорию игры». Но это только на первый взгляд. Брать что-нибудь под защиту от несправедливой критики еще не значит целиком солидаризироваться с тем, что под защиту берется. В работах Плеханова в разных местах рассеяно множество замечаний, посвященных анализу понятий искусства вообще, литературы в частности, их отдельным «опосредствованиям» и т. д. Так что, если приписывать Г. Плеханову какое-нибудь определение, это следует сделать, лишь согласовав его с другими высказываниями Плеханова по тому же вопросу. Этого именно и не было сделано В. Переверзевым.

Плеханов ни в одной работе не дал окончательно сформулированного, исчерпывающего определения искусства: его «Письма без адреса» остались, как известно, незаконченными. В них были намечены лишь основы генетического понимания искусства. Именно говоря о генезисе, о происхождении, о возникновении искусства, Плеханов бросил несколько замечаний об искусстве первобытных народов, как искусстве-игре. Но эти замечания не были определением.

\* \* \*

На первых же страницах первого «Письма без адреса», анализируя определение искусства, данное Л. Н. Толстым, Плеханов принимает один из его тезисов, а именно:

«искусство есть одно из средств общения людей между собою».

Не соглашаясь с Толстым, полагавшим, что искусство выражает только чувства людей, Плеханов добавляет, что искусство выражает также и мысли их, «но выражает не отвлеченно, а в живых образах, и в этом заключается его самая главная отличительная черта»<sup>6</sup>). «Искусство начинается тогда, — пишет он там же, — когда человек снова вызывает в себе чувства и мысли, испытанные им под влиянием окружающей его действительности, и придает им известное

образное выражение. Само собой разумеется, что в огромнейшем большинстве случаев он делает это с целью передать передуманное и пережитое им другим людям. Искусство есть общественное явление».

Это также нельзя назвать еще определением искусства. Но здесь отчетливо намечена его особенность, именно та, которую можно назвать специфической:

**«Образность, — подчеркивает Плеханов, — самая главная отличительная черта»** искусства.

В «Третьем письме»<sup>7</sup>), исследуя вопрос об искусстве у первобытных народов, Плеханов касается теории «игры». Вот что говорил он по этому поводу:

«Решение вопроса об отношении труда к игре, — или, если хотите, игры к труду, — в высшей степени важно для выяснения генезиса искусства»<sup>8</sup>). Плеханов занимал вопрос, труд ли предшествовал игре или игра — труду. Имея перед собой утверждение К. Бюхера, доказывавшего, вопреки своей собственной теории происхождения искусства, старшинство игры, Плеханов приходил к противоположному выводу: игра — дитя труда. С большим остроумием анализируя мнения Бюхера, Карла Грооса и Спенсера, Плеханов заключал, что в процессе развития человечества игре предшествовала утилитарная, трудовая деятельность.

Лишь в дальнейшем из этой деятельности выделилась игра, послужившая основанием искусству.

Позднее в своей работе о Чернышевском Плеханов вновь коснулся теории «искусства-игры».

3

Не соглашаясь с одним из мнений Чернышевского о древнем греческом искусстве, Плеханов писал:

«Мы не можем согласиться с Чернышевским и тогда, когда он отвергает ту усвоенную Шиллером идею Канта, что искусство есть игра. Для Чернышевского понятие «и г р ы» покрывается

понятием пустой забавы. Это не совсем так. На самом деле игра становится пустой забавой только при известных условиях. «Играет» не только человек, «играет» также и животное. Еще Спенсер справедливо говорил, что, например, игра хищных животных состоит из притворной охоты и притворной драки. Это значит, что у животных содержание игры определяется той деятельностью, с помощью которой поддерживается их существование. То же мы видим и у детей. По справедливому замечанию того же Спенсера, детские игры суть не более, как театральные представления разного рода деятельности взрослых. Это особенно хорошо видно на играх маленьких дикарей. Словом игра есть дитя труда, как прекрасно выразился В. Вундт в своей «Этике». И именно потому, что она есть дитя труда, она далеко не всегда является пустою забавою. Она становится ею у тех общественных классов или слоев, которые живут без всякого труда и которые поэтому даже в своей «деятельности» являются бездельными. Однако, даже и в таких случаях игра есть в некотором роде побочное «дитя труда», потому что только при наличии известных отношений производства возможно существование в обществе класса или слоя, предающегося безделью».

«Если, — как это говорил Чернышевский, — существенным признаком искусства является воспроизведение жизни, то искусство безусловно должно быть признано родственным игре, которая тоже воспроизводит жизнь не только у человека, но и у животных: воспроизведение жизни в игре или в искусстве имеет большое социологическое значение: воспроизводя свою жизнь в созданиях искусства, люди воспитывают себя для своей общественной жизни, приспособляя себя к ней. Различные общественные классы имеют неодинаковые потребности, они живут неодинаковою жизнью; поэтому неодинаковы и их эстетические вкусы. Классы, предающиеся безделью, выражают пустоту своей жизни и в своих произведениях искусства. Их искусство есть в самом деле не более,

как пустая забава, но оно является пустою забавою не потому, что оно есть совершенно подобное игре воспроизведение жизни, а только потому, что оно воспроизводит пустую жизнь. Дело не в «игре», а в том, каково содержание игры.

Взгляд на искусство, как на игру, дополняемый взглядом на игру, как на «дитя труда», проливает чрезвычайно яркий свет на сущность и историю искусства. Он впервые позволяет взглянуть на них с материалистической точки зрения».

«...Чернышевский мог не обратить внимания на то, как важно понятие игры для материалистического объяснения искусства»<sup>9</sup>).

Что говорит эта цитата? Она, с одной стороны, открывает источник, на который опирается В. Ф. Переверзев, с другой, позволяет определить, прав или не прав наш автор, приписывая Плеханову полную солидарность со своим определением искусства.

Можно ли сказать, что приведенная выписка обосновывает понятие «искусство—игра»? Нет. Плеханов был точен в своих определениях. Его нельзя упрекнуть в неясностях. Поэтому, когда он говорит, что «искусство должно быть признано родственным игре», нельзя это понимать так, будто он хочет сказать, что искусство есть игра. С генетической точки зрения можно утверждать, что обезьяна родственна человеку. Но было бы ошибкой сделать отсюда вывод, что «человек» и «обезьяна» суть синонимы, что человек и есть обезьяна. Между человеком и обезьяной примерно такая же качественная пропасть, какая отделяет игру, т. е. часть первобытного искусства и детское искусство, от развернутого искусства нашего времени. Можно сказать: «искусство подобно игре», но и это не будет означать совпадения понятий «игры» и «искусства». Понятие «подобия» именно и предполагает «несовпадение» явлений. Другое дело, если мы будем говорить об элементах «игры», о некоторых чертах «игры», имеющихся в современном искусстве. Против такого утверждения ничего нельзя возразить. Но близостью к

«игре», некоторым «подобием игры» не исчерпывается понятие искусства.

Плеханов, говоря о том, что взгляд на искусство, как на игру, важен для материалистического объяснения искусства, стоял на генетической, т. е. такой точке зрения, которая рассматривала искусство со стороны его развития, его происхождения. Именно поэтому Плеханов подчеркивал мысль о том, что «игра — дитя труда». Развитие искусства из игры, а игры из труда устанавливало материалистическую генеалогию искусства, в противовес тем идеалистическим теориям, которые искали причин искусства в чувстве красоты, врожденном человеку, в его стремлении к гармонии, в его потребности «прекрасного» и т. п.

Устанавливая генетическую связь искусства с игрой (а через игру — с трудом), Плеханов, говоря об искусстве, чаще всего имел в виду искусство, как мышление образами. Понятие же «игры» и «мышления образами» не совпадают. Одно шире другого. Так, например, одно из неотъемлемых свойств «мышления образами», — быть средством общения между людьми, — не является неотъемлемым свойством игры, хотя сама игра составляет, как указывал Плеханов, одну из связей, объединяющих различные поколения и служащих именно для передачи культурных приобретений из рода в род<sup>10</sup>). Но, признавая за игрой объективное значение, Плеханов тем не менее смотрел на нее, как на деятельность, характеризующую «именно отсутствием» утилитарной цели. Игра не имеет вне себя положенной цели, она себе довлеет. Игра есть расходование накопленных сил, повторение ряда действий, наблюдаемых в жизни, при чем игра, как таковая, имеет корни не в социальной, но в биологической почве<sup>11</sup>). В этом смысле можно сказать, что «игра» сближает человека с животным миром. Искусство же, как явление социальное, не исчерпывающееся понятием игры, наоборот, отделяет человека от животного мира. Украшения, песни, пляски и ряд других действий, наблюдаемые в животном мире и теснейше связанные

с половым инстинктом, с социальной точки зрения не есть искусство, хотя все эти явления могут быть подведены под понятие «игры». Даже в модернизированном, современном понимании «игры» затупевывается социальный момент, т. е. устраняются те самые специфические черты искусства, которые отделяют его, с одной стороны, от «игры» животных, с другой стороны, от игр первобытного человека, действительно послуживших колыбелью искусства.

## 4

Искусство может быть «игрой в жизнь». Но искусство — не игра в жизнь. Искусство шире, глубже и выше «игры». Элементы борьбы, напр., в современном искусстве гораздо значительней элементов игры; мы имеем в виду борьбу, как непосредственную деятельность человека искусства, как его специфическую деятельность. Наиболее близко подходящий к понятию «игры» вид искусства — игра актера, т. е. в буквальном смысле «игра», по существу, как процесс актерского творчества, никакого сходства с «игрой» («расходование накопленных сил», «подготовка к жизненной борьбе» и т. п.) не имеет. Игра актера есть не подготовка к борьбе, но самая борьба, не «расходование избытка накопленных сил», но расходование основных ресурсов, иногда до последних капель, не деятельность, имеющая самодовлеющий характер, но общественная деятельность, труд, создающий социально-полезные ценности. Достаточно познакомиться с книгой К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве», с книгой, раскрывающей внутренний процесс «игры» актера, чтобы увидеть, как отрицает понятие «игры» самое существо актерского труда, т. е. борьбы, ибо творческий труд есть именно борьба, т. е. целеустремленная, напряженная, преодолевающая сопротивление деятельность. Сказать, напр., что творческая деятельность скульптора есть «игра», значит посмеяться над творческим трудом скульптора. То же самое можно сказать про творчество любого художника. Искусство, как



творческий труд—это, во-первых, борьба с материалом (камень, дерево, глина, масло, холст, слово), во-вторых—с козностью инструментов, в-третьих—с козностью, неподатливостью, неизощренностью своих собственных орудий (рука художника, тело балетного артиста, пальцы пианиста, голос певца, мышцы актера), в-четвертых—с несовершенством органов чувств (слух музыканта, зрение художника, способность ощущать ритм, чувствовать слово, как материал, и т. д.). С этой точки зрения можно было бы утверждать, что искусство не «игра», а «борьба». «Искусство, как борьба» по смыслу более точно выражает содержание и смысл искусства, чем понятие «искусство—игра». Но и на таком определении нельзя настаивать, потому что понятием «борьба» не исчерпывается «специфика» искусства.

О, разумеется, понятие «игры» можно расширять до бесконечности. Можно сказать, что «игра» и есть «борьба». Можно сказать, что «игра» и есть «познание жизни». Можно сказать, что «игра» и есть «организация чувств людей». Можно сказать, что игра и есть средство духовного общения людей и так далее, до бесконечности.

Т. е., превратив «игру» в гуттаперчевый мешок, можно набивать его понятиями всех «опосредствований», которыми богато искусство как социальное явление. Но ведь это будет не логика, а насилие над логикой. И нет такой гуттаперчи, которая в конце концов не порвется. Так что и понятие «искусство—игра» не следует уподоблять мешку. «Игра есть игра». Искусство—дитя игры, но оно не игра. Взгляд на искусство, как на игру, не помогает нам увидеть и охватить многообразие опосредствований, которыми характерно искусство нашего времени.

В. Ф. Переверзев соблазнился именно теми сторонами «игры», которые действительно имеются в искусстве. В одной из статей о Гончарове В. Переверзев пишет о романисте, который «играет» образами, воссоздавая их жизнь в романе. В ряде областей искусства можно найти элементы, сбли-

жающие психологию игры с психологией творчества. Но достаточно указать основной характер игры, ее, так сказать, «специфику», отсутствие цели, самодовлеющий характер «игры», чтобы отождествление искусства с игрой развеялось как дым. Искусство вообще отличается от игры целевой установкой и наличием познавательных элементов в первую очередь. Некоторые же виды искусства, как, напр., архитектура, независимо от целевой установки не могут быть признаны даже родственными игре<sup>12</sup>).

## 5

Можно было бы так сформулировать взаимоотношения между «игрой» и искусством. Искусство, несомненно, «дитя игры». Другими словами: искусство, как сознательной и целеустремленной деятельности, предшествовала «игра», как бессознательная, бесцельная деятельность, продиктованная физиологическими и биологическими потребностями. По мере усложнения и роста социальных потребностей, «игра» стала ощущаться как некая социальная «полезность». Это ощущение возникало именно потому, что, будучи субъективно «бессознательной» и «бесцельной», игра с точки зрения объективной стала представлять общественную ценность. Когда же социальная «полезность» «игры» была осознана, «игра» стала повторяться не только в силу «физиологических» импульсов, вследствие «избытка сил», но как сознательное повторение ранее бессознательно совершавшихся движений. С этого момента можно говорить об «игре», как явлении, приобретающем значение «искусства», т. е. сознательной деятельности с целевой установкой. Так из «игры» выделяется первобытное «искусство», очень на игру похожее, непосредственно связанное с материальным бытом, с техникой производства. В дальнейшем, с ростом материальной культуры, с усложнением техники, с дифференцированием общества, искусство, как целеустремленная деятельность, получает самостоятельный характер, приобретая ряд новых признаков, все более отдаляющих его

от «игры». Нарастание этих количественных признаков, усложнявшее искусство и отдалявшее его от непосредственных воздействий первобытной техники и утилитарных потребностей,—на известной ступени развития, в силу закона диалектики,—превратилось в качественное отличие, настолько существенное, что оно не дает уже возможности отождествлять «мать» с «дочерью», «игру» с «искусством». Возникнув из «игры», искусство на долгом пути своего развития так расширило область своей деятельности, так обособило сферу своих воздействий, приобрело такую устойчивую целенаправленность, так усложнило формы своего существования, заняло такое видное место среди организующих орудий социальной борьбы, что только в отдельных частных случаях можно находить в нем признаки, общие с «игрой».

«Искусство» оторвалось от «игры», перестало быть «игрой», сохранив, во-первых генетическую связь с ней, и, во-вторых, частные признаки, значительные в одних видах искусства, незначительные в других и отсутствующие в третьих.

### III. Специфика искусства в понимании Плеханова

#### 1

В работах Плеханова понятие «искусство—игра» было, так сказать, «частным» понятием искусства, характеризующим его со стороны генезиса. Не в «игре» видел Плеханов существенный признак его. Понятие «искусство» в понимании Плеханова не совпадает с понятием «игры», так же точно, как не совпадает оно с понятием «прекрасного». Существенный же признак, тот самый, который и является специфическим, обособляющим и отграничивающим искусство как деятельность от всякой другой деятельности, Плеханов находил в «образности». В той же работе о Чернышевском он отчетливо высказал это.

«Воспроизведение жизни,—цитирует Плеханов Чернышевского,—общий характеристический признак искусства, составляющий сущность его; часто

произведения искусства имеют и другое назначение—объяснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни». Но,—замечает Плеханов, **весь вопрос заключается в том, как выражается этот приговор и в каком виде дается это объяснение; в виде художественных образов или же в виде отвлеченных положений.** Как бы ни были правильны те или другие отвлеченные положения, они не относятся к области искусства. В нашей литературе это хорошо выяснил Белинский<sup>13)</sup>.

Сказано это с чрезвычайной ясностью. «Образ», «образность»—вот в чем по Плеханову проявляется специфичность искусства в противоположность «отвлеченному мышлению», т. е. мышлению с помощью понятий.

Само собой разумеется, Плеханов разделял и следующую формулу Белинского: «...Поэт мыслит образами; он не доказывает истины, а показывает ее. Поэту представляются образы, а не идея, которой он из-за образов не видит и которая, когда сочинение готово, доступнее мыслителю, нежели самому творцу».

Искусство есть образное мышление—Плеханов никогда не изменял такому пониманию специфики искусства.

На протяжении всех его работ он трактовал искусство как мышление образами, как одно из средств духовного общения между людьми и именно с помощью художественных образов.

Иногда он дополнял это определение другими частными признаками, подходил к нему с разных сторон, но сущность понимания продолжало оставаться одним и тем же.

#### 2

Плеханов начал изучать искусство и писать о нем, будучи уже зрелым мыслителем. Прекрасный диалектик, тонкий знаток Гегеля и Маркса, Плеханов был вместе с тем одним из образованнейших людей своего времени. Достаточно ознакомиться с списком цитируемых и разбираемых им авторов и трудов только в статье по искусству

и литературе, чтобы убедиться, как много фактического материала было им проработано, прежде чем он высказывал то или иное суждение. Статьи Плеханова о Белинском — лучшее из всего, что написано о великом критике. Анализ научных и литературных взглядов Чернышевского также до сих пор не превзойден. Плехановская критика буржуазных критиков, его статьи по истории русской литературы принадлежат к лучшим образцам марксистского анализа. Потому-то так значительны для нас все его высказывания по вопросам методологии литературы. Потому-то при всяком случае, когда какой-нибудь новейший «марксист» отстывает от Плеханова, как теоретика литературы, или противопоставляет Плеханову «собственную» точку зрения, мы требуем от такого «критика» совершенной убедительности. Чтобы уйти от Плеханова в области методологических поисков, надо Плеханова преодолеть, т. е. показать, что Плеханов устарел, что его «основы» ныне, в свете современного марксистского знания, перестали быть «основательными». Всякая иная «критика» Плеханова ни на шаг не подвигает нас от завоеванных марксизмом позиций. В этом все дело. А преодолел ли В. Ф. Переверзев Плеханова в указанном смысле? Этого-то мы и не видим.

Правда, при таком отношении к Плеханову не исключена опасность его канонизации. Плеханов может превратиться в римского папу. Тогда, разумеется, окостенеет и плехановская методология. Она станет догматом. Но догматизм и диалектика — это бессмысленное, несогласимое противоречие, сапоги всмятку. Всякий догматизм превращается в фетишизм. А где фетишизм, там умирает диалектика, движение мысли, ее рост и развитие. Потому-то мы, опираясь на Плеханова и возражая против попыток его «ревизовать», возражаем не против самих попыток, а лишь против таких, которые, не делая шаг вперед от Плеханова, не преодолевая его, тянут нас в сторону, либо назад от его методологии.

В среде марксистов-ленинцев не может быть защитников догмата плеха-

новской непогрешимости. И Плеханов ошибался не раз. «Меньшевизм» Плеханова был, например, сплошной и не случайной «ошибкой». Ошибался он в своих исторических взглядах. Ленин указал кое-какие ошибки его в философии, — область, в которой Плеханов был наиболее силен. Не будет поэтому ничего неожиданного, если и в литературных взглядах Плеханова мы обнаружим промахи, находящиеся в той или иной связи с его политическими и историческими срывами, с ошибками его практической революционной деятельности. Но, отрицая канонизацию Плеханова, мы против того, чтобы отбрасывать те его теоретические воззрения, которые критику выдерживают, которые, по существу, и в наши дни продолжают еще быть частью железного инвентаря марксистского метода. Прежде чем отбросить то или иное толкование Плеханова, тот или иной его взгляд, ту или иную его формулу, надо показать ее ошибочность, так, например, как в свое время показал Ленин «ошибку» Плеханова относительно понятия «опыт» в споре с эмпирио-критиками; как вскрыл ошибочность некоторых исторических взглядов Плеханова М. Н. Покровский. Когда же нам предлагают воззрения, якобы плехановские, на самом же деле отвергающие Плеханова, мы возражаем. Такие попытки мы квалифицируем как ревизию основ марксистского метода в литературоведении без достаточных оснований: если ревизовать эти методы в сторону их дальнейшего диалектико-материалистического обоснования, в сторону их большего сближения с революционным пониманием марксизма и революционной практикой, — другое дело. Но тут-то и возникает вопрос: в какую сторону ревизует Плеханова В. Ф. Переверзев?

## 3

Даже поверхностный анализ формулы В. Переверзева обнаруживает, что в вопросе о специфичности искусства у него нет согласия с Г. Плехановым. Плеханов утверждал, что искусство — образное воспроизведение мысли и

чувств. Если это так, — а Плеханов выражался именно так, — то нельзя противопоставить, как это делает Переверзев, «образ» или «систему образов» «идеям», «мыслям». Если стоять на точке зрения Плеханова, надо говорить о том, что «идеи» и «мысли» находятся не вне искусства, не за пределами черты, ограничивающей искусство от неискусства, но в пределах этой черты. Подчеркивать же специфику искусства в том, что вне искусства оказываются «системы идей» и «системы мыслей», значит не понимать, что «мысль», «идея», будучи выражены художественными средствами, превращаясь в образ, теряют свои качества «отвлеченности», «абстрактности», приобретаая качество «художественности», т. е. «конкретности», «живости», «выразительности», — тех именно особенностей, которые отличают «образ» от «понятия». В искусстве «мысль», выраженная «образно», есть «образ» и вместе с тем «мысль», т. е. она дает нечто рассудку, логической способности, давая в то же время нечто «чувствам», эмоциональной, эстетической потребности человека.

Поэтому выключение из «спецификума» искусства «мыслей» и «идей», как это продельывает В. Переверзев, противоречит диалектическому пониманию искусства, как его обосновывал Плеханов.

Противопоставления «образа» — «мысли» в плехановском понимании нет. Такое противопоставление говорит не о диалектическом, а о механистическом подходе к искусству.

Художественный образ воздействует в первую очередь на чувственную природу человека. Но, воздействуя на чувственные способности, образ вместе с тем входит в сознание, связывая движение чувств с движением мыслей. Ошибочно представление об обособленности чувственных ощущений от рассудочных ассоциаций. Можно представить себе чистое мышление, лишенное совершенно сопровождающих его чувственных элементов, или чистое созерцание, абсолютно лишенное участия рассудочной сферы. Но это, так сказать, лабораторные слу-

чай. В конкретных же формах художественное мышление, мышление образное, протекает при участии рассудочных ассоциаций, срачивается с ними, так же точно, как мышление абстрактное, логическое, в редких случаях не сопровождается в большей или меньшей степени наличием художественной образности. Вся суть в том, что именно доминирует: образ или понятие.

#### 4

Переверзев прав, говоря, что не дело историков литературы рассуждать о философии, о публицистике и т. п. Он прав в той мере, в какой «философия» и «публицистика» в рассуждениях историков литературы будут рассматриваться в своем «чистом» виде. Но можно ли сказать, что историк литературы должен чураться «философии», когда «образ», с которым он имеет дело, насыщен философским содержанием? Разве таких образов искусство не знает? Насыщен или не насыщен философским содержанием образ Фауста? Имеют ли какое-нибудь философское наполнение образы античной трагедии? Неужели в психологических «образах» Достоевского нет ничего, что говорило бы также о «философии», не «философии» вообще, но именно философии, воплощенной в «образе», включенной в «образ», в то самое, что, по мнению В. Переверзева, единственно и подлежит исследованию? Но как отделить в образе, скажем, Ивана Карамазова его «психологию» от его «философии»?

«Объектом литературоведа является только сфера образного творчества» — подчеркивает В. Переверзев. Совершенно правильно. Но что, в таком случае, скрывается за «образом»? Какова емкость термина, определяемого В. Переверзевым, как «литературный факт»? О чем идет речь? Что составляет наполнение этого явления как предмета литературоведческого анализа?

Ничего иного, кроме известных нам определений образа, как «социального характера», как «психологии», как «поведения», мы от В. Переверзева не услышим. Но всего этого очень мало.

## 5

Создавая свою «теорию познания» искусства, В. Переверзев как-будто игнорирует всю «фактуру» искусства, т. е. все те свойства, которыми собственно и обуславливается воздействие произведений искусства на человека. Не в том же заключается сила искусства, что в каждом произведении воплощен социальный характер, или социальное поведение, или определенная психология. «Социальные характеры» воплощены в «Войне и мире» и в «Ключах счастья», в драмах Шекспира и в драмах Виктора Рышкова. И, однако, образы Толстого и Шекспира — великие образы, а образы Вербицкой и Рышкова — ничтожны. С точки зрения личности в произведениях «социальных» характеров произведения Рышкова и Шекспира, Вербицкой и Толстого принадлежат к области искусства. Разница лишь в масштабе: Шекспир очень большой, а Рышков очень маленький. Мы пойдем дальше: Шекспир не только «большой», он художник. Рышков не только «маленький», он не художник. Здесь количество переходит в качество. Несмотря на присутствие «социальных» характеров в пьесах Рышкова, когда-то имевших успех на столичной сцене, произведения его, по существу, были вне искусства. Они поэтому просто выпали из истории искусства. Кто помнит и знает Виктора Рышкова? Куафера Тюткина помнят, а Виктора Рышкова забыли. Недостаточно, очевидно, воплотить какой-нибудь социальный характер, какое-нибудь поведение в какой-нибудь условной форме, чтобы форма эта получила право на существование как форма искусства. Для этого она должна быть художественной формой. А что значит: художественная форма? Эту именно сторону, специфическую сторону произведений искусства, и игнорирует В. Переверзев. Плеханов же, наоборот, на вопрос об этой существенной стороне, специфике искусства, отвечал ясно и убедительно.

«Образ» в понимании Г. Плеханова шире и глубже «образа» в понимании

В. Переверзева. При этом Плеханов в противоположность Переверзеву «образ» не отделял от «идейности», от «содержания», «философии». Мы говорили уже об этом. В статье «Искусство и общественная жизнь», одной из самых блестящих работ Плеханова сравнительно позднего периода, он дал ряд тонких и вместе точных формулировок. Он противопоставлял «образное» мышление «логическому». Он утверждает даже, что если перед нами писатель, который пишет не исследования и статьи, а романы, повести или театральные пьесы, но при этом доказывает свою идею «логическими доводами», а не «выражает свою идею образами», — перед нами не художник, а публицист. Вот материал для заключения о том, что именно, по Плеханову, являлось специфическим признаком произведений искусства. А ведь роман, написанный псевдохудожником, пользующимся логическими доводами, обязательно включал в себе какой-нибудь «образ» в смысле «характера», «психологии», «поведения». Мы знаем немало публицистов, писавших очень «идейные» произведения, пользуясь логическими доводами, а не образными средствами. С точки зрения переверзевской специфики искусства они художники. С точки зрения плехановской специфики, они не художники. С точки зрения Переверзева их произведения — произведения искусства, ибо они «играют» некоторыми, ранее ими испытанными явлениями жизни. С точки зрения Плеханова эти произведения не являются произведениями искусства, хотя Плеханов не стал бы отрицать, что авторы действительно «играли» ранее испытанными в жизни явлениями.

## 6

Разногласия между Плехановым и Переверзевым по вопросу о специфике, как видим, существуют. Плеханов, как бы предвидя теорию В. Переверзева об «образе», изолированном от «философии», в той же статье подчеркивал, что «достоинство художественного произведения определяется в последнем счете удельным весом его содержания».

«Скажу больше, — писал он там же, — не может быть художественного произведения, лишенного идейного содержания. Даже те произведения, авторы которых дорожат только формой и не заботятся о содержании, все-таки так или иначе выражают известную идею»<sup>14</sup>).

Он отмечал, что не всякая идея может быть выражена в художественном произведении. Но если такая идея в художественном произведении есть, т. е. если ее сознательно проводит автор, Плеханов не уставал доказывать, что она должна быть выражена образами, а не логическими доводами. Говоря же об «образном» мышлении, он всегда отмечал «живость» этого мышления, его непосредственность, конкретность.

Проводя глубже параллель между «логическим» и «образным» мышлением, мы в полном согласии с духом плехановской теории искусства сказали бы: «образное» мышление — это такое мышление, которое имеет дело с живыми ощущениями, не понятиями предметов, но конкретными их представлениями, не абстрактным мышлением о мире, но результатом непосредственного, материального видения, ощущения мира. Белинский говорил, что задача художника — **не рассказ о мире, но показ его**. Плеханов, как известно, во многом был солидарен с эстетическими воззрениями Белинского. Приведенное положение Белинского целиком может быть приписано Плеханову.

Вот все такие свойства произведений искусства, вытекавшие из его «специфики», и объединял Плеханов в понимании «художественности», которой он требовал от настоящей литературы. При чем одним из условий художественности Плеханов считал соответствие «идей», т. е. философии, содержания — «форме», т. е. всей совокупности изобразительных, выразительных и др. средств.

В статье «Виссарион Белинский и Валериан Майков» есть страницы, где Плеханов вновь и вновь возвращается к понятию специфичности. Это те места, где он критикует дополнения,

какими В. Майков пытался «углубить» Белинского. Мы не станем здесь приводить все возражения Плеханова, какими он вскрывает неудачу В. Майкова по-своему, отлично от Белинского, определить специфичность искусства. Для нашей задачи достаточно отметить, что Плеханов в споре с Майковым обращается, как к судьбе, к самому Белинскому. Вот какие соображения Белинского приводит Плеханов.

«Политико-эконом, вооружась статистическими числами, доказывает, действуя на ум своих читателей или слушателей, что положение такого-то класса в обществе много улучшилось или много ухудшилось вследствие таких-то и таких-то причин. Поэт, вооружась живым и ярким изображением действительности, показывает верной картине, действуя на фантазию своих читателей, что положение такого-то класса в обществе действительно много улучшилось или ухудшилось от каких-то и таких-то причин. Один доказывает, другой показывает, и оба убеждают, только один логическими доводами, другой — картинами».

Приведя эту цитату, Плеханов подчеркивает, что Белинский здесь как нельзя более ярко изобразил отличительную черту художественного «мышления»<sup>15</sup>).

\* \* \*

Возможны, разумеется, возражения такого характера. Правда, что «образ» в понимании В. Переверзева не совпадает с «образом» в понимании Г. Плеханова. Правда, что «образ» в понимании первого представляет собой частный случай «образа» в понимании последнего. Но одним указанием на эти несоответствия еще нельзя решить, чье понимание адекватней предмету исследования с диалектико-материалистической точки зрения. Ведь отрицаем же мы за Плехановым догмат непогрешимости? Что ж невозможного в том, что Плеханов, не бывший специалистом-литературоведом, мог совершить ошибку? Не зря же В. Перевер-

зев работает свыше 20 лет как литературовед-специалист. Переверзевым, кроме того, учтены достижения современной литературной науки.

Все это возможно, ответим мы. «Несовпадений» между теорией В. Переверзева и теорией Г. Плеханова слишком много, чтобы не заняться их анализом. Разрешить спор поможет нам

только внимательное исследование вопроса до конца. Поэтому продолжим наше рассмотрение понятий «образа» и «системы» образов, как их строят В. Переверзев, а также рассмотрим более внимательно те воззрения Г. В. Плеханова, которые являются основными в его понимании искусства.

(Продолжение следует.)

## ПРИМЕЧАНИЯ

1) «Литература и марксизм», 1929, кн. 2, стр. 7. «Проблемы марксистского литературоведения».

2) Доклад на конференции словесников «Родной язык и литература в трудовой школе». № 1, 1928, стр. 86. (Разбивка на абзацы моя.—Вяч. П.).

3) «Литература и марксизм», 1929, кн. 2, стр. 8. «Проблемы марксистского литературоведения».

4) «Литература и марксизм», 1929 г., кн. 2, стр. 8. «Проблемы марксистского литературоведения».

5) Глава «Литературные взгляды» Н. Г. Чернышевского.

6) Разрядка наша.—Вяч. П. Соч. т. XIV, стр. 1—2.

7) «Письма без адреса» были посвящены обоснованию материалистического взгляда на возникновение и развитие эстетических взглядов. Основной тезис, который в противоположность идеалистическим теориям о происхождении и сущности искусства обосновывал Плеханов в этих «письмах», можно выразить следующими строками его первого письма: «Природа человека делает то, что у него могут быть эстетические вкусы и понятия. Окружающие его условия определяют собой переход этой возможности в действительность; ими объясняется то, что данный общественный человек (т. е. данное общество, данный народ, данный класс) имеет именно эти эстетические вкусы и понятия, а не другие (соч. т. XIV, стр. 11). Этот вывод, опираясь на Дарвина, подкрепляя работами новейших этнологов и «эстетиков», Плеханов повторил в разных своих работах по искусству, развивая его и углубляя. В другом месте того же первого письма он более конкретно определил свое понимание механики образования эстетических понятий:

«...психологическая природа первобытного охотника обуславливает собою то, что у него вообще могут быть эстетические вкусы и понятия, а состояние его производительных сил, его охотничий быт ведет к тому, что у него складываются именно эти эстетические вкусы и понятия, а не другие». (25).

8) Разрядка Плеханова, там же, стр. 54.

9) Разрядка моя. Вяч. П. Соч. Том V, стр. 315—17.

10) Соч. т. XIV, стр. 65.

11) По мнению Г. Спенсера игра была поро-

ждением избыточной силы, накапливающейся в животном организме на известной высоте благосостояния. Отсюда—бескорыстные игры, отсутствие утилитарной направленности. См. характеристику взглядов Г. Спенсера на игру, у Плеханова, т. XIV, стр. 55—7. Взгляды Г. Спенсера на искусство см. «Основания психологии», т. III, изд. 1876 г., гл. IX «Эстетические чувства». В частности об «игре» §§ 533 и 534 (стр. 331—336).

12) Финский ученый И. Гирн, книга которого «Происхождение искусства» является одной из серьезнейших и новейших работ о происхождении искусства (она появилась в окончательно обработанном виде в 1904 г.), в результате своего детального и очень тонкого анализа «художественного инстинкта» пришел к такому выводу относительно связи «игры» и «искусства»:

«Игра и искусство действительно имеют много общих важных черт. Ни то, ни другое не служит непосредственной, практической полезности, и оба они, тем не менее, служат многим из глубочайших потребностей жизни. Поэтому все искусство может в известном смысле быть названо игрой. Но искусство блее, чем это. Цель игры достигнута, когда израсходован избыток силы или когда инстинкт получил свое мгновенное применение. Но функция искусства не ограничивается актом создания: в каждом откровении искусства нечто создано и нечто продолжает существовать..»

...еще менее могут художественные ценности, как красота и ритм, которые, как бы затруднительно ни было их научное определение, всегда характеризуют художественные произведения, быть объяснены как результат инстинкта игры. Теории Шиллера, Спенсера и Гросса могут, правда, определить отрицательный признак искусства, но они, так же мало, как и теория подражания или объяснения Дарвина, могут дать нам положительного знания о природе искусства» (Гос. изд. Украины, 1923 г.).

Как видим, в выражениях, крайне осторожных, И. Гирн в конце концов высказывается против определения искусства как «игры».

Другой виднейший исследователь первобытного искусства Эрнест Гроссе, книга которого «Происхождение искусства» была издана в переводе на русский язык (изд. М. и

С. Сабашниковых, 1899 г., Москва), также, подобно И. Гирну, устанавливает «родство» игры и «искусства». В основе эстетической деятельности, замечает Гроссе, лежит «художественное стремление», которое «в существенных чертах тождественно с влечением к игре, т. е. к бесцельному, повидимому, и, следовательно, эстетическому проявлению физических и душевных сил» (стр. 286). Вместе с тем, двумя страницами ранее, подводя итог своим обильным и плодотворным изысканиям в области первобытного искусства, он приходит к выводу: «Большая часть художественных произведений возникает вовсе не из чисто эстетических стремлений, но вместе служит какой-нибудь практической цели; и часто это последняя является, несомненно, первоначальным мотивом, в то время как эстетические потребности удовлетворяются лишь попутно, на втором плане. Например, первобытный орнамент первоначально и главным образом был задуман и возник не как украшение, а как метка, имеющая практическое значение, и как символ. В других случаях, правда, эстетические цели выдвигаются на первое место, но, как единственный мотив, выступают они только в музыке» (стр. 284).

Из сопоставления этих двух утверждений можно видеть, что и Гроссе, признавая «в существенных чертах» родственность «художественного стремления» с «влечением к игре», тем не менее не отождествляет понятий «искусства» и «игры», приписывая первому понятию более широкий круг явлений, чем последнему.

Пользуюсь случаем высказать одно замечание по адресу наших книгоиздателей. Вот уже несколько лет ведется жесточайшая дискуссия по вопросам литературы и искусства. А позаботилось ли хоть одно из наших издательств наметить и издать хотя бы ограниченное количество необходимейших, так сказать, «классических» книг по теоре-

тическому изучению искусства и литературы? Увы: двух мнений быть не может. Мы имеем хорошо подобранную библиотеку мемуарной литературы, превосходно издаваемую «Академией». Но нельзя же кормить читателя одними мемуарами. Было бы в высшей степени полезно, если бы это издательство дало современному читателю наиболее значительное из трудов западных литературоведов. Следовало бы также переиздать некоторые старые труды русских ученых, еще не потерявшие научного значения, в первую очередь знаменитую, но мало известную современному читателю «Поэтику» Александра Н. Веселовского. И, наконец, — самое главное: уже исчезло с рынка распространенное собрание сочинений Плеханова. Необходимо, чтобы при новом издании литературные и искусствоведческие работы Плеханова были сверх «общего собрания» выпущены отдельно, как самостоятельное собрание работ Плеханова по искусству и литературе.

13) Собр. соч. Гос. изд. т. V, стр. 314, 315. Курсив мой. Вяч. П. В одном из примечаний к статье «Виссарион Белинский и Валерий Майков» Плеханов (стр. 299, «В. Г. Белинский», сб. ст. Гос. Изд. 1923) приводит это мнение Белинского о специфичности художественной литературы. «Видят, — писал Белинский, — что искусство и наука не одно и то же, а не видят, что их различие вовсе не в содержании, а только в способе обрабатывать данное содержание. Философ говорит силлогизмами, поэт — образами и картинками, а говорят оба они одно и то же» («Взгляд на русскую литературу» 1847 г.). См. также соч. Плеханова т. V, стр. 311, 355, 356.

14) Соч. т. XIV, стр. 137.

15) «Виссарион Белинский и Валерий Майков». Сб. статей «В. Г. Белинский». Гос. изд. стр. 293.

## 2. НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ

Арк. Глаголев

«Что мы недостаточно знаем Чехова, — об этом не может быть спору. Я сказал бы, — меньше кого бы то ни было из крупных русских писателей, — и это несмотря на сравнительно большую литературу о нем».

С этим утверждением А. Дермана<sup>1)</sup> нужно вполне согласиться. Дерман совершенно прав, когда констатирует «путаницу и сбивчивость в критической литературе о Чехове». Приводимые им

фактические справки и примеры весьма убедительно доказывают этот тезис. Дерман и объясняет это явление довольно верно, указывая на то, «что к Чехову у нас подходили либо догматически, либо эпизодически, но не диалектически». Правда, быть может, это суждение Дермана и звучит несколько сурово, — в высказываниях некоторых марксистов о Чехове можно найти ряд правильных мыслей, — но, во всяком случае, эта строгость хорошая, поскольку действительно у нас нет целостного научного исследования

1) А. Дерман. «Творческий портрет Чехова». Кооперат. изд.-во «Мир» М. 1929. Тир. 3.000. Стр. 351. Ц. 2 р. 50 к., пер. 40 коп.



творчества Чехова, и намерение Дермана восполнить этот пробел, дать исследование Чехова на основе «диалектического метода» заслуживает всяческого одобрения и серьезного внимания.

Посмотрим, как осуществляет А. Дерман этот свой научный замысел.

Прежде всего о самом предмете исследования Дермана, об его объекте. Хотя в основу такого исследования, как показывает самое его наименование, — «творческий портрет Чехова», — казалось бы, должно было быть положено непосредственно художественное творчество Чехова, анализ его художественных образов и выяснение их социального генезиса, — Дерман, однако, занят не этой задачей.

Его интересует личность Чехова, его психография, его личное самосознание и эволюция такового. Художественное творчество по большей части привлекается лишь как иллюстрация к общему уяснению развития самосознания личности Чехова. Хотя эта исследовательская направленность Дермана непосредственно на биографию Чехова в свете современных задач научного литературоведения как будто бы и снижает ту актуальность, на которую претендует Дерман, однако, мы не хотим объявить ориентацию Дермана на личное самосознание Чехова, его психографию, совершенно порочной и ненужной. Во-первых, вопрос о биографии художника в литературоведении, несмотря на ряд серьезных доводов против, все еще остается окончательно невырешенным. Во-вторых, даже отрицая нужность биографических исследований для истории литературных стилей, допустимо признать бесполезность такого рода исследований для той научной дисциплины, которую можно было бы квалифицировать как один из видов социальной психологии. Проблема социальной психологии, — не вообще, а как дисциплины близкой и нужной социологии литературы, — у нас еще по существу весьма мало разработана, а между тем таковая, могущая дать ценный вспомогательный, справочный материал для социолога литера-

туры и искусства, должна интересовать последнего. С этой точки зрения исследование самосознания писателей, научное создание их социопсихобиографий представляется нам занятием нужным.

Если, таким образом, можно не возражать против выбора Дерманом объекта своего исследования, хотя тут приходится, повторяем, констатировать отклонение Дермана от своего замысла, расхождение между номинальной и фактической стороной исследования, то методом исследования чеховского самосознания Дермана примириться уже гораздо труднее.

Дерман хочет применить «диалектический метод», которого он не находил в критической литературе о Чехове. Диалектический метод для нас — это метод диалектического материализма, метод марксистской социологии. В своей книге Дерман нигде не говорит о принципиальном отличии своего «диалектического метода» от метода марксистского (хотя и упоминает о научной неполноте и недостаточности отдельных критических статей о Чехове, принадлежащих перу некоторых марксистов, что, понятно, является принципиально совершенно иным, здесь дело еще не в методе, а в методике). Таким образом, мы имеем полное право судить о работе Дермана именно с точки зрения марксистской социологии. И тут приходится к работе Дермана отнестись критически, ибо таковая во многих своих местах от марксистской идеологии существенно отклоняется.

Самосознание всякого писателя нас интересует лишь как классовое самосознание. Всякая био-психография для нас является социографией. Личность всякого художника для нас всегда тот или иной, в целом вполне определенный социальный тип. Внутренняя диалектика самосознания художника интересует нас не как интимный автономный процесс «духовного» развития неповторимой индивидуальности, а как органическое отображение, выявление диалектики социального бытия того или иного класса, тех или иных классовых слоев. Субъективное мироощущение, самосознание писательской (как и всякой иной) личности

ценно для нас лишь как материал для познания ее объективной социальной природы.

Дерман же далеко не точно следует этой азбуке марксистской методологии. В его подходе к Чехову момент индивидуальный весьма нередко превалирует над социальным. Его отдельные наблюдения часто остаются социологически неосмысленными. По большей части Дерман исследует не столько классовое сознание Чехова, сколько его «душу» (203), «сферу морального самочувствия и самосознания» Чехова (224), «душевный процесс» (198), «моральный самоанализ» (122), «систему нравственной дисциплины» (164) и т. п. Классовый подход подменяется «моральным», абстрактно-психологическим; объективизм заменяется субъективизмом; научная четкость расплывчатостью и общностью определений.

Схема дермановского исследования «внутренне-психологических процессов Чехова» (238) такова.

Внутренняя деятельность Чехова — «непрекращающаяся напряженная лабораторная деятельность», «сплошной огромный эксперимент». Вечная борьба с внутренними противоречиями. Этот основной тезис Дермана, носящий чрезвычайно общий характер и применимый вполне не только к Чехову, в дальнейшей разработке у Дермана социально нисколько не конкретизируется. Сущность этой чеховской «лабораторной деятельности» по Дерману в том, что от «внутренней холодности» (132 и др. стр.), от «молчания сердца» «при уме обширном и поразительно-ясном» (130) и вследствие этого «дисгармоничной натуры» своей Чехов через «моральное самовоспитание», через «осознание своей холодности» (214), через «художественный самоанализ» таковой (198), путем «системы насильственного внимания к людям» (170) идет к выпрямлению своей личности, к избавлению от своей дисгармонии, холодности и проч. Благодаря этой личной «нравственной дисциплине» Чехову — по Дерману — удается освободиться от рабского наследия своего мещанского детства и ранней молодости и из писателя, близкого к халатуре, превратиться

в писателя высокой значимости. Неустанный «моральный самоанализ» Чехова превращает — по Дерману — его неустойчивую психологию в революционную!

«... Психологию Чехова в последние годы его жизни будет ближе всего называть революционной. ...Творчество Чехова в этот период («последних годов») было по характеру своему революционным» (344, 346).

И эта дермановская «революционность» Чехова носит столь же неопределенный, расплывчатый характер, как и его утверждение о чеховской дисгармонии, сердечной холодности и проч. И здесь больше «морали», чем подлинной социологии. Революционность Дерман понимает слишком обще, абстрактно, мало научно, «импрессионистически».

«Классификация художников по признаку революционности или консервативности должна быть произведена не на основе отдельных цитат, которые можно у них выудить, а исходя из той атмосферы, которой дышит читатель их произведений...» (346).

«...Подлинно-революционными являются те писатели, которые возбуждают духовный голод в своих читателях, хотя бы изображали они не революционеров, а учителей словесности, баронов Тузенбахов и Душечек, потому что они обостряют нашу ненависть к обветшалым формам жизни, вооружают против косности, в чем бы она не проявлялась. И в этом смысле мы затрудняемся назвать у нас писателя более революционного, чем Чехов» (348).

Однако, без всяких затруднений революционером в этом дермановском смысле можно назвать каждого большого художника<sup>1)</sup>. Социальную специфику сознания Чехова это определение Дермана нисколько не уясняет. А классификационная ориентация Дермана на читателя вообще знаменует собой отход от той научности, за отсутствие которой сам же Дерман упрекал чеховскую критику. Читатель-то ведь, — как это хорошо ведомо Дерману, —

<sup>1)</sup> Вся дермановская схема морального самосознания Чехова, напр., весьма приложима к... Некрасову. Принципиальных различий окажется меньше, чем сходства.

является социально чем-то однородным, и «атмосфера» может оказываться весьма не одинаковой. Здесь Дерман окончательно разоружает себя как научного литературоведа.

Дефективность дермановской методологии сказывается не только в этих его общих определениях, но, разумеется, и во всех вытекающих из последних его частных анализах, напр., анализах художественного стиля Чехова.

Художественный стиль Чехова для Дермана не эстетическое выражение определенного классового бытия, а отображение индивидуального морально-психологического процесса Чехова. Так, напр., трактуется Дерманом лиризм Чехова или борьба последнего против литературных шаблонов (в главе X). Отталкивание Чехова от шаблонов «тургеневского стиля» (наблюдение само по себе правильное) не объясняется Дерманом социологически, как отталкивание представителя эстетики одного класса от эстетической системы, художественных канонов другого. Чеховская борьба с литературными штампами Дермана интересует лишь как иллюстрация его индивидуальной морально-психологической борьбы против «зла авторитета, рутины, пошлости, косности, в болоте которых закидает и замирает жизнь» (252). Как и всюду, так и здесь, Дерман оперирует, как видим, крайне общими, расплывчатыми и поэтому научно мало что уясняющими терминами и определениями. Не соци-

логия Чехова, а его «нравственная дисциплина» важна для Дермана, поэтому, напр., тяготение Чехова к «лейкинской юмористике» квалифицируется нашим исследователем — в полном, впрочем, соответствии с общим методологическим «духом» его работы — как «дефект души» Чехова (133)!!

Примеров игнорирования Дерманом в его конкретных анализах идеологии Чехова социального момента, можно привести значительное количество. Возьмем хотя бы проблему атеизма Чехова. «Позиция Чехова здесь чрезвычайно ясна: он атеист, но как и во всем, к атеизму пришел самостоятельно и не поверхностно, и только такой атеизм внушал уважение этому суровому экспериментатору» (318). (Подч. нами. Арк. Г.). «Духовная» «самостоятельность» Чехова, его «чисто-индивидуалистическое» «экспериментаторство», столь настойчиво пропагандируемые Дерманом, решительно заслоняют в глазах нашего исследователя социальные причины идеологической специфики Чехова, его «атеизма» в частности.

Социальный образ Чехова в работе Дермана слишком уж заслонен его «самостоятельным» обликом, и это заставляет нас признать замысел Дермана дать законченный научный портрет Чехова неосуществившимся. Сырой материал, собранный А. Дерманом, еще ждет методологически четкой, научно социологической разработки.

## 3. „ПЯТОЕ СОСЛОВЬЕ“

## Я. Фрид

«Мне рассказали о величайших зверствах американцев при подавлении в 1920 г. восстания на Гаити; удушливые газы, бомбы, бросаемые в население с аэропланов. Во всяком случае, средства Укрощения, возможно, не соответствовали размерам возмущения» (Поль Мораи «Караибская зима»).

«Деревня Коам (в Индо-Китае), подвергшаяся воздушной бомбардировке, была буквально сравнена с землей. Пулеметным огнем аэропланов уничтожались толпы крестьян» (ТАСС, 21/II—30 г.).

«Французские войска понесли следующие потери: убито — 5 офицеров и унтер-офицеров, 5 аннамитов, ранено — 5 офицеров и унтер-офицеров, 6 аннамитов» (Аг-Во «Гавас»).

Послевоенные годы. Демократическая Франция восхищена «героями сенегальцами и аннамитами», «нашими бесстрашными колониальными войсками». О, благородные, простодушные «младшие братья»! О «домашняя», колониальная экзотика! О темперамент! О звериная утонченность примитива! Негритянская скульптура, «властная меланхолия саксофона» (П. Моран), Жозефина Беккер, Рене Маран; даже Поль Валери, уединившийся на абстрактных, алгебраических небесах своей «чистой поэзии», по-своему со значительным запозданием откликнулся на моду, поместив в руководимом им «Comptemps» перевод «Арапа Петра Великого», вещи, начало которой по ситуации было чрезвычайно злободневно для послевоенного Парижа.

Постепенно «колониальная тема» видоизменяется. «Наши герои», обнаглев, не проявляют по возвращении на родину должного уважения к «своим господам», французским колонистам. По колониям и полуколониям неоднократно пробегает ток возмущения. Конечно, в Индо-Китае и во Французской Экваториальной Африке «все спокоейно». Но место поэзии занимает презренная проза; вместо восхищения негритянским темпераментом — страх перед ним; омоложение испытанных лозунгов «защиты нашей цивилизации», «желтой опасности», «черной опасности» и глубокомысленные рассуждения о «качествах» «черной крови», «желтой крови»; основание общества для борьбы с джазбадом (сымпровизированного, вероятно, обожающими класси-

ческую музыку фабрикантами роялей) и превращение чуткого Рене Марана из чернокожего писателя в довольно обыкновенного французского желтого, соглашательского.

Последние явиги Ж.-Р. Блока и П. Морана дают полное представление об этих обеих стадиях развития «колониальной темы».

«Бананы и какао»<sup>1)</sup> Ж.-Р. Блока и «Караибская зима»<sup>2)</sup> П. Морана принадлежат распространенному теперь во Франции жанру «путевого дневника»; очерки такого типа имеют вид «записной книжки», «дневника», отчет о виденном обычно густо прослоен эссеистским матерьялом, лирическими излияниями, рассуждениями о самых различных вещах — о политике, искусстве, гомосексуализме... В названных выше книгах любопытны рассуждения о колониальном вопросе.

Путешествие по Сенегалу, о котором Жан-Ришар Блок рассказывает теперь в «Бананах и какао», было им совершено в 1921 году<sup>3)</sup>, и с этой датой вполне гармонирует «старомодное» лирическое отношение автора к «французским» цветнокожим. Восхищение и умиление, либеральные, гуманные настроения и патристическое увлечение собственной экзотикой.

Красота. Мужественная красота обнаженных мускулистых тел (Ми-

<sup>1)</sup> «Cacaouettes et bananes».

<sup>2)</sup> «Niver caraïbe».

<sup>3)</sup> О плавании из Франции в Сенегал он рассказал раньше в книге «На грузовом пароходе».

кель Анджели!). Полуживотные, полубоги. Избыток сил, темпераментности, пластичности, бездеятельности, безмятежности. Земной рай. «Из мира, основанного на принципе полезности, я попал в мир, основанный на принципе удовольствия, — общество, в котором господствует принцип экономии, я сменил на общество, в котором царствует эстетика».

Простодушие, доверчивость, доброта. Юная непосредственность, «кротость, способность к «слиянию душ», — то, о чем мечтают современные французские писатели-гуманисты и чего теперь так мало в измученной, черствой Европе. «Под всеми небесами во время войны и во время мира я сталкивался с добротой и очаровательной фамильярностью простонародья. Но не будем смешивать марсельское фамильярное обращение с «ты» ю сладостной, почти божественной доверчивостью, о которой мне сказала обьятие этого бедного гребца-уолофа<sup>1)</sup>. Тайная нежность, встречающаяся в наших странах, никогда не сравнится с порывами этих мужчин-детей».

Познакомимся поближе с этими удивительными детьми природы, которых столько восхваляли руссоисты. Вот сенегальцы-дожеры. «На меня смотрят живые бронзовые статуи, и их взгляды не являются ни взглядами рабов, ни взглядами пролетариев. В Европе мы с вами видели немало дожеров. Я не преувеличу, сказав, что они в нашей памяти, — и в вашей и в моей, — запечатлелись как образ «врагов нашего спокойствия». Оказывается, европейские рабочие в противоположность африканским предназначены играть в жизни европейского буржуазного интеллигента роль кошмара. «Вид их вызывает в нас отчаянье и раздраженье. Мы пытаемся обратить это раздраженье против порядка вещей, который держит их в подобном состоянии нищеты и отупения (разрядка моя. Я. Ф.). Но... они знают по опыту, какое раз'едающее действие оказывает на нас созерцание их унижения. Это унижение — их оружие, их сила. Они выставляют его на вид с из-

вестным высокомерием. Бессильная злоба человека с прызвой шеей удволяется, внушая слабое беспокойство человеку с чистой шеей».

В этой обширной цитате ключ к пониманию природы современного руссоизма, «Земной рай», главным образом местность, лишенная «настоящих», белых рабочих, уже одно существование которых вызывает неотчетливое смешанное чувство отчаянья, раздраженье, беспокойства. Сенегальские негры не только сказочные «дети природы», но также идеальные рабочие (полуживотные, полубоги), так мало похожие на французских. «Значит, достаточно высадиться на берег, где рабство только теперь с трудом замещается подданством, чтобы найти веселых дожеров и пролетариев, на лицах которых — печать «свободы?» «Где пропагандист, который научит их ненависти, быть может, необходимой, и превратит их в хмурых пролетариев?»

Идеализация экзотики примитива оказывается идеализацией охраны цивилизованного мира, где еще не истреблена милая патриархальность, — нечто в роде идеальной, метафорической буржуазной «старой веселой Англии». Именно поэтому в каждом встречном пожилом негре писатель склонен находить сходство с почтенными старыми американскими невольниками (помните тени, которые являлись «совсем как бы» членами хозяйской семьи и, принадлежа хозяевам и телом и душой, не были в сущности ни рабами, ни, конечно, пролетариями). Именно поэтому обширную французскую колониальную империю писатель склонен считать сплоченной семьей, в которой «нарядная» мать и голодные, грязные, но веселые «дочери» соединены взаимным доверием, любовью. Именно поэтому он с негодованием рассказывает о том, как грубо обращаются с туземцами французские колонисты, которые не хотят признать чернокожих членами своей семьи. Автор «Бананов и какао» уподобляется второстепенному представителю богатого рода, который, впервые погостив в отдаленном

<sup>1)</sup> Сенегальского негра.

родовом поместье и восторженно удивляясь экзотике (составными частями которой являются и чума и голод), благодушно заявляет: здесь-то нравы не изменились, «народ» еще не испортился. Читатель «Бананов и какао» испытывает нечто в роде коварной радости, узнав из конца книги, что сенегальские негры, также доверчивые, такие простодушные, надули нашего руссоиста, продав этому чудаковатому белому барину ослицу, большую тропической чесоткой.

Таков идиллический вариант разработки «колониальной темы», вариант устарелый, не встречающийся больше у других либеральных среднебуржуазных писателей, даже таких издавна благодушно настроенных, человеколюбивых, как Ж. Дюамель.

А вот другой вариант: ультра-современный, не идиллический, а скорей трагический. Поль Моран тоже дает портреты пролетариев — «настоящего» и «ненастоящего», идеального.

«Вот человек, встающий, когда все в природе уже пробудилось, находящий у двери дымящуюся кофе, газеты, дважды в день едящий горячую пищу, в воскресенье отправляющийся поудить, в субботу вечером отдыхающий в кино, человек, бесплатно получивший образование, застрахованный, знающий, что не останется без помощи во время болезни и на старости; это — белый рабочий, западных служащий. Если мы к этому прибавим садик, а к столу всегда вино, то получим французского рабочего».

Вообразите теперь человека, почти обнаженного, прикрывающего тело лоскутьями, питающегося аптекарскими дозами риса и несколькими жареными кузнечиками, встречающего малейшую работу, как неожиданную удачу, человека, работающего до изнеможенья от 15 до 18 часов в сутки, чтобы не получить за это ничего, кроме удовольствия хоть однажды, случайно смягчить муки голода. Вообразите человека, спящего где придется, — на улице, в парходном трюме, — скелетообразное существо, отверженное, обреченное на тяжелейшую работу в стране, где машин не водится, где санитар-

ные условия работы часто ужасающи; вообразите человека, которого не защищают никакие законы, которого опутывают ростовщики, грабят военные. Вот — рабочий-негр и вообще цветнокожий пролетарий».

Судьба этих цветнокожих пролетариев, — продолжает Моран, — настолько отличается от судьбы белых рабочих, что следовало бы найти новые слова для обозначения тех и других. «Перед лицом цветных народов», резервуара, в котором образуются «настоящие пролетарские силы», «все белые, включая самых обездоленных, образуют привилегированную аристократию» (разрядка моя. Я. Ф.). Негр — всегда «чей-нибудь негр» (раб), уравнивать его в правах с собою — безумно. — Что вы медлите, — как бы говорит элегантный космополит Моран, обращаясь к другим, менее элегантным «аристократам», — перед вами настоящий, обреченный пролетариат, тот самый лежачий, которого не бьют, а топчут; топчут же его, это ваше право, наше право!

Чем вызвана эта «социальная теория»? Рабовладельческим инстинктом? Филантропическим стремлением обогатить «своих», белых рабочих? Нет, — вы уж, вероятно, догадываетесь, кто здесь замешан: символическая, беспощадная, как рок античной трагедии, «рука Москвы».

«Москва» призывает: «Негры, рабы, соединяйтесь с бедняками, — превратим борьбу рас в борьбу классов!» Но Москва, урод в аристократической белой семье, — особь статья, и простые французские рабочие совершенно не понимают того, что, подхватывая «московские лозунги», они ускоряют свою гибель. «Многие из французских коммунистов, знакомые с окружающим миром только по книгам, воображают, что на другой день после революции, став свободными (разрядка моя. — Я. Ф.), они перестроят Францию на свой лад, сделав из нее еще одну Россию, — маленькую, конечно, но вполне удовлетворяющую их. Они не понимают того, что, как только войдут в ряды мирового Интернацио-

нала, будут проглочены, растворены. Пусть они научатся читать карту мира и увидят Африку, Индию, Китай, эти массивные, чудовищные континенты, всколыхнутые большевизмом. Знают ли наши (разрядка моя. — Я. Ф.) французские коммунисты, каких ужасных, неумолимых братьев они отныне приняли в свою семью?» «Какая полиция сумеет помешать провозвешению миллионов негров в страну, границы которой исчезли?» Как можно будет помешать приходу паровозов, перегруженных китийскими огородниками, трудолюбивыми, как насекомые, готовыми возделывать каждый клочок Ривьеры; какой барьер остановит японских крестьян, которые так нетребовательны, что «двенадцать из них были бы удовлетворены, разделив между собой завтрак одного из наших большевиков — шоферов такси». «Едва наши (французские.—Я. Ф.) крестьянские и солдатские комитеты возьмут власть из наших буржуазных рук, как в их дверь, «новых богачей» (пуворишей), начнут стучаться голодные и страшные настоящие бедняки, настоящие нищие, африканские, антильские, для которых коммунизм — не слово, не мода, но вечное, органическое состояние; орды, у которых ничего нет, кроме рук и зубов, — протянутых рук и оскаленных зубов».

П. Моран, видимо, не даром прошел школу во французском министерстве иностранных дел, в «отделе пропаганды французской литературы за границей». Показанный выше литературный агитплакат не блещет оригинальностью, но зато пропитан духом лучшей, так сказать, классической традиции; приблизительно так же изображал не столь давно «Осваг» белых, русских большевиков.

Наш агитатор, кроме того, напоминает французским рабочим, французским коммунистам, что, если они все-таки поступят «по-своему», Франция «рядом с Сибирью» будет играть главную же роль, какую по сравнению с французской республикой играли крошечные итальянские республики эпохи Директории. На и в н ы е, слишком до-

верчивые французские коммунисты открывают «для масс» (цветнокожих.—Я. Ф.) «двери... своего дворца». «Так, как каждый знает, что Франция — дворец».

Выбирайте, «аристократы»: либо свобода, власть и гибель, либо сытое (уж поверьте) существование верной прирученной челяди, жизнь при дворце окруженном дикими ордами всегда готовых возмутиться рабов.

Любопытнее всего, что самый пристрастный свидетель не решится без значительнейших оговорок обвинить П. Морана в (разжигании расовой ненависти, расового презрения. Если он не склонен поинтереситься отвлеченно, как Жан-Ришар Блок, идеализировать «детей природы» и относиться к ним как к «младшей расе», если у него при созерцании экзотической страны скорее возникают ассоциации, связанные с картинками Анри Руссо, чем мысли в духе Жан-Жака, то он также не заражен американским презрением к чернокожим, к желтолицым и остается истинным сыном демократической Франции. И если он с трудом переносит «нечистокровных» мулатов, зато как чудесно чувствует он себя в кругу «по-провинциальному милой», нравственной, «издавна усвоившей французскую культуру» негритянской буржуазии Гаити.

Отношение Морана к цветным народам отчетливо классовое, не замаскированное традиционными расовыми предрассудками, не размахивает он и лозунгом культуртргерства, «внедренья цивилизации». В эксплуатируемых колониальных народах, в бесчисленных массах голодающих и вымирающих цветнокожих людей нет ничего вызывающего презренье или ненависть; единственный и неоспоримый их недостаток заключается в том, что они голодны, что их грабят и замучивают так, что они — легко воспламеняющийся материал, резервуар восстаний и революций. Необходимо отделить этот резервуар от европейского резервуара, от «поджигателей», «наших» коммунистов. Отсюда перегруппировка классов, «продельная»

которую, Моран хочет исходить из чисто экономических данных (различное экономическое положение белых рабочих и колониальной, и вообще цветкокожей, бедноты); цветные—«настоящий» пролетариат, нечто в роде «пятого сословья», угрожающего всем прочим; спасение белых рабочих, четвертого сословья, зависит от того, согласятся ли они, подобно верхушкам английского и американского рабочего класса, коллективно почувствовать себя «аристократией», точнее «прилипнуть» к третьему сословию, к буржуазии <sup>1)</sup>.

А для воздействия на «поджигателей» коммунистов не мешает запугивание их смешивать с тонкой лестью», обращая внимание рабочих французских арсеналов и учителей, состоящих в компартии, на то, что каждый из них, как некогда это делали другие аристократы,—Лафайт и Мирабо,—готовит торжество черни, низшего сословья, и что им точно так же их «революционный снобизм» будет стоить головы.

Не вина Морана, если ни его запугивание, ни его лесть не действуют на рабочих французских арсеналов и шоферов парижских такси. На рядового буржуазного читателя великолично действует и признание его аристократом и аргументация Морана; первое он примет как давно заслуженное, а страх перед «цветными варварами» в нем всегда готов вспыхнуть. Не вина автора «Караибской зимы» и в том, что будущую катастрофу своего класса он ощущает как надвигающуюся гибель «белой» цивилизации вообще. И здесь нельзя не отдать ему должное: в происходящем вокруг он разбирается намного лучше, чем среднебуржуазный либеральный писатель

<sup>1)</sup> Любопытно, что агитация П. Морана, старающегося показать родственную связь французского пролетариата с буржуазией, опирается на почти те же аргументы («стремление» рабочих к мещанскому уюту, «способность» удовлетвориться сытым существованием и надеждой на сытую старость и т. д.), при помощи которых убеждает в существовании потенциальной «общепролетарской» пролетариата А. де-Ман — «бывший марксист», реакционнейший бельгийский ревизионист.

Ж.-Р. Блок, и выводы делает тоже несравненно более отчетливые и посвоему трезвые. Это зависит не только от того, что П. Моран, кроме Антильских островов и Мексики <sup>1)</sup>, побывавший в Африке <sup>2)</sup>, в Индо-Китае и Китае <sup>3)</sup>, куда он попал во время самого разгара китайской революции, больше наблюдал. Это зависит не только от того, что перед нами писатель-дипломат, который при желании умеет отнестись к политическим проблемам с меньшим дилетантизмом, чем основная масса французских писателей. В значительной степени это зависит также и от того, что автор «Караибской зимы» гораздо ближе, чем Блок, к правящей крупнокапиталистической буржуазии. Писатель, который и по положению и по психоидеологии близок к капиталистическому социальному полюсу, относится к окружающему миру отчетливей, актуальнее, чем писатель, который в равной степени далек от обоих социальных полюсов; при наличии равного кругозора у обоих первый делает выводы более трезвые, существенные (конечно, с точки зрения интересов своего класса).

Итак:

1. Белые рабочие — парии, прозябающие в нищете и отупении, угрожающие «нашему» спокойствию. Колониальные рабочие, наивные, простодушные, послушные, полуживотные, полубоги — идеальные рабочие.

2. Белый пролетариат — аристократия (полубоги?) на ряду с буржуазией. Колониальный пролетариат — единственный настоящий, парии, угроза «нашему» спокойствию и т. д. и т. д.

Противоположные точки зрения?

Империализму такие противоречивые высказывания могут принести только пользу. Ведь не только Ж.-Р. Блок, но и французское министерство колоний занимается своеобразной «идеализацией» негров. Водруженный этим министерством недавно в Дакаре (Сенегал) памятник «на-

<sup>1)</sup> Об этом путешествии рассказано в книге «Караибская зима».

<sup>2)</sup> См. «Париж-Томбукту».

<sup>3)</sup> См. «Только земля».



шим героям» сенегальцам, отдавшим во время мировой войны жизнь за Францию, таков: солдат негр из белого <sup>1)</sup> мрамора протягивает руку французскому солдату со словами: «Без нас они войны не выиграли бы». Этот чисто французский «комплимент» лишь прикрывает с официальной, академической стыдливостью проведение трезвой политики (сила, сила, сила). Точно так же стремление Морана стать «опекуном», «защитником» неопытных, простодушных французских коммунистов лишь неуклюже маскирует поведение других, более могущественных литераторов-«опекунов», высокопоставленных

и строгих, в роде бывшего редактора «Temps» Гардые. И прекраснородушные, старомодные комплименты Ж.-Р. Блока в свою очередь лишь маскируют предлагаемую Мораном трезвую программу воспитания «детей природы».

Эпоха горит с двух концов. Чтобы локализовать оба эти очага (четвертое и «пятое» сословья), чтобы не дать соединиться им, лучше всего разделить их свинцовой завесой. Но не мешает и рассорить эти сословья, сделать их конкурентами, врагами, не мешает, и «водяная», «идеологическая» завеса.

#### 4. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО А. И. ЕЛИЗАРОВОЙ-УЛЬЯНОВОЙ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»<sup>2)</sup>

##### ПРОТИВ ПЛАГИАТА, ЛИТЕРАТУРНОЙ ВЫДУМКИ И ВРАНЬЯ

Наднях только попала в мои руки ноябрьская книжка журнала «Новый Мир» с «Повестью о старшем брате» Сергея Спасского.

Достаточно было перелистать эту повесть, чтобы увидеть, что она целиком заимствована, что она вся сделана из моих «Воспоминаний», помещенных в сборнике «Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта», составленном мною к 40-летию со дня его смерти. Имена изменены: вместо Саши—Митя; вместо Володи — Боря, Шевелев вместо Шевырева и Поворухин вместо Говорухина. А вместо Ульянова—Лукьянов.

Разве непонятно, о чем старшем брате идет речь в книге? Разве непонятно, кто Боря, расставляющий шах-

маты на доске в ночь смерти брата, при чем «площадь их становится огромной, и бронированная ладья подхватывает Бору, и он стоит и говорит, сильно выкинув руку».

Разве непонятно, когда целая глава названа словами той условной телеграммы — «Сестра опасно больна», — которая приводится в воспоминаниях, да когда еще и подпись «Петров» к ней сохранена. Да не только подпись. Целые страницы разговоров списаны с книги. Герой Спасского, Митя, говорит как с сестрой, так и с «Шевелевым» и с матерью на свидании в тюрьме перед казнью буквально словами Александра Ильича в «Воспоминаниях». Но тот образ, который тщится нарисовать на основании всех этих выписок и повторений Спасский, накручивая на них свою психологию, спуская с узды свое якобы художественное творчество, оказывается не только совершенно далеким от действительности, но даже искаженным. Это совсем не удивительно. Ведь недостаточно иметь бойкое перо досужего беллетриста, чтобы рисовать вся-

<sup>1)</sup> Что печатью тактично слегка подчеркивалось.

<sup>2)</sup> Открытое письмо «Новому Миру» было напечатано в «Комсомольской Правде». Поместив это письмо, редакция названной газеты отказалась напечатать наш ответ. Не желая скрывать от читателя упреков и обвинений, высказанных тов. А. И. Елизаровой-Ульяновой, мы помещаем полностью также ее письмо.

кие образы, ибо следует быть до большой степени в ур-вень с образами, которые рисуешь, понимать стремления, быть в курсе тех обществен-ных идей, на основе которых развевывались происше-ствия, развивались характе-ры, которые берешься изобра-жать. А поэтому все: образ матери, отрывающейся к мыслям о сыне от та-за с вареньем и опять к розовым пузырькам темной вишни, и сотовари-щи по делу—Шевелев и Поворухин,— все это так чуждо, так далеко от действительности, так непри-ятно сочинено и выдуманно. А всех хуже, конечно, центральный об-раз.

Чтобы совсем было ясно, о ком гово-рится, повесть заканчивается докладом графа Дмитрия Толстого царю о казни сначала над троими—«в виду того, что местность Шлиссельбургской тюрьмы не представляла возможности...», потом над Шевелевым и Лукьяновым... Сле-дуют точные слова доклада царю его министра внутренних дел (в данном случае имя не изменено). Вуаль, даже и очень прозрачная, не набрасывается вовсе.

Автор распоясался во-сю.

Спрашивается: по какому праву все это производится? Во все времена и во все века существовало понятие пла-гиата, которым клеймили пользование чужой собственностью в области мыс-ли, слова,— в области литературы. И надо думать, что когда отомрет окон-чательно понятие о всякой собствен-ности, понятие плагиата сохранится, и будет считаться позорным пользовать-ся по своему усмотрению, перекраивая и извращая мысли и отпечатки твор-чества другого человека без согласия

автора и даже без указания на то, чье произведение подвергается такой «ху-дожественной» перекройке или пере-делке.

Если в настоящее время, когда жизнь дает так много нового и интересного, что просится под кисть истинного ху-дожника, замечается то печальное явление, что мысль и творчество как бы оскудели и мы встречаемся все чаще с перепечатками, монтажем и т. п. черпанием из других источников, то я считаю все же минимальным требова-нием порядочности, чтобы такие ма-нипуляции не производились без согла-сия авторов, если они живы, и без ссылки хотя бы на них, если они умерли.

Поступки, не считающиеся с такой минимальной порядочностью, называ-ются, по-моему, плагиатом. И я обви-няю в таком плагиате Сергея Спасско-го. Обвиняю и редакцию «Нового Ми-ра», поместившую, не запросив согла-сия автора, такую беззастенчивую стряпню из его работы. В том, что ре-дакция прекрасно понимала, чье про-изведение используется таким обра-зом, я не могу сомневаться, просмо-тривая ее состав.

Кроме того, я считаю со стороны ре-дакции неуважением к памяти обоих братьев, — как старшего, так и млад-шего,—такое не критическое обращение с их именами, с событиями их жизни, тем более, что не могу допустить, чтобы ей было неизвестно постановле-ние всесоюзного съезда Истпарта в январе 1929 г. о том, что никакие вос-поминания и материалы о «младшем брате» не должны идти в печать без просмотра их Институтом имени Ленина.

**А. Елизарова-Ульянова.**

## 5. ОТВЕТ

**Уважаемая Анна Ильинишна!**

В «Комсомольской Правде» от 2 мар-та этого года вы обратились к редак-ции «Нового Мира» с открытым пись-мом, озаглавив его «Против плагиата, литературной выдумки и вранья». Поз-

вольте так же открыто ответить по по-воду затронутых вами вопросов.

Говоря о «Повести о старшем бра-те», напечатанной в «Новом Мире», вы спрашиваете: разве не понятно, о чьем старшем брате идет речь в кни-ге? Всякий, знакомый с литературой,

посвященной Александру Ульянову, ответит: «Центральная фигура этой повести связана с его обликом». Что недопустимого и преступного окажется в таком заключении? Человек, совсем незнакомый с тем, как возникают и создаются художественные образы, может подумать, что автор поступил нехорошо, используя для повести, во-первых, события действительной жизни, во-вторых, поставив в ее центре героя, похожего на участника действительных событий, и, наконец, в-третьих, используя исторические документы, в данном случае ряд воспоминаний разных авторов, посвященных этому лицу и этому событию.

Но такие умозаключения будут неправильными и основаны на ошибочных представлениях о предмете.

Можно утверждать, что нет вообще художественных произведений, «сочиненных» из ничего, взятых из одной лишь «фантазии». В каждом произведении, в одном больше, в другом меньше, имеются факты действительной жизни. Реалистическая литература по самому методу своему отрицает «высасывание из пальца» событий, фактов и героев. Реальное искусство постоянно пользуется здравствующими и умершими лицами, как прототипами для своих героев, пользуется обстановкой окружающей действительности или действительности, отошедшей в прошлое. Все это и служит материалом для художественной ткани. Отрицать это — значит отрицать вещи бесспорные, азбучные, не вызывающие возражений. Молодой автор, пленившись обликом Александра Ульянова, пожелал воспользоваться этим обликом, как прообразом для героя своей повести; что тут плохого, недопустимого или удивительного? Это в порядке вещей. Можно даже пожалеть, что молодые авторы редко обращаются к нашей героической действительности за такого рода прототипами. Нашему автору нельзя было бы даже запретить воспользоваться именем Александра Ульянова в том случае, если бы он писал историческую повесть, т. е. если бы он ставил своей задачей восстановить в художественных формах историческую

действительность, как она была. Разве это было бы преступлением? Но такой задачи автор себе не ставил. Напротив: чтобы подчеркнуть, что повесть его не историческое произведение, он в отдельном издании своей книги сделал следующее примечание: «Автор не ставил целью документальное воспроизведение исторических событий». Возьмем для примера «Войну и мир» Толстого. Рядом с историческими фигурами, написанными по источникам, в романе выведено множество живых в то время лиц, послуживших Толстому прототипами. Имена некоторых сохранены, имена других изменены. Сам Толстой, отвечая критикам, писал следующее:

«Везде, где в моем романе говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал, а пользовался материалами, из которых во время моей работы образовалась целая библиотека книг, главы из которых я не нахожу необходимости выписывать здесь; но на которые всегда могу сослаться».

Мы не станем загромождать наше письмо примерами. Мы могли бы их привести множество. Мы рекомендуем вам просмотреть хотя бы новейшую работу о романе Льва Толстого, посвященную именно выяснению вопроса, откуда брал и как изменял материал Толстой. Это книжка Виктора Шкловского — «Материал и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир»». Там, на стр. 94, 96, 131, 135 и др. приведены текстуально параллельные места из различных источников и «Войны и мира». Из этих параллелей можно видеть, как целые сцены, разговоры, события, фразы Толстым использованы или текстуально или с незначительными изменениями. Все это было известно современникам Толстого, и никому не приходило в голову бросить ему обвинение в плагиате. Сюжеты, воспроизводимые художественной литературой из действительного прошлого, иначе, как с помощью использования источников и соответственных изменений исторического материала, воплощены быть не могут. Наоборот. Именно беллетристику, восстанавливающую прошлое без использования источни-

ков, обычно называют враньем и выдумкой.

Почему же вы, Анна Ильинишна, так сердито и несправедливо обвиняете молодого автора в плагиате, вранье и других грехах? Или вы отрицаете за художником право пользоваться исторической фигурой Александра Ульянова, как прототипом? Или, признавая такое право, вы запрещаете пользоваться только вашими воспоминаниями, как материалом?

Другое дело, если бы наш автор воспользовался героической фигурой не для прославления ее, а для дискредитации. Тогда возник бы вопрос о пасквиле, об оскорблении памяти, об издевательстве над революционным прошлым. Но ведь этого-то в «Повести о старшем брате» нет и помину! В том-то и дело, что повесть написана автором, полюбившим облик своего героя. Он ставил своей задачей воспроизвести не исторического Александра Ульянова, но создать человека, похожего на него, родственного по типу. Он намеревался закрепить в искусстве силу его характера, героичность его натуры, те прекрасные черты революционера, которые достойны увековечения. Можно говорить, что он выполнил свою задачу слабо, что облик получился выдуманный, что фигура «не заражает». Это — другое дело. Но ведь вы говорите иное. Вы отрицаете самое право автора пользоваться в своей художественной работе историческими мемуарами, как источником.

Ваше нападение на С. Спасского может оказать объективно вредное влияние на молодую нашу литературу. В настоящее время коммунистическая критика борется против «литературной выдумки», против «вранья». Мы настаиваем на сближении искусства с жизнью. Мы зовем художников ближе к жизни, к настоящему жизненному материалу, к документальности, к источникам, к познанию жизни в ее революционных образцах. Мы зовем писателей, чтобы они использовали для своих произведений облики действительных строителей жизни, революционеров, живых и ушедших. При таких условиях обращение С. Спасского к Александру

Ульянову, как прототипу, попытку Спасского нарисовать образ революционера, надо признать явлением положительным. Было бы хорошо, если бы другие молодые писатели от живописания одиночек, индивидуалистов, буржуазных мечтателей и интеллигентов-выжидателей обратились к революционному движению за материалом и типами. Какой же эффект может возыметь ваше нападение на Спасского, который попытался отказаться от литературной выдумки и вранья и обратился к настоящему живому историческому материалу? Ведь вы не критикуете, т. е. не помогаете автору и читателю разобраться в его ошибках. Вы не помогаете ему научиться правильно пользоваться источниками. Вы просто бьете его по голове. Вы пытаетесь бросить тень позора на его имя.

Вы пишете: «Во все времена и во все века существовало понятие плагиата, которым клеймили пользование чужой собственностью в области мысли, слова, — в области литературы».

Вы правы: обокраденные собственники действительно «клеяли» людей, нарушивших священное для тех времен и народов право. И в наше время мы боремся с плагиатом. И в коммунистическом строе не будет разрешено продукты чужого труда выдавать за свои. Это сущая истина. Вы неправы лишь в том, что считаете себя обокраденной. Вы заблуждаетесь именно тогда, когда утверждаете, будто «Повесть о старшем брате» написана не Спасским, а вами. В данном случае вы делаете попытку отнять у молодого автора, потрудившегося над повестью, то, что принадлежит ему, а не вам. «Повесть о старшем брате» — не ваше произведение, уважаемая Анна Ильинишна.

Во-первых, потому, что, кроме ваших воспоминаний, автором использованы воспоминания других лиц. А больше всего потому, что ваши воспоминания и воспоминания других лиц послужили лишь как материал, при чем этот материал был не «списан», как утверждаете вы, а переработан, деформирован, так же точно, как деформирован был материал, использованный Толстым в

«Войне и мире», как деформирует вообще художник материал, откуда бы он ни был заимствован. Вы можете указать лишь на несколько фраз и телеграмму, текстуально воспроизведенные. Все остальное изменено, переработано, сохранены лишь смысл и отдельные выражения, именно для того, чтобы сберечь и колорит эпохи и близкую к исторической действительности систему переживаний и выражений. Мы не проводим никакой аналогии между «Войной и миром» и «Повестью о старшем брате». Но мы утверждаем, что ваша точка зрения, если бы была принята, привела бы к заключению, что «Война и мир» написана не Толстым, а теми авторами, материалы и источники которых им были использованы.

Вы можете сказать: а почему автор не сослался на источники, какими он пользовался? Он не сделал это по той же причине, по какой Толстой не перечислял источников, послуживших ему для романа. Ведь даже в исторических романах никогда не указывается, какие именно источники использованы автором. Художественное произведение — не исследование. Таков обычай. Согласно установившемуся обычаю поступил и Спасский. И упрекать его в этом нельзя. Он так и должен был поступить.

Позвольте также исправить вкравшееся в ваше письмо недоразумение. Вы пишете о постановлении Истпарта, которым установлено, что никакие воспоминания и материалы о «младшем брате», т. е. о Владимире Ильиче, не должны идти в печать без просмотра их Институтом Ленина. Мы не можем понять, почему вы ссылаетесь на это постановление. Во-первых, вы отождествляете повесть Спасского с «материалами и воспоминаниями». Это отождествление неправомерно. Это именно повесть, а не материалы и не воспо-

минания. Истпарт никогда, насколько нам известно, не претендовал на роль инстанции, контролирующей художественную литературу, т. е. не вторгался в компетенцию Главлита. Самое же существенное заключается в том, что речь идет не о «младшем брате», т. е. не о Владимире Ильиче. Повесть написана о «старшем брате». Именно на использование своих воспоминаний об Александре Ульянове жалуетесь вы. А постановление Истпарта говорит о «воспоминаниях и материалах», касающихся Владимира Ильича. Отождествление старшего и младшего брата противоречит исторической истине и может быть отнесено к числу недоразумений.

Вы бросаете нам тяжкое обвинение в неуважении к памяти обоих братьев. Память обоих братьев нам дорога. Печатаемая «Повесть о старшем брате», мы не проявили никакого неуважения к их памяти. Облик героя повести, созданный С. Спасским, ни в какой степени не может быть сочтен оскорбляющим память «братьев». Так что обвинение, брошенное нам, совершенно несправедливо. Мы, с своей стороны, не можем не высказать своего огорчения по поводу того, что вы, не разобравшись хорошенько, в чем дело, на весь мир закричали о том, что вас обокрали, что нарушили ваше право собственности. Именно такой мотив в устах сестры великого коммуниста, на наш взгляд, может быть сочтен, как проявление неуважения к памяти обоих братьев.

Редакция «Нового Мира» (1929 года):

**В. Соловьев.**

**Вяч. Полонский.**

**Ал. Малышкин.**

Редакцией получена от отсутствующего члена редколлегии тов. **Луначарского** телеграмма: «С основными мыслями ответа согласен. Луначарский».

### ПОПРАВКА

В мартовской книге «Нового Мира», в романе М. Шагинян «Гидроцентральный», на стр. 55, строка 1-ая напечатано карабахские, надо — калмыцкие; на стр. 57, строка 16-ая напечатано карикатуру, надо — картину.

# Книжное обозрение

1. А. ПЕРЕГУДОВ «Фарфоровый город». Т. Николаевой.—2. КОНСТ. ВАСИЛЕНКО «Другое солнце». Н. Замошкина.—3. СЕМЕН МИХАЙЛОВ «Бригадная роща». Ив. Данилова.—4. ТРИСТАН РЕМИ «Клиньякурские ворота». Я. Фрида.—5. «НЕОДОЛЕННЫЙ ВРАГ». С. Борисова.—6. С. КАНАТЧИКОВ «Из истории моего бытия». А. Старчакова.—7. С. Я. ШТРАЙХ «Повесть о жизни и любви чудесного доктора». К. Локса.

**А. Перегудов. — Фарфоровый город.** Повесть. ЗИФ. Стр. 166. Ц. 1 р. 40 к.

Повесть Перегудова «Фарфоровый город» свидетельствует о большом повороте в творчестве этого писателя. В первых литературных опытах Перегудова биологический фактор неизменно играл роль основного организующего начала. Но вот появился «Фарфоровый город», произведение, базирующееся исключительно на общественно-политических явлениях. В основу повести положена тема, весьма актуальная и злободневная, использованная в литературе рядом писателей, — восстановление завода. Но этот переход Перегудова из одной сферы в другую, надо признаться, не совсем удачен. Трудная задача «переключения» на новую тематику оказалась не выполненной. В повести отсутствует основное — подлинный художественный показ той действительности, которую изображает автор. Не под силу оказалось писателю дать глубокий, сильный образ завода. Сложная и противоречивая обстановка, связанная с его восстановлением, разработана довольно слабо. Нет органической спайки между этим заводом и людьми, которые по существу неразрывно связаны с ним. Особенно изменило Перегудову его художественное чутье в обрисовке двух главных персонажей повести: инженера Шумова и рабочего Павла Нечаева, людей, горящих на работе (по замыслу автора). Здесь все примитивно и неубедительно. Писатель не сумел сохранить и нужную художественную пропорцию, уделив слишком много внимания любовным моментам. Несколько неряшливо сложена композиция: все обстоятельства, связанные с пребыванием в скиту работницы Мани Петровой, со-

вершенно выпадают из общего хода повествования: они не нужны. Наиболее удачным вышел образ старого смотрителя завода — Ивана Семеновича.

В данном случае мы сталкиваемся с чрезвычайно интересным случаем классового гипноза, когда определенная, наименее устойчивая часть рабочих в результате задабривания и подкармливания со стороны буржуазии проникается психологией чуждого им социального класса. Таким образом понятие «хозяин» своеобразно фетишизируется в представлении Ивана Семеновича, по-своему честного и глубоко преданного заводу. Ему кажется, что только в хозяйских руках находится возможность восстановления разрушенного хозяйства. С другой стороны, Ивана Семеновича мучит мысль, что своим поступком (поджог завода) он обрек на голодовку тысячи рабочих. Вот эта двойственность в переживаниях старика смотрителя и хорошо вскрыта Перегудовым. Но Иван Семенович не спасает «фарфорового города». Сделав большой шаг вперед, в смысле перехода на социальную тематику, писатель одновременно эволюционировал назад, сдав свои формально-технические достижения. Неудача первого опыта заставит, однако, автора более тщательно вынашивать свои произведения.

*Т. Николаева.*

**Конст. Василенко. — «Другое солнце».**

Повесть (Современная пролетарская литература. ЛАПШ). Изд. «Прибой». Л. 1930. Стр. 168. Ц. 1 р. 10 к.

Эта повесть, не в пример многим пролетарским произведениям, обладает несомненным достоинством художественной простоты. Степь, хутор, солнце, базар, курганы, полустанок, хлебоборбы,

песни, лютая нужда, тихие зори, панщина — и в центре хозяйственный, мечтательный Данило, вернувшийся с фронта безногим. К. Василенко нашел спокойные краски все это показать так, как нужно, т. е. повесть его производит впечатление, — и это несмотря на то, что такие степи и такую нужду русская литература знала и знает. Не претендуя на что-либо новое и революционно-показное, молодой писатель погружается в теплый чернозем родного края и даже в самые гнетущие моменты существования своего героя не вышывает, — правда, до поры до времени — голоса.

Но вот и для Данилы приходят сроки. Верный царский служака превращается в бунтаря. Обращает на себя внимание способ этого самовозгорания — через воздействие на человека искусства, живительного искусства народного пения. На базаре происходит состязание певцов (ср. «Певцов» Тургенева), из которых один, служитель чистых муз, уносит простодушных слушателей в заоблачные высоты мечтаний, а другой, степной рапсод в солдатской шинели, стелется по земле, будит в «ленивых хохлах» тревогу, зовет к мести и — побеждает... Искусство и тут «выпрямляет» (по Гл. Успенскому) человека, социально его взвинчивает. Все это вышло у автора очень трогательно, но и до крайней степени наивно. Данило так же непосредственно лиричен в своей жизни, как и автор, допустивший в своем простодушии эту мгновенную метаморфозу. Суровая пролетарская критика в праве предъявить К. Василенко счет за этот скачок «в царство свободы», а заодно и за те три коротких дня, в течение которых развивается такой симпатичный и ответственный сюжет повести.

Нужно отметить, что «Другое солнце» в такой же мере произведение украинской литературы, как и русской: так полно оно просторной и мягкой украинской речью, так вольно она бежит по страницам книги. Может быть, эта особенность отчасти и объясняет ту искреннюю и простую родственность к изображаемому, которая так

свободно воспринимается в этой мало-оригинальной, но хорошей повести.

Положительно удачен в ней образ казака — полицейского Дениса Кондратовича — новая, и совсем не лишняя, вариация Держиморды и Пришибеева.

*Н. Замошкин.*

**Семен Михайлов.** — «**Бригадная роща**». Роман. Издательство писателей в Ленинграде. 1930 г. Стр. 375. Ц. 2 р. 50 коп.

С переходом Красной армии к «мирному» положению переключились на другие темы и писатели, которым она раньше давала материал для творчества.

Большой значимости процессы, происходящие в армии в годы передышки, почти не получали литературно-художественного выражения.

Последние месяцы принесли перемену. Вышли две книги, рисующие будничную, но полную глубокого значения и интереса работу армии: роман С. Михайлова «Бригадная роща» и роман А. Давурина «Передышка».

Писать о Красной армии сейчас значит справедливо отказаться от создания образов отдельных выдающихся героев. Кропотливой созидательной работой исчерпывающе поглощены почти все ее люди. Наибольшую по объему и значению работу выполняет, пожалуй, средний командный состав. Он ближе всех к красноармейцам и непосредственно осуществляет их военно-политическое обучение и воспитание. И, право, нельзя представить лучшей для писателя Красной армии задачи, чем художественное воссоздание образа этого массового строителя нашей вооруженной мощи.

Автор «Бригадной рощи» нацелился правильно. В его романе мобилизован значительный материал, освещающий с учебно-бытовой и общественной стороны одну боевую единицу — саперный батальон. Обрисован социально-психологический облик командного состава и отдельных красноармейцев. Показана общественная работа батальона (постройка мостов, создание электростанции в деревне). Затронута партийная

организация и политпросветработы. Многое из обрисованного автором является картиной типичной и для других боевых единиц.

На общем фоне жизни и работы батальона показана затяжная борьба между командиром роты Кесслером и командиром взвода Мацепуровым. Исходит она от плохих командных и партийных качеств последнего, кончается подачей им неправильного заявления на Кесслера в партбюро, переводом в другую роту и невыполненной попыткой самоубийства. Это — одна сюжетная линия. Другая — взаимоотношения Кесслера с женой, далекой от него по психологии, почти не поддающейся перевоспитанию. Эти взаимоотношения дорого стоят Кесслеру. Они осложняются склокой в общезжитии между женами комсостава.

В этих двух сюжетных линиях материал романа уложен не плотно, часто он не поднят выше элементарного собрания материала, лишен сконцентрированности и обобщений.

Литературные недостатки романа весьма значительны, начиная от композиционных, кончая многословием, необработанностью языка.

Вызывает серьезные возражения показ командиров. В батальоне единственный командир из рабочих — Мацепуров, да и тот — переродившийся, из рук вон плохой командир и партиец. «Мацепуров недостоин доверия», говорит Кесслер. Самому Мацепурову он заявляет: «Вы — чужой человек».

Никто не упрекнул бы автора за показ единичного случая перерождения командира из рабочих, сохрани он (автор) верную общую перспективу, т. е. покажи это на фоне имеющейся в действительности громадной ведущей роли в строительстве Красной армии командиров-рабочих. В романе этого нет. Роман — попытка обобщенного показа боевой единицы, отражающей в значительной мере черты всей армии. Указанная обрисовка извращает перспективу, противоречит основной линии развития армии.

Парторганизация обрисована, собственно, только с отрицательной стороны. Законно дать тип плохого отсека

ра в общей картине живой деятельности всей парторганизации, типичной для подавляющего большинства воинских ячеек. В романе же виден только плохой отсек, его недостатки не реализуются работой организации. Выходит: каков отсек, такова и ячейка. Вряд ли это верно.

*Ив. Данилов.*

**Тристан Реми.**—«Клиньянкурские ворота». Перев. с франц. Сергея Бернера. Предисл. Ив. Анисимова. «Земля и Фабрика». М.-Л. Стр. 96. Ц. 70 коп.

Я люблю всё, что крепко,  
Толстокоже, крикливо, богато, —  
Всё, от чего отдаёт выскочкой.  
Печальные нищие, я не товарищ вам!

—писал в 1909 г. Валери Ларбо, поэт французской крупной буржуазии. Умерший в 1910 г. Шарль-Луи Филипп был наиболее талантливым в новой французской литературе поэтом «печальных нищих». Мотивы города, труда, нищета, голод, мир мастеровых, мелких служащих, проституток, алашей; тонкие образительные средства, редкая эмоциональная насыщенность, — таково творчество этого писателя, вышедшего из социальных низов и получившего полное признание только после смерти. Ш.-Л. Филипп не был писателем, который мог бы от имени рабочего класса ответить поэту толстокожих богачей. Проповедь доброты, всепрощения, идеология, родственная христианскому социализму, слабование основных персонажей, мучительный психологизм — все это характерно для творчества автора «Биби с Монпарнаса», писателя шефабричной бедноты и лумпен-пролетариата, не может быть характерным для рабочего, революционного искусства. Не случайно бельгиец Андре Байон, наиболее последовательный ученик Ш.-Л. Филиппа, пришел к «слезливому жанру» и дает вещи, целиком укладывающиеся в рамках буржуазной литературы.

Поэтому вполне прав Ив. Анисимов, который в своем содержательном предисловии к «Клиньянкурским воротам» указывает: «Филиппа надо рассматривать как предисторию литературы ра-



бочего класса; если в наше время мы встречаем во Франции рабочих писателей, которые повторяют Филиппа, то это становится уже консервативным явлением».

«Клиньянккурские ворота» — первая книга Тристана Реми, и нет ничего удивительного в том, что молодой рабочий писатель не выступил сразу с вполне самостоятельной вещью, а отталкивается от «предистории», от Филиппа. В противоположность Байону, он не только избежал сентиментальности, но и вообще не воспринял повышенной эмоциональности Филиппа. Это делает талантливую повесть Реми более суховатой и описательной, чем вещи его учителя. А мотивы «Клиньянккурских ворот» (жизнь бедных тружеников, история проститутки, дети «кормицы»), несмотря на то, что они те же, что и у Филиппа, и разработаны отчасти в его духе, обращают на себя внимание уже потому, что они — редкое явление в современной французской литературе, буржуазной, классовой (более чем когда бы то ни было ранее (см. об этом хотя бы в памфлете Эм. Бэрля «Смерть буржуазной мысли»)).

В «Клиньянккурских воротах» нет той классовой сознательности, зрелости, какой отличаются стихи буржуазного писателя В. Ларбо, написанные 20 годами раньше. Но одаренность Тристана Реми позволяет надеяться, что ему, одному из немногочисленных рабочих писателей современной Франции, удастся преодолеть мелкобуржуазные влияния, подняться над поверхностным бытописанием, сделаться революционным рабочим художником.

*Я Фрид.*

**«Неодоленный враг».** — Сборник против антисемитизма. Составил В. Вешнев. М. «Федерация». 1930 г. Стр. 348. Ц. 2 р. 20 коп.

Антисемитизм — одно из позорных «наследий», еще окончательно не изжитое в нашей стране. Антисемитизм часто по некультурности, но больше до умыслу в значительной мере направлен против советской власти — за

отмену всяких ограничений прав народов, населяющих СССР. Антисемитизм всегда является орудием контрреволюции. Но можно ли говорить об антисемитизме у нас, где контрреволюция разгромлена и загнана в подполье? Совершенно справедливо указывает т. Е. Ярославский в вводной статье к рецензируемому сборнику: «Об антисемитизме в советском государстве приходится писать, против антисемитизма в советском государстве приходится бороться, пока существуют остатки капиталистических классов, пока есть почва для существования капиталистических элементов».

Художественная литература, как мощное орудие в арсенале культурной революции, и в борьбе с антисемитизмом может сыграть большую роль. К сожалению, советская беллетристика почти не отражала явлений антисемитизма. Богаче такими темами дореволюционная литература. Художественная проза, собранная в сборнике, не вскрывая корней антисемитизма, дает достаточно яркое и жуткое по художественной правде изображение действительного антисемитизма: таковы известный рассказ Вл. Короленко «Дом № 13», А. Серафимовича «В семье», С. Анского «В новом русле», бичующие стихи Д. Бедного и др. Из произведений советских дней в сборник включены «История моей голубятни» А. Бабеля, поэма «Дума про Опанаса» Э. Багрицкого, отрывок из романа «Разгром» А. Фадеева и др. Помещенный материал, срывая с антисемитизма маску, обнажая его отвратительные контрреволюционные черты, дает и положительные моменты братства трудящихся.

Не менее интересна и вторая часть сборника — публицистическая. Отмеченная нами статья Е. Ярославского на ряде ярких примеров вскрывает корни антисемитизма в нашей стране, экономическую подоплеку и его контрреволюционную роль. Отрывок из книги «Как умирает Израиль» Бернара Лекаша, французского журналиста, посетившего Украину после петлюровщины, — жуткий документ об уничтожении населения города Проскурова белыми войсками. Этой же теме посвя-

шена и статья Анри Барбюса, написанная в связи с на шумевшим делом Шварцбарда, убившего Петлюру. Очерки В. Финка о переходе еврейской бедноты к земледелию и Л. Ларского о фактах антисемитизма в условиях советской действительности дополняют сборник фактически злободневным материалом.

Идея создания сборника вполне своевременна и оправдана подбором материала. Книга эта может быть рекомендована для чтения, а также использована и клубами для постановок и вечеров, посвященных антисемитизму.

*С. Борисов.*

**С. Канатчиков. — «Из истории моего бытия».** ЗИФ. Стр. 115. Ц. 1 р.

Это правдивая и волнующе-безыскусственная автобиография — вернее страница из автобиографии — кадрового пролетарского революционера.

Подросток рабочий, модельщик, ко-чует с завода на завод, от верстака к верстаку, накалывая по шрамам опыт революционной борьбы, перерастая с годами из простоватого парня, танцующего на вечерках «под венку» с такими же незатейливыми девицами, сначала в правдолюбца народнического толка, а затем и в социалиста, активного борца за диктатуру пролетариата. Достоинство книги в раскрытии этого роста, в его показе, свободном от всякого самолюбования, от всякого «стилизаторства под самого себя», как лапидарно, но достаточно образно обмолвился один из наших критиков.

«История моего бытия» не замыкается, однако, в рамки узкой автобиографии. Она местами выразительно дает колорит эпохи, атмосферу заводского предприятия на рубеже нашего века, своеобразный букет азиатской патриархальности и первых попыток переложить европейские методы капиталистической эксплуатации на язык родных осин. Читатель, знакомый только с советским социалистическим предпрятием, найдет много неожиданно, ярко нового в «Истории моего бытия». Чего стоит хотя бы такая сцена, характерная для взаимоотношений между хозяином и продавцом рабочей силы тех лет.

«— Глянь-ка, робя, ведмедь по крыше ползет,—говорил подрядчик, устремляясь к окну.

— Какой же это ведмедь, кошка!—возражает ему усомнившийся.

— Нет, ведмедь!

— Кошка.

— По-вашему это кошка, а по-моему ведмедь. А кто не верит, тому расчет».

Si non e vero... В те годы, например, ходили наниматься к заводским воротам, просясь к станку у знакомого мастера, — это называлось «подшагнуть». Мастер—властелин и диктатор в цеху — был центром заводского мироздания. От его недреманного ока трудно было уйти рабочему.

И если чистка аппарата воспринимается современниками как специфически советское явление, то С. Канатчиков дает в своей книге своеобразную картину чистки, но, увы, без привлечения пролетарской общественности. Объектом этой чистки являлись все, способные к протесту, все подающие проблески критической мысли.

— На заводе «Бромлей», — рассказывает автор, — ежегодно происходила чистка от неподходящих, неблагоприятных и вообще от нежелательных элементов. Прodelьвалась эта операция довольно просто. На пасхальные праздники всем рабочим выдавался полный расчет, а после праздника мастера различных цехов заново набирали рабочих. Таким образом, все, неугодные мастеру, оставались за воротами...

«История моего бытия» свободна от предвзятости, от художественных изысков. Но это не помешало автору зарисовать на полотне небольшой книги ряд зломинающихся фигур. Лицемер «Сущий», фаншиль Маляжкин, добродушный ворчун Быков, бунтари-студенты, эпигоны народники и неофиты-марксисты, первый подпольный кружок и первая отсидка,—новый 1901 год автор встретил в тюрьме,—многообразие лиц и положений, целый мир, теперь уже ушедший и потому забытый, отразился в небольшой книге С. Канатчикова. Местами ее портит ненужная грубоватость, не гармонирующая с общим лирико-ироническим то-

ном повествования. Не свободна она и от стилистических погрешностей. Наверяд ли можно согласиться с таким высказыванием: «остаться в живых деревенскому ребенку в те времена было явлением редкостным». Проще было бы сказать: «смертность среди деревенских детей была высока».

*А. Старчаков.*

**С. Я. Штрайх.**—«Повесть о жизни и любви чудесного доктора». Изд. «Федерация». 1930 г. Стр. 342. Ц. 3 р. 10 к.

Роман-биография, жанр, пользующийся в настоящее время большим успехом на Западе, постепенно начинает прививаться и у нас. Повидимому, преимущества свободной фантазии и художественного вымысла неоспоримы в изложении тех обстоятельств, где бессильны исторические документы и хронологические даты. Действительно, подлинная биография невозможна без той или иной догадки—все дело заключается только в ее умелом применении. Но когда биография превращается в роман в подлинном смысле этого слова, мы в праве судить о нем с точки зрения исторической истины. Вот почему работа биографа так трудна,—ему нужно все время отрывать новое в общеизвестном и каким-то образом разрушать наше привычное представление об исторической личности. Если он позволит себе быть слишком свободным, мы не поверим ему, если он останется в пределах неоспоримого, еще хуже: нам будет просто скучно. Иными словами, иллюзия должна быть хорошо обоснована большим знанием эпохи. Это знание нужно дать почувствовать незаметно, не загрождая изложение фактами, о которых мы помним со времени школьных лет. С. Штрайх принадлежит к числу осторожных историков, истина для него дороже вымысла, и его биография «чудесного доктора» Пирогова отмечена

пристальным и долголетним изучением. Пирогов любопытен не только как гениальный ученый—самая его жизнь в николаевскую эпоху, когда подлинная наука была в сущности невозможна, представляет поучительное зрелище борьбы светлого ума с тупоумием, честности с полным отсутствием чести. Штрайху хорошо удалась эта сторона биографии Пирогова. Мерзость и запустение военных госпиталей, наука, взятая на откуп тесно сплоченной шайкой бездарностей, приказы и ордена, бессмысленные распоряжения—все это, подобно некоему кошмару, преследует «чудесного доктора». Но кроме всего он любопытен и своей жизнью в обычном смысле этого слова. Гений сочетался с какой-то природной «русской» чужаковатостью, свободный ум с черствостью и педантизмом. В этой коллизии характера наиболее трудная для биографа задача. По нашему мнению, Штрайх и в данном случае поступил правильно. Вместо догадок и психологических размышлений он просто изображает факты. Трагическая судьба первой жены Пирогова, старческий маразм последних лет жизни—все эти печальные события изображены им с должной точностью, без нудного и произвольного анализа. Его книга, сдержанная и скромная, хороша своей простотой, своей близостью к истине. Он больше биограф, чем романист, но жалеть об этом в данном случае не приходится. Большое знание эпохи и простота изложения, ряд интереснейших деталей—все это положительные данные. Вызывает только возражения композиция первых глав с ее перестановкой временной последовательности. Может быть, следовало несколько подробнее остановиться на философских и педагогических работах Пирогова, основательно забытых в настоящее время.

*К. Локс.*

Издатель «Известия ЦИК СССР  
и ВЦИК».

Редакция: **А. В. Луначарский.**  
**А. Г. Малышкин.**  
**В. П. Полонский.**  
**М. А. Савельев.**  
**В. И. Соловьев.**